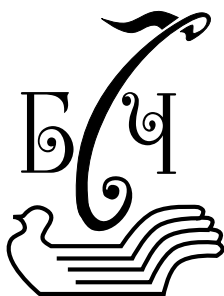




Библиотека  
семейного  
чтения

Библиотека  
семейного  
чтения



СТИХИ  
И ПРОЗА  
О ВОЙНЕ

Издательство «АсПУр»  
Екатеринбург  
2011

ББК 84 Р6-4(2Р36)+84Р6-5(2Р36)

Б 594

Редакционная коллегия: Бадаев А.Ф. (председатель), Кердан А.Б., Титов А.Б., Литовских В.К., Шангина С.В.

Автор проекта – Кердан А.Б.

Б 594 **Библиотека семейного чтения** – Екатеринбург: АСПУр, 2011.

ISBN 978-5-904900-08-3

Т.2 : **Стихи и проза о войне** – 344 с., с цветными иллюстр. вкладками.

ISBN 978-5-904900-09-0

Библиотека семейного чтения издается по инициативе Свердловской областной общественной организации “Ассоциация писателей Урала” при финансовой поддержке Министерства культуры и туризма Свердловской области.

Во второй том вошли стихи и проза писателей-фронтовиков, а также произведения современных авторов, участвовавших в войне в Афганистане и боевых действиях в Чечне, многие годы отдавших службе в Вооруженных Силах России.

ББК 84 Р6-4(2Р36)+84Р6-5(2Р36)

© Кердан А.Б., Титов А.Б., составление, 2011

© Авторы произведений, 2011

© Авторы иллюстраций, 2011

© Титов А.Б., знак серии, 2011

© Шангина С.В., дизайн серии, 2011

© Издательство «АСПУр», 2011

ISBN 978-5-904900-09-0 (Т. 2)

ISBN 978-5-904900-08-3

# НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ...

Венедикт СТАНЦЕВ

## До свидания, Урал!

Бойцы весело выглядывали из дверей теплушек. Вот и Пермь позади. Махали пилотками:

– До свидания, Урал! Жди нас к уборочной!..

После Перми эшелоны резко замедлили ход. Шли больше ночью. Днем, как правило, стояли в глухих тупиках. Было приказано: у вагонов не толпиться. «Едем будто на войну,» – говорили бывалые бойцы, хлебнувшие лиха на Халхин-Голе и на финской. «Сказали же – на маневры,» – отвечали молодые, не нюхавшие пороха.

Солнце старалось вовсю. Майское солнце 1941-го. Войны еще не было, но эшелоны уже шли на войну. В Кремле знали: вот-вот.

Войска подтягивались к западной границе. Одной из первых погрузилась в эшелоны 153-я стрелковая дивизия. И года не прошло, как она была сформирована. Штаб ее находился в Свердловске, основные части – в Еланских лагерях. И вот дивизия вслед за солнцем катится на запад.

16 тысяч штыков. Сила.

В пути догнала депеша: разгрузиться западнее Витебска...

Утро выдалось тихое, светлое. Ни облачка. В небе звенели невидимые жаворонки. Наступил самый длинный день в году – 22 июня.

На берегу Западной Двины раскинулся палаточный городок.

Бойцы спокойно и деловито устраивали свой нехитрый и строгий армейский уют. Фашистские бомбы уже рвали нашу землю. Но здесь об этом еще никто не знал. Смех, шутки, песни. Как и полагаются в мирное время.

А в полдень дивизионная радиостанция приняла тяжкую весть: война! Сначала как-то не верилось: небо чистое, река спокойная. И – тишина. Но митинги уже были громом. Уральцы клялись не жалеть сил и самой жизни для разгрома врага...

От палаток до штаба – рукой подать. В одном из окраинных домов села Тарелки собрался командный состав: командир дивизии полковник Гаген, военком полковой комиссар Захаров и начальник штаба подполковник Черепанов. Пока втроем.

В открытое окно лилась слабая прохлада. Беспечно горланили петухи. Широкий, как колокол, репродуктор уверял с крыши сельсовета: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов...»

Все трое устало молчали. Пришлось много говорить на митингах. Но усталость была скорее от ответственности, которая так внезапно свалилась на их плечи. И еще от того, что они не располагали никакими сведениями о противнике, о сложившейся боевой обстановке. Из штаба армии пока никаких указаний. Подполковник Черепанов запрашивал по рации, сказали: ждите. А на войне нет ничего тревожнее неопределенности и бездействия.

Военком Захаров вдруг резко повернулся к Гагену:

– Николай Александрович, давайте решать, каждая минута дорога.

Комдив, кивнув, встал:

– Да, ждать нечего, начнем с рекогносцировки...

За несколько часов обшарили всю местность. На машине это не так трудно. Начальник штаба на склеенных листах чистой бумаги снимал карту. Она была не ахти какая точная, но других не имелось. Обозначили на ней рубежи обороны, оружейные и пулеметные точки, словом, все, что полагается.

В Тарелки вернулись поздно. В штабных палатках никто не спал: ждали начальство – может, что-то уже прояснилось. Но начальству и самому не все было ясно.

Свет не зажигали. День не ушел, а только притемнился.

– Николай Александрович, – заговорил начальник штаба, – вот что меня волнует: у нас, как выяснилось, нет соседей и, видно, не будет. А с голыми флангами много не навоюешь.

Немного помолчав, комдив ответил спокойно и деловито, как отвечает человек, принявший окончательное решение:

– Я уже подумал об этом. Нужно максимально растянуть дивизию по фронту – километров на сорок. Если мы построим линию фронта до десяти километров, как требует Полевой устав, немцы быстро обойдут нас с флангов. А при сорока они надолго застрянут. Выиграть время – вот что сейчас особенно важно.

Откликнулся военком:

– А не ослабим ли в таком случае свою оборону?

– Конечно, ослабим. Но зря, что ли, не давали мы отдыха бойцам? Знают они свое дело крепко, это всем нам хорошо известно. Да и мужества уральцам не занимать – народ железный...

– Да, но чем будем воевать? – это начальник штаба. – На одно орудие по десять снарядов, да и те шрапнельные; винтовок – одна на двоих, а патронов – кот заплакал. Штаб армии ничего не обещает... Перебьют нас, как цыплят, это точно...

Комдив и военком подавленно молчали. Вдруг в комнату без стука вошел начальник особого отдела майор Захаров (однофамилец военкома) и прямо с ходу, будто слышал разговор, спросил, обращаясь ко всем троице:

– Как быть? Только сейчас узнал, что на Витебск нацелился 39-й танковый корпус. А у нас – ни снарядов, ни винтовок, ни патронов. Это же полный крах, товарищи...

Судили так и этак. Наконец решили: тотчас же отправить телефонограмму начальнику Генерального штаба и начальнику Особого отдела СССР. Это была не телефонограмма в обычном понимании этого слова, а крик о немедленной помощи обреченной дивизии. В ответ – ни звука...

Тогда комдив, военком и начальник особого отдела рано утром выехали в Витебск. Пришли в областное управление НКВД, чтобы переговорить с Москвой по прямому проводу. Черепанову было приказано начать строительство оборонительной линии...

И тут случилось такое, что и писать-то страшно

– Паникеры! – заорал начальник управления. – Без Москвы управиться не можете? Шпионы вы, вот кто!.. Арестовать!..

Не долго думая, особая комиссия при управлении вынесла решение: расстрелять!.. – Скоры на расправу были тогда бериевцы...

Несколько часов просидели они в одиночках, ожидая исполнения приговора. Но где-то кто-то быстро разобрался, и всех троих отпустили. Потрясенные и растерянные, вернулись в дивизию. Полковник Гаген и военком Захаров долго не могли прийти в себя... И опять встал вопрос: что делать, что делать? Ведь вот-вот нагрянут танки...

Дивизия не получила ни одного снаряда, ни одного патрона. Растерянность, как видно, охватила и тех, кто был там, «наверху».

Тем временем на оборонительном рубеже кипела работа. Тянули траншею, спешили с оборудованием артиллерийских позиций и пулеметных точек. День и ночь, день и ночь. Времени на раздумья не оставалось. Слышался уже отдаленный гул битвы, который ни с каким другим не спутаешь. Смертельной угрозой веяло от него.

Отдыхали три раза в сутки – в завтрак, обед и ужин. Рядом с бойцами с таким же упорством работали местные жители, все, кто мог держать кирку и лопату. За несколько дней подготовили не ахти какую оборону, но держаться уже было можно: не голое место. У командира дивизии стало чуть легче на душе. Мучило одно: мало снарядов, мало гранат, мало патронов. И что должны делать те бойцы, у которых нет винтовок? Не в тыл же их отправлять...

Как всегда неожиданно в штаб ввалилась коренастая фигура начальника особого отдела:

– Николай Александрович, я, кажется, придумал!

– Что именно?

– Вот этих, безвинтовочных, надо вооружить бутылками с бензином...

– И что же они будут с ними делать?

– Как что? Танки жечь!

– Каким же образом?

– Очень просто. Сажаем двух красноармейцев в один окоп. Один бросает бутылку на моторную часть танка, а другой – вслед зажженную паклю, намотанную на палку...

Начальник штаба хмыкнул:

– А где они, бутылки-то? Их же надо черт знает сколько...

– К вечеру будут, – уходя, бросил майор Захаров.

Утром опробовали новинку. На задворках деревни, на самом краю леса, стоял давно списанный комбайн. Метрах в двадцати пяти от него вырыли окоп, посадили в него двух бойцов. У одного – бутылка с бензином, у другого – длинная палка с паклей, намоченной тем же бензином.

– Давай! – крикнул майор Захаров.

Бутылка – вдребезги. Трещи, полетел факел. И комбайн тут же вспыхнул.

– Вот так, – резюмировал майор Захаров.

– Что ж, – заключил его однофамилец, – все-таки лучше, чем ничего. Годится...

Поднатаскали немного тех, безвинтовочных. Все вроде бы получилось. Но вот как в бою будет получаться? Под снарядами и пулями... «Захаровскими гостинцами» прозвали бойцы эти бутылки с бензином. Поистине можно найти выход из любого положения, особенно, когда прижмет...

И тут вдруг радиограмма из штаба армии: встречайте члена военного совета дивизионного комиссара Леонова.

Комиссар приехал с одним требованием: стоять насмерть! Осмотрел позиции, похвалил. Лучшего момента для просьб и выдумать было нельзя. Комдив осторожно высказал главную: очень нужны боеприпасы. – Член военного совета развел руками: склады где-то застряли в пути, обходитесь тем, что есть...

Обрадовал, называется.

Гул битвы надвигался все ближе и ближе. Разведчики донесли: идут танки, много танков...

Поднимался четырнадцатый день войны – 5 июля. И вдруг все стихло: ни орудийного грома, ни лязга гусениц. Известно, хищник перед решающим прыжком затихает, собирая силы в кулак. Так было и тут. Гитлеровцы намеревались взять Витебск с ходу. Пограничные части разбиты. Впереди – никого. Дозаправился – и вперед.

Уже потом немцы узнали, что путь им преградила 153-я стрелковая дивизия, неизвестно когда и откуда взявшаяся. И не только



она... Если говорить по-современному, то дивизии крупно повезло: в полосе обороны дивизии оказался 293-й тяжелый арtpолк, потерявший связь со своим командованием. Полковник Гаген сразу же подчинил его себе. Это подняло настроение и самих артиллеристов, и, конечно же, всех бойцов-уральцев.

## У днeпpовских вoг

Гитлеровцы поставили на карту все – только бы пробиться к Москве. На пути встал Смоленск. Немецко-фашистское командование бросило на город целую группу армий «Центр». И снова путь противнику вместе с другими частями преградила 153-я. Всего сутки отдыхали бойцы. Да и что это был за отдых! Просто выспались немного. И умыться не успели, как опять в бой. Приказ гласил: «Задержать наступление баварской дивизии на Смоленск.»

В ранцах у солдат баварской – новенькие мундиры для победного московского парада. Вот и лезут они напролом, горланя: «Германия, Германия превыше всего». И не сомневались эти самоуверенные баварцы: Смоленск завтра же будет у их ног. Именно завтра, ни днем позже – таков приказ самого фюрера...

Утро 25 июля. Накануне гитлеровцы овладели высотой 213,7 – одной из ключевых позиций для взятия Смоленска. Полковник Гаген получил приказ: отбить высоту!

Рассыпавшись редкой цепью, уральцы начали атаку. Немцы открыли огонь из всех видов оружия. Сыпали и сыпали бомбы «юнкерсь». Цепь ополовинела. Еще дважды поднимались наши бойцы, но безуспешно. И шаг не сделали вперед.

Знали немцы: отдать высоту – значит, Смоленск к сроку захвачен не будет. Поэтому не жалели ни солдат, ни снарядов, ни бомб, ни патронов.

Бой шел уже пятый час. Уральцы выбивались из последних сил. Цепь стала совсем редкой. Начали было продвигаться, но вскоре совсем встали. Убитых в цепи было больше, чем живых. Многие

раненые оставались на месте, они изредка стреляли, стараясь хоть чем-то помочь товарищам.

И тогда ... И тогда вперед выдвинулись начальник штаба полка Лебедев, старший политрук Ширококов, политрук Бельский, командир роты старший лейтенант Авельченков. Огонь противника не утихал ни на минуту. Бойцы, прижавшись к земле, глотали дым и пыль. Казалось, нет выхода, пришел конец.

Старший лейтенант Авельченков оторвал окровавленный лоскут рубахи у мертвого бойца и, нацепив его на штык, рванулся к вершине: – За мной!

Вскочили те, что были рядом с командиром, за ними – остальные. Это был не шаг и не бег. Это был отчаянный прыжок... На высоте затрепетал лоскут, обгаренный кровью. Немцы скатились к подножию. Но вскоре опомнились: на вершине-то почти никого. И вслед за огненным валом пошли в контратаку. Деловито, уверенно: встречная стрельба была совсем редкой.

Тут невольно подумаете: все, конец!

Не хотелось мне писать: «И вдруг.. « Но это действительно было так неожиданно, так «вдруг», что обреченные бойцы сначала ничего не поняли. Сзади раздался какой-то прерывающийся скрежет, и через их головы полетели десятки полыхающих «чурок», хорошо заметные простым глазом. А еще через несколько секунд земля под ногами гитлеровцев затряслась, как в лихорадке. А когда взрывы затихли, бойцы увидели: на высоте, у ее подступов – никого, пусто. Только раскиданные трупы немцев, над которыми плыл густой черный дым. Да вдалеке чадающие танки. И все...

Как стало известно после, это дала залп знаменитая батарея реактивных снарядов капитана Флерова. Эти установки бойцы окрестят потом «катюшами»: поют хорошо, лучше, чем та, которая из песни.

Наступление фашистов было задержано...

Но положение под Смоленском становилось все острее и острее. Танковые и пехотные дивизии гитлеровцев оттеснили наши измотанные в боях части. Танки Гудериана вошли в город...

Держать высоту уже не было смысла. Дивизия получила приказ оставить позиции, занять оборону на левом берегу Днепра и обеспечить переправу отходящим частям 20-й армии у села Соловьево.

Дивизия вышла на рубеж 2 августа. Траншеи, окопы, артиллерийские позиции – все это было оборудовано за сутки. Впереди установили проволочные заграждения, привели в порядок противотанковые препятствия, отрытые местными жителями еще месяц назад. Пришло пополнение, но залатать им все дыры было невозможно: на боевом пути остались тысячи бойцов – на веки вечные. Но война заставляла жить и драться – до последнего.

Гитлеровцы бросили в наступление все силы, все огневые средства: танки, самолеты, свежую пехоту. Всякое видели уральцы за эти дни, но такого не видели, нет. Земля от разрывов не успевала оседать, дышать было нечем – дым, пороховая гарь, пыль смешались в одно облако. Некогда было хоронить убитых, перевязывать раненых. Сущий ад! И в этом аду уральцы продолжали сражаться, расстреливая густые цепи гитлеровцев ружейным и пулеметным огнем. А если это не помогало, вставали в контратаки. Артиллеристам было не до вражеской пехоты: они едва успевали отбивать наседавшие танки. Огромные потери несли немцы, но они сознательно шли на эти потери: скорее, скорее к Москве, до которой оставалось каких-то триста километров...

И на переправе творилось что-то невообразимое. Снаряды и бомбы рвались беспрерывно. Ржание лошадей, рев моторов, крики раненых, хриплые команды отчаявшихся командиров... Подбитые машины – в воду, покалеченных коней – в воду, убитых – в воду, только бы расчистить путь напиравшим сзади частям...

Днепр стал багровым. И неизвестно, чего в нем было больше – воды или крови. И сколько бы еще пролилось этой крови, если бы не стойкость уральской 153-й и других соединений...

И подвиги, подвиги, подвиги! Вот документы. Бывший в то время редактором дивизионной газеты И. Старцев так писал в «Уральский рабочий»:

«На подступах к городу С. (Смоленску – В.С.) подразделения нашей части упорно продолжали продвигаться вперед, переходя неоднократно в ожесточенные атаки.

Отлично действовали подразделения тов. Лушникова и тов. Логвинова... Штыком и прикладом действовали бойцы подразделения тов. Филатова. Подразделение направлялось к намеченному

рубежу обороны. Было известно, что в эту местность просочились отдельные группы немцев. Филатов знал коварные повадки врага: фашисты могли пропустить вперед, а потом с тыла внезапно напасть на колонну. Так оно и случилось. Фашисты, стреляя с разных сторон, кричали: – Русс, сдавайся!

Но филатовцы были готовы ко всяким неожиданностям. Немецкие солдаты вынуждены были принять рукопашный бой. Здесь-то гитлеровские молодчики и нашли себе могилу.»

Из воспоминаний ветерана дивизии Г.А.Фарафонова – «Уральский рабочий» от 18 сентября 1971 года:

«В тридцати километрах от Смоленска части дивизии вели бои с крупными силами противника. 581-й гаубичный артиллерийский полк наносил чувствительные удары по врагу. Только за один день наши артиллеристы подбили 17 танков. Фашисты вынуждены были прекратить в тот день танковые атаки.

На следующий день дивизионы полка, которыми командовали капитаны Матяж и Герасимов, подбили более 30 танков. Фашисты бросили на батареи самолеты. С небольшой высоты они бомбили артиллеристов. Начальник штаба полка майор Седякин из трофейного зенитного пулемета сбил два гитлеровских самолета. Немецкие летчики обрушили на Седякина огонь пулеметов.

Исключительно трудная обстановка сложилась в начале августа у Днепра. Переправы у Соловьево и Ратчино бомбились, на восточном берегу были выброшены вражеские десанты. Полковник Гаген поставил 581-му артполку задачу переправиться через Днепр, выбить автоматчиков, занять огневые позиции и огнем артиллерии прикрыть части, находившиеся на западном берегу Днепра. Как выполнить приказ? Об использовании переправы не могло быть и речи. Нужно искать брод. Его нашел командир батареи лейтенант Топкин. Переправа прошла успешно. Гаубицы тащили лошади, им помогали солдаты. Все батареи, выйдя на восточный берег, сразу же открыли огонь по врагу. Так 581-й полк, первый из артиллерийских полков армии, в трудной боевой обстановке смог переправить всю технику через Днепр».

О действиях дивизии неоднократно писала тогда «Правда». Привожу небольшие отрывки из корреспонденции О. Курганова от 4 сентября 1941 года. В тот день, который описывается в корреспонден-

ции, немцы беспрерывно атаковали наши позиции – днем и ночью. И уже были близки к успеху. И тогда Гаген сказал Соколову (командир 666-го стрелкового полка, который он же и формировал – В.С.):

– Приготовьтесь к отражению атак!

Во время ночной атаки фашистская пехота двинулась уже не в рост, а ползком... Соколов поднял своих бойцов и повел в контратаку. В этом ожесточенном ночном бою враг оставил на склонах высоты до двухсот трупов. Когда к утру привели пленного унтер-офицера Фридриха Зельцинга, он пристально вглядывался в каждого красноармейца. Потом произнес: – Когда вы ночью поднялись и пошли под огнем нашей артиллерии, мы думали, что никто из вас не останется в живых.

И еще из одной корреспонденции в «Правде» – того же автора:

«Ночью начался бой. Он длился десять дней, немцы встретили упорное сопротивление. Атаки врага сменялись нашими контратаками. Леонид Рудаков сидел в окопе и поддерживал связь... Донесения командиров были лаконичны... По ним Рудаков знал, что политрук Сазонов крепко держит правый фланг, что разведчик Бурченко уничтожил фашистскую «кукушку», что на участке подразделения Метелева немцы несут большие потери, отступают, бросают автомобили, орудия, минометы. Невдалеке шел ожесточенный бой, но ему, Леониду Рудакову, приказано сидеть в окопе, поддерживая связь, и ни на минуту никуда не отлучаться...

Весь день телефонист передавал донесения, приказы, сводки о трофеях... Неожиданные выстрелы слева заставили Рудакова поднять голову. Он увидел врагов... Немцы тоже заметили Рудакова. Они начали окружать его. У телефониста были две гранаты. Он бросил их в немцев. Но фашисты продолжали двигаться к окопу. Вражеская пуля впиалась Рудакову в плечо. В тот же момент загудел аппарат. Телефонист взял трубку. Начальник связи ждал донесения. Рудаков сказал:

– Я ранен, но буду держаться!

Еще одна пуля пробила руку. Пришлось действовать одной левой рукой. Потом он позвонил, что фашисты окружают его окоп. Остальные два связиста ушли с командиром, потянули провод. Вот они его вызывают. Рудаков прислушался. Командир приказывал

выдвинуть пулеметы и уничтожить отходящих гитлеровцев.

Рудаков отчетливо сознавал свое положение. Но он решил обороняться, драться до последнего вдоха.

Когда Рудаков поднялся, чтобы прицелиться, его ранило в третий раз... Он поспешил передать, что слабеет, осталось три патрона, но линия в порядке. Все это он проговорил залпом, словно боясь, что не успеет сообщить.

Рудаков расстрелял последние патроны, но фашисты продолжали ползти. И он сказал в телефонную трубку:

– Прощайте, друзья. В плен не сдамся!

Израненный, истекающий кровью телефонист схватил штык от винтовки. Он воткнул его тупым концом в землю и бросился на острие. Так умер телефонист Леонид Рудаков.

И таким подвигам не было числа...

Но вернемся непосредственно к боям. Маневрируя по фронту, то рассредоточивая силы, то собирая их в кулак, дивизия держала оборону больше месяца! И это на участке, где не осталось ни деревца, ни травинки.

Заключительным аккордом Смоленского сражения, героическим и славным, стал бой за высоту 249,9. С этой высоты все было видно вокруг как на ладошке. И потому немцы особенно укрепили ее, поставив для защиты дивизию «СС», которая слыла образцом мужества и преданности фюреру.

Уральцы еще находились на старых позициях, бои не вели: гитлеровцы внезапно прекратили атаки. Что за причина? Разведчики установили, что противник спешно перебрасывает из тыла по железной дороге свежие части и технику. Нужно было принимать экстренные меры. Но какие? Проще всего разбомбить вражеские эшелоны, но самолеты тогда на штуки считали. Только одна надежда на пехоту. И штаб 20-й армии отдает приказ: «153-й стрелковой дивизии выйти в район Могилыцы, атаковать сильно укрепленную высоту 249,9 у реки Днепр, перерезать коммуникацию, снабжающую войска противника в районе Ельни, выбить гитлеровцев с этой высоты и отбросить их назад.»

Приказ был получен 23 августа. Полковник Гаген вместе с новым комиссаром Хлызовым (военком Захаров погиб при прорыве из

окружения) и подполковником Черепановым прикинули возможности дивизии. Мало осталось людей, совсем мало. В этом случае успех наступления решали три обязательных условия: внезапность, быстрота и натиск. Но чтобы обеспечить эти условия, нужна была тщательная разведка. Комдив сам несколько раз побывал у подножия высоты, определяя опытным глазом слабые места в обороне противника. Увы, таких мест не нашлось. Значит, надо их создать. Скрытно, в темные часы, подтянули поближе пушки, чтобы разом ударить по огневым точкам, которые были разведаны специальными наблюдательными пунктами, и проволочным заграждениям.

Весь штаб дивизии и штабы полков в назначенный час были здесь, на передовой. Во всех взводах и батареях проходили беседы. И вскоре каждый боец знал, где и как он должен действовать в наступлении.

Ночь выдалась душная. От болот, опоясавших высоту, поднимался белесый туман. Эта седая дымка позволила нашим бойцам тихо и незаметно выдвинуться к самому подножию высоты. Ни котелков, ни вещмешков, ни противогазов – только винтовки и подсумки, набитые патронами. Затаились бойцы, как омертвели.

И вдруг стало светло. Это ударила дальняя и ближняя артиллерия. Сотни снарядов кромсали и кромсали укрепления немцев – до самого рассветного часа. За миг до атаки бойцы, взглянув на высоту, увидели облысевшую вершину (только что она была покрыта молодым лесом) и пустоту там, где еще недавно в несколько рядов стояли колья, густо перевитые «колючкой».

Бойцы напряглись для атаки, ждут сигнала. Красная ракета, искрясь и шипя, почти вертикально взлетает в небо. И будто сработала невидимая пружина: цепь резко выбросилась вперед. Вот уже видна на половину засыпанная вражеская траншея, еще чуть-чуть – и враг будет сломлен. И тут из почти развалившегося дзота, захлебываясь от ярости, ударил пулемет. Бил метко этот немец. Цепь споткнулась и залегла. Командир 666-го стрелкового полка полковник Соколов немедленно дал целеуказание артиллеристам. Выстрелы были на редкость точными: крыша дзота затрещала и рухнула.

Впереди цепи встал он, командир полка:

– Вперед, за мной!

И словно крылья обрели бойцы. Через минуту они уже влетели в траншею. Эсэсовцы и не думали отступать: они превосходили числом и потому приняли рукопашный бой. К тому же знали: вот-вот подойдет подкрепление. С противоположного склона выкатилась контратакующая цепь. Полковник Гаген, получив сообщение об этом, отдал приказ полковнику Юдашеву, командиру 435-го стрелкового полка, стоявшего в резерве: «Не давая врагу опомниться, навалиться на него всеми наличными силами и полностью очистить высоту от немцев!»

Гитлеровцы защищались отчаянно. Уральцы вставали и падали, падали и вставали. И только семнадцатая (17-я!) атака принесла успех: бойцы буквально выдавили эсэсовцев с высоты. Комдив (как он только держался на ногах!) устало направился на самую передовую, к своим «орлам», как он звал красноармейцев. Знал комдив: если ему уже не вмоготу, то им, его «орлам», в сто раз тяжелее. Знал также, что они совершили почти немыслимое. Полковник шел подбодрить героев, сказать им свое командирское спасибо за подвиг. И знал он еще, что немцы предпримут скоро все усилия, чтобы вернуть высоту. А ее нужно было удержать, чего бы это ни стоило. Хотя бы несколько суток – так диктовала боевая обстановка.

Теперь роли поменялись. Гитлеровцы штурмовали, наши оборонялись. Десятки «юнкерсов», сотни орудий дыбили землю – сплошной огненный смерч. Немецкое командование бросило в атаку сразу несколько свежих полков. С большим трудом продержались уральцы до вечера. Ночью подтащили боеприпасы, консервы. Командир корпуса подслал еще бойцов, но так мало, что поддержка была скорее моральной. И все-таки лучше, чем ничего.

Рассвет (лучше бы он не наступал!) не принес облегчения. Устилая трупами высоту, немцы продолжали штурм. Таяли ряды наших бойцов, держаться уже не было никакой возможности. Все ближе и ближе гитлеровцы. Положение становилось отчаянным. Один выход – контратака. Иначе – полный разгром. Взяв из рук убитого бойца винтовку, полковник Гаген с возгласом: «За мной, орлы!» повел уральцев в бой. Никто еще не выдерживал русского штыка. Не выдержали и эсэсовцы. На своей шкуре узнали они, «что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой»!..

Командование армии понимало, что силы дивизии не беспре-



дельны. Ездовые, повара, писари – все, кто мог держать оружие, были брошены на высоту. Из многочисленной дивизии осталось теперь что-то около тысячи до крайности измученных бойцов. И 8 сентября она была выведена в тыл... Дивизия сделала больше, чем могла, несравненно больше. Уральцы оттянули на себя значительные силы противника, сорвали темп его наступления. Около двух тысяч солдат и офицеров оставили на высоте фашисты. Движение по железной дороге было надолго приостановлено.

Вскоре дивизия расположилась на берегу Волги, неподалеку от Калинина: отдохнуть, пополниться, набраться новых сил для предстоящих боев – война только начиналась. В лагерной жизни никаких особых событий не происходило. Тишина, покой... И вдруг – приказ: всем на торжественный митинг! – Многие недоумевали: что за торжество, если дела на фронте так круто складываются?

Перед строем вышел полковник Гаген. В новой гимнастерке, слева серебряная шашка – награда за боевые подвиги в дни гражданской, на груди только что полученный орден Ленина – за боевые подвиги в Отечественную. В руках комдива лист бумаги. Раздается команда «Смирно!» Полковник, заметно волнуясь, громко произнес:

– Слушайте приказ народного комиссара обороны Союза ССР №308 от 18 сентября 1941 года.

Тихо-тихо. Только голос комдива: «Ставка Верховного Командования приказывает: за боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок... переименовать 153-ю стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию...»

Тишина взорвалась от громкого «ура». Один за другим выступали бойцы. Клялись бить врага, не щадя жизни, по-гвардейски.

И пяти дней не отдыхали бойцы. 20 сентября дивизия, пополненная людьми и техникой, погрузилась в эшелоны и направилась под Ленинград – бывшая 153-я, а теперь 3-я гвардейская. Навстречу новым испытаниям.

# Баллада о сорок первом

Вспомнил дзот я –  
утлые накаты,  
сорок первый –  
многосмертный год...  
Спят в углу уставшие ребята,  
дремлет в амбразуре пулемет.  
Только я не сплю у пулемета  
с юностью своей наедине.  
Чуть видны мне в амбразуру дзота  
срезанные немцы – на стерне.  
Я к другой готовился работе,  
зная сто премудростей из книг.  
Но тогда,  
У амбразур дзота,  
я не вспомнил ни одной из них.  
Вот заговорили пушки вражьи,  
взвод – у нас,  
у них в атаке – полк!..  
Перла цепь  
пунктиром тусклых пряжек,  
чуть повыше я направил ствол.  
Ярость честная  
во мне тогда кипела,  
мысль одна владела мной опять:  
посредине прорези прицела  
только бы мне мушку удержатъ...

## Утро

Провода гудят,  
как нервы перед боем,

натянутые, как провода...  
Мы устало окопы роем:  
скоро танки придут сюда.  
Звон лопат.  
Никаких разговоров,  
не лезет в горло никакая еда:  
танки скоро, танки скоро,  
скоро танки придут сюда.  
Мало толку  
от дпинноствольных ружей,  
еще меньше от хваленного штыка.  
Глубже в землю, глубже, глубже:  
слышен грохот издалека.  
Дрожат от нетерпения  
дула орудий,  
слезинкой скатилась на поле звезда.  
Что ж вы не молитесь, люди!  
Скоро танки придут сюда...

## Баллада о журавлях

Летят журавли, летят журавли...  
А мы, окруженные, в землю вросли.  
С полночи подсумки почти пусты,  
два дня как во флягах ни капли воды,  
три дня как под пулями тают ряды,  
а где-то над нами в туманной дали  
летят журавли, летят журавли...  
Каленым железом несет от земли.  
И в горле горит, и в сердце горит.  
На ствол опираясь, привстал замполит –  
горячие пятна на пыльных бинтах,  
соленая накипь на черных губах.  
От залпов кольшется пламя зари.

И в горле горит, и в сердце горит...  
Винтовку роняя, упал замполит.  
Винтовку упавшую друг мой берет:  
– За мной! В штыковую, ребята, вперед!  
Встает под огнем, кто еще не убит...  
И поле горит, и небо горит...  
Отблеском алым  
Сверкают штыки.  
Припали к реке, задыхаясь, стрелки.  
И пахнет гречихой от знойной земли...  
Летят журавли,  
Летят журавли...

## Росток

Мы пробились в город поутру,  
Ворвались в пустынные кварталы,  
злой огонь  
метался на ветру,  
каждый камень дымом пропитало.

Был я долгим боем раскален,  
а потом, остывнувши немного,  
я увидел почерневший клен,  
мертвый клен над выбитой дорогой,  
А у корня самого  
росток:  
зеленела веточка простая,

и светился жизни огонек,  
сквозь холодный пепел прорастая...

Смерть над нами «юнкерсом» кружит,  
целит в лоб нам

трассами косыми,  
но, сгорев,  
мы продолжаем жить,  
прорастая в памяти России.

## Баллада о 20-летнем капитане

Хриплым криком  
капитан кого-то,  
задыхаясь, крыл  
в слепом бреду:  
все еще он вел  
в атаку роту  
у стволов глазастых  
на виду.  
Бинт сорвав  
от боли нестерпимой,  
он покой палаты  
бранью тряс...  
А я гладил  
волосы любимой,  
гладил так,  
как гладят  
в первый раз.  
Раскаленным углем  
тлели раны,  
но у счастья  
в ласковом плену  
я молчал...

За стенкой голос  
бранный мял и тряс  
ночную тишину.  
Чем могли

помочь мы капитану,  
если отступились доктора?  
Знали мы:  
с такой свирепой раной  
не протянет он и до утра...  
Где-то медом  
наливался донник,  
ветер плыл,  
расправив два крыла,  
а заря,  
присев на подоконник,  
золотые косы расплела...  
Время – доктор.  
Затянулись раны,  
стали мы  
бывальыми людьми,  
но забыть не можем  
капитана,  
таки не узнавшего  
любви.

## Под Москвой, 1941-й, 25 ноября

Под Москвой в ноябре,  
минометным накрытый,  
я лежал на стерне –  
ни живой, ни убитый.  
Колька-кореш хрипел,  
мои раны бинтуя:  
«Мы еще поживем,  
мы еще повоюем!..»  
Мы обратно ползли,  
огибая воронки,  
и друзей,

на которых пойдут похоронки.  
Колька-кореш хрипел:  
«Вот сто метров минуем,  
и еще поживем,  
и еще повоюем!..»  
И когда заползли мы  
в блиндажную слякоть,  
и когда я готов был  
по-детски заплакать,  
вот тогда я уверовал  
в правду простую:  
я еще поживу,  
я еще повоюю!..

## Апрельская баллада

### 1

Мы шли по колено в воде,  
с трудом поднимая ноги,  
Мы – это все, что осталось от роты.  
Лейтенант Костромин  
сатанински ругался в бога  
и в гроб, и в войну,  
и в треклятое это болото.  
Он шагал впереди,  
переполненный злобой  
и мезтью,  
и ругань его  
громыхала средь сосен.  
Еще до рассвета  
нас было без малого двести,  
а после рассвета  
осталось всего сорок восемь.

Вернее, не шли мы –  
плелись,  
окруженные талой водою,  
студеной водой,  
погибая от жажды.  
Хотя бы глоток,  
один бы глоток после боя,  
но каждый терпел  
и судьбу проклинал свою каждый.  
В этом диком болоте  
бой свирепствовал двое суток,  
тысячи тел  
вода едва прикрывала...  
Наконец-то земля!  
Мы упали, теряя рассудок,  
и сердце пропало,  
и белого света не стало.  
Я свалился под старую ель.  
Шел сорок второй,  
был месяц апрель.

2

Речка – узкая, узкая,  
хрупкие льдины  
плывут, похрустывая.  
Речка чистая, чистая –  
без кровиночки,  
по берегам – пушистые хворостиночки.  
Пьет из речки сама весна:  
«Ах как вода вкусна»...  
Зовет, зовет нас  
синь-река:  
«У меня вода голуба, сладка,  
вы устали в последнем бою,  
я вас умою и напою...»



Ах ты, речка, речка, –  
доброе сердечко,  
мы бы душою  
к тебе прильнули,  
мы бы губами  
к тебе прильнули,  
да не пускают  
немецкие пули.  
Речка узкая, узкая,  
наша речка – русская.  
Ах ты, речка, речка,  
травя-повитель...  
Шел сорок второй,  
был месяц апрель...

3

Лейтенант Костромин  
командует:  
«Вперед!»  
Лейтенант командует,  
а цепь не встает.  
До речки шагов  
не более ста,  
но стрельба из-за речки  
очень густа,  
и речная вода  
холоднее льда,  
и патронов в обрез,  
и сил – в обрез,  
и жить хочется позарез.  
Лейтенант Костромин  
снова кричит:  
«Вперед!»  
Лейтенант кричит,  
а цепь не встает.

Лейтенант Костромин  
в упор на меня глядит:  
«Ты комсорг, вставай и веди!..»  
Я не зову никого,  
не веду,  
я просто встаю  
и к речке иду,  
думаю грустно:  
«Ну что, боец,  
вот и тебе  
геройский конец...»  
А пули звенят,  
а пули грозят,  
а пули приказывают:  
«Наз-з-з-ззад!»  
А я уже в речку  
по пояс вхожу,  
винтовку, подсумки  
повыше держу.  
Вода уже льется  
за воротник,  
все тело мое,  
как безумный крик,  
я будто глотаю  
лед из огня,  
будто вбивают  
гвозди в меня...  
Еле вползаю  
На берег крутой,  
затвор у винтовки  
тугой-претугой.  
И слева – палят,  
и справа – палят.  
Да сколько же силы  
у наших ребят!

Речка давно где-то там,  
за спиной,  
опять в меня входят  
жажда и зной...  
Боже, забыл я  
из речки напиться.  
Лейтенант Костромин кричит: «Закрепиться!»  
Я лежу под березой  
без воды и без хлеба,  
пар от меня  
тихо уходит в небо.  
А дома под крышей  
трезвонит капель...  
Шел сорок второй,  
был месяц апрель.

4

Без штыка на фронте –  
не прожить,  
он может все –  
напарник верный,  
колоть и бить,  
вскрывать консервы  
и перемерзлый хлеб крошить,  
Прости, береза!  
Штык вонзился в ствол,  
из раны сок холодный брызнул,  
и был тот сок –  
посланцем жизни,  
и был тот сок,  
как хлеб на стол.  
Мне береза  
Матерью была,  
а я – ее  
грудным младенцем.

Я пил,  
и крепло мое сердце,  
и сила юная росла.  
Вот так,  
в канун вишневого цветенья,  
я отмечал свой день рожденья.  
Ах, двадцать, ах, двадцать,  
Годок золотой...  
Был месяц апрель,  
Шел сорок второй...

## Утро Победы

Блестела роса,  
упавшая этой ночью,  
травы плели  
чистой зеленью вязь,  
легко раскрывались  
клювы бархатных почек,  
цветом сиреневым становясь.  
Сыпал в окопы  
звонящие зноом бусы  
хрустальный жаворонок  
из облака-скалы.  
Гремела музыкой  
из самых лучших музык –  
тишина,  
набившаяся  
в стволы.  
В это утро весеннее,  
пройдя пол-Европы,  
почерневшая  
в сражениях  
лютых,

пришла Победа  
прямо в окопы  
без праздничного салюта.

## К вопросу о смерти

Ходила смерть – легка в походке –  
на фронте рядышком со мной,  
и я привык к ней, как к винтовке,  
как к неизбежности самой.  
Я – в бой, она – в зловещий клекот,  
но в наступлении сквозь тьму  
я обогнал ее на локоть  
и, может, выжил потому.

## Речальная баллада

*Памяти друга Василия Шеина*

В первый же месяц  
послевоенный,  
передохнув от фронтовой  
усталости,  
я шел,  
утопая в лебеде по колено,  
к матери друга,  
не чувствуя радости.  
Она мне показывала  
похоронку,  
угощала яблочной самогонкой,  
весь день  
говорила она про сына,

выпить за Васю меня просила,  
не сдерживая  
материнский стон:  
– Почему ты остался жив,  
а он?.. –  
Я молчал,  
словно был виноватым,  
смотрел в окно  
на огни предзакатные,  
задавая вопрос себе самому:  
«Действительно, почему?»  
Я шел с ним рядом –  
в одной цепи,  
я нагибался нисколько не ниже,  
тогда почему  
он остался в степи,  
а я, как ни странно, выжил?  
Чернел за окном  
одичавший сад,  
калитка скрипела,  
о ком-то печалась.  
Ответ не найдя,  
я сказал невпопад:  
– Не знаю,  
наверное, просто случайность.  
Она вытирала глаза полотенцем,  
слова шептала  
с материнской силой:  
– Неужто не бьется  
Васино сердце,  
а сердце такое доброе было...

И вдруг  
я представил себя зарытым,  
а мертвого друга –  
живым,

неубитым...  
Робко смотрит он  
в глаза моей матери,  
пьет водку,  
не чувствуя горечь полыни.  
Глаза вытирает мать  
краешком скатерти:  
– Почему ты остался жив, а сына?..  
И он произносит ненужные те же слова...  
Плывет по избе  
табачная синева.  
И день на исходе и папиросы,  
а мать все плачет  
над вопросами:  
– А, может, он вовсе и не убит,  
а, может, он раненый где-то лежит?

(Лежит он с друзьями верными  
под обелиском фанерным).

Киваю:  
– Бывает, что врут писаря, –  
а сам все смотрю,  
как сгорает заря.  
И, вспоминая  
атаку ту предрассветную,  
зажигаю папиросу последнюю  
и слушаю:  
– Сон мне привиделся в среду:  
тихое утро –  
ни стука, ни звона –  
иду я по лугу,  
и Вася мой следом  
идет в гимнастерке зеленой;  
сон я сказала

гадалке одной,  
и та уверяла:  
«Да, значит, живой».

(Упал он на землю уже не живым,  
травы степные сомкнулись над ним).

Закат растворился  
в прохладном тумане,  
сад притаился,  
как будто в испуге.  
Долго прощаюсь с тетей Таней,  
с тетей Таней – матерью друга.  
Слезы горячие зреют во мне,  
скорей бы дойти до поникшей калитки...

Друг  
с фотографии на стене  
проводит меня улыбкой.

## У обелиска

Телом прикинув к обелиску,  
стоит Россия, как вдова,  
печальный плат спадает низко,  
здесь к месту плач, а не слова.  
И тихо слезы льет Россия:  
в земле лежат ее сыны...  
Бывают слезы от бессилья,  
а эти – мужеству сродни.



## Климентий БОРИСОВ

### Полевая почта №...

#### 1

Кононовым, можно считать, везло: письма в обе стороны все эти два с половиной года шли исправно.

Номер полевой почты у Андрея за время фронтовой службы сменился не меньше десятка раз, а у жены оставался тем же, первым; Андрей сказал бы его без запинки, в какой час ночи ни разбуди. На войне ему больше и нечего было помнить, как только номер полевой почты жены. Когда-то, на первом году войны, комиссар артиллерийского полка придирчиво требовал, чтобы коммунисты помнили наизусть номер своего партбилета. Мог разбудить по телефону среди ночи, спрашивая номер... Но это, теперь казалось, было так давно. Где он, тот артиллерийский полк? Погиб вместе со своим комиссаром, и знамя полка было сдано, куда сдают осиротевшие знамена.

Кононов посылал письма в виде солдатских секреток и треугольничков; жена свои – в форменных конвертах. Случалось, что конверты она выкраивала из каких-то казенных госпитальных бланков. Андрей в этом случае осторожно расклеивал конверт, подолгу изучал, что написано с изнанки. Но там обычно были только медицинские записи, иногда на латыни. Только раз там оказался пятизначный номер, обведенный рамкой. И Андрей догадался, что Нина так сообщает ему номер госпиталя. Но по этому номеру угадать, где она находится, было столь же невозможно, как и по полевой почте.

Кононов пытался спрашивать своих медиков: где может находиться госпиталь с таким номером? Ему ответили не очень уверенно: где-то в полосе их фронта. А фронт велик...

В письмах жены некоторые фразы часто оказывались вымаранными черным; военная цензура не зря получала свой паек, по какой норме он ей там причитался. Кононов догадался, что вычеркнутые цензурой места в письмах каждый раз содержат гео-

графические названия. Жена всегда была простодушной; никакого способа похитрее, чтобы сообщить о своем месте нахождения, ей, очевидно, не придумывалось.

Но так уж, наверное, устроен свет: как раз простодушные умеют пересидеть на мякине хитрецов.

В одном из писем осенью Андрей прочитал фразу, которую сначала даже не постиг в ее простоте, и было сложил письмо, чтобы спрятать его на груди. Но развернул снова, и там было просто-напросто написано: «Может, летом в нашем Паневежисе и правда хорошо: это тихий и зеленый городок. Но сейчас, осенью, к тому же без тебя,— смертная тоска».

Кононов развернул карту, чтобы прикинуть точнее: выходило даже не по птичьему полету, а по дорогам около сорока километров.

В небе уже созрели ранние печальные осенние сумерки, когда Кононов шел обочь разъезженной кривой дороги к большаку. До КПП на большаке было километра четыре; Кононов шел размашисто, почти бегом, удивляясь, что не чувствует запаха. Только в груди что-то тоненько сипело. Позади него в нескольких шагах трюхал солдат его батареи Трошин. Старше своего комбата лет, пожалуй, на десять, он скоро нагрелся, дышал тяжело. Кононов раза два останавливался, поджидая солдата, напоминал себе, что Трошину идти тяжелее, отобрал у него мешок. Но через несколько шагов опять забывал о своем спутнике, снова набирал крупный шаг. Что там у Трошина в мешке, он даже не спросил.

Командиром дивизиона у них лишь недавно, всего тому недели две, стал Николаевский. До этого года полтора оба они воевали комбатами. И Кононов счел это за перст судьбы: без долгих объяснений просто показал Николаевскому письмо жены, только то место, которое можно было показать, подогнув все остальное. И Николаевский понял все, только пристально посмотрел в лицо товарища, сразу постаревшее. Минуту помолчав, спросил:

— А если до утра не обернешься?

И Андрей горячо стал объяснять, как он все тщательно рассчитал. Но Николаевский прервал его:

— Конечно, ты все рассчитал: риск навесил на меня, остальное все твое. Старику докладывать поздно, нет его на месте, уехал в

штабарм. А когда старик уезжает в верха, сам знаешь: жди дело крутого замеса. Что мне велишь, если какая экстренность? Врать велишь, вывертываться? Не стану я старику врать.

Стариком они называли меж собой полковника, командира бригады, которого не боялись, просто любили, что нечасто бывает в армейской цепочке снизу вверх.

Николаевский тянул минуты, хотя Кононов уже видел: отпустит.

Под конец он сказал то, о чем у Кононова и в уме не было. Велел зайти к старшине, взять что-нибудь в гостинцы госпитальным дамам.

– А это к чему? – спросил Андрей.

– Ты слушай того, кто постарше, – назидательно сказал Николаевский. – У нас с тобой первая норма снабжения, а у них... Я, впрочем, не знаю, какая у них норма. Но не в этом же дело, существует деликатное обращение... Я скажу старшине.

Слушай того, кто постарше? По возрасту Николаевский был моложе Андрея года на два. Разве только по должности теперь. Но выставить свое старшинство по должности Николаевский как раз не станет.

## 2

Таким давнопрошедшим – не верится, что это было вообще, – теперь казалось то время, года за четыре до войны, когда Кононов с Ниной, оба робея, оба чему-то не доверяя, начали приглядываться друг к другу. Она приехала тогда в их город сразу после института. И они, как-то случайно познакомившись, сначала сделали навстречу один другому по маленькому осторожному шажку. Хотя у обоих к этому сближению не было никаких помех, не было ничего такого, в чем бы следовало признаваться, каяться из своего прошлого. Оба как будто добропорядочны, оба бедны. Наилучшее состояние, чтобы начинать жить наново. И второй шаг с обеих сторон получился уже посмелее.

Жилье у Кононова было не лучше, чем комнатенка в общежитии, что дали Нине. Это была комната узкая и тесная. Вдвоем в ней можно жить, если только перемещаться и поворачиваться обоим в одну сторону.

И они со своей, можно сказать, юношеской непрактичностью не придумали ничего лучше, чем задешево купить небольшой, на два окна, дом в окраинной слободе. Но дешево купленный дом оказался

соответственным своей цене. Зимой, как бы с вечера ни была накалена печь, к утру в ведрах на кухне застывала вода.

Свою кровать они поставили к теплому боку русской печи. Нина говорила: ей хорошо, потому что слева печь, справа мужичок-моховичок. Он говорил: ему хорошо потому, что хорошо ей.

Утром Андрей вскакивал, совал ноги в валенки. Так, в валенках, трусах и майке, неторопливо ходил по избе. Малость гордился, что не позволяет себе срываться в знобкую спешку; проделывал гимнастику. Пробивал застывшую воду в ведрах, умывался. После умывания лицо делалось горячим и словно чужим. Когда хорошо разгоралась печь, и в избе делалось теплее, будил жену. Она и так уже не спала, но притворялась спящей, ждала, чтобы он разбудил ее поцелуями. Обвисала у него на руках, притворяясь беспомощной, разоспавшейся.

Во вторую зиму супружества они уже так не мерзли в своей избе. За лето Андрей многое успел сделать по дому, по хозяйству. Один, без помощников, поднял на потолочное перекрытие сколько надо торфяной крошки. Пробыл паклей пазы сруба. Заниматься этим ему удавалось только поздним вечером. Бочарный стук полубалодки при этом раздавался на весь поселок. И люди в поселке, сумерничающие в своих приизбяных садиках за ленивым чаепитием, говорили: молодая наша врачиха увивает свое жильё. Нину в поселке знали стар и млад; врач в народе – фигура, кому не известная? А Андрея по роду его службы – был он работником среднего звена, «районщиком», – знали меньше. Живет малый при своей жене, и пускай себе.

Дни у обоих были заполнены беспокойной текущей работой, но вечерами в своем доме они оказывались заколдованными, словно ввергнутыми в золотистую полудрему, словно время для них остановилось на какой-то счастливой минуте и теперь долго-долго не стронется с места. И это странное чувство остановленного времени владело ими до самой войны.

Война их расколдовала в один час. И сразу стало как-то даже совестно, что они эти четыре года прожили так счастливо. Будто настал час, когда надо расплачиваться за свое благодущие.

Детьми они еще не обзавелись, и потому Нину в первые же недели призвали в армию, на госпитальную службу. В военкомате вместо паспорта ей выписали воинское удостоверение. В нем было больше де-

сяти страниц, но только на первой комиссариатский письмоводитель заполнил несколько граф. Потом открыл еще какую-то среднюю страницу, записал там размеры обуви и шапки и группу крови по Янскому.

Они вышли из военкомата, побрели домой, поталкиваясь плечами. Как принято у других-прочих ходить под руку, они никогда и раньше не хаживали. Просто ходили рядком, стараясь быть поближе один к другому...

День отправки пришел в свой черед. Отправлялся целый поезд, составленный из теплушек.

Нина все упрашивала мужа не спешить, не рваться в армию: ведь он нужен здесь, в тылу, у него броня. Она советовала: конечно, не уваливать, если дело пойдет к тому, но и не набиваться, пока не попросят. Кому-то надо же позаботиться об их нехитром хозяйстве: дом, именишко. Близких родных у Кононова не было вовсе, у ней – только старики родители, живущие неблизко.

Андрей выслушивал ее наставления, покорно с ними соглашался. Но когда состав тронулся... Меньше чем в километре от вокзала серебристая рельсовая дуга вонзалась в гору, в черное пятно тоннеля. Локомотив, входя в тоннель, издал такой жалостный вскрик, который тут же прервался, словно его заглушили наброшенным на голову состава плотным войлоком. И Андрей, смаргивая на ходу какую-то мутную пленку, полуослепнув, пошел не домой, а к себе в райком.

Прожил он дома без жены чуть больше месяца, показавшегося ему за год.

Попутный грузовик, подобравший Андрея с Трошиным, до центра Паневежиса не шел. Когда уж и город был виден, шофер свернул влево, на заправочную площадку под старыми, полураздетыми деревьями.

В городе найти госпиталь было уже нетрудно. Здесь его нашел бы и Трошин, про которого солдаты говорили, что до армии, дома, он уверенно находил дорогу только от сельской чайной до полатей в своей избе.

За вереей распахнутых решетчатых ворот, под крышей, способной защитить разве только от прямого дождя, коротал службу невооруженный дневальный. Только в госпиталях и только служивые из команды выздоравливающих так небрежно несут службу. Рядовых

санитаров без нужды дневальными не ставят; у них невпроворот другой работы. Раненые, прикованные к постелям, исполняют службу согласно присяге: изо всех сил стараюсь не умереть, а помаленьку выходить на поправку. Тем же, кто уже зачислен в команду выздоравливающих, тянуться по службе незачем: такой служивый здесь стоит уже только одной ногой, вторая нога пылит по дороге в запасный полк.

В глубине большого двора виднелась группа зданий. Кононов спросил дневального, в каком из этих корпусов живут врачи. Не потрудившись даже привстать, дневальный вяло сообщил:

– Врачей у нас много. Есть врачи-мужики, есть врачи-женки.

«Из северян родом солдатик, – подумал Андрей, пересекая квадрат подворья. – Помор, скорее всего».

В просторный полутемный коридор бревенчатого здания выходило больше десятка грубо окрашенных белилами дверей. Похоже, врачебные кабинеты; едва ли здесь окажется женское общежитие. И Трошин, с которым безмолвно, только взглядом, Андрей посоветовался на этот счет, тоже пожал плечами. Но одна из дверей была приоткрыта, и он заглянул туда. Потом открыл двери еще на ладонь шире, чтобы спросить позволения.

В комнате стояли четыре кровати, заправленные по-женски, а не по-солдатски, и три послушницы-жилички этой кельи сидели за столом, разбираясь в бумагах. И одна из них была Нина; он узнал ее с первого взгляда, хотя сидела она к нему спиной. Волосы она подрезала и здесь так же, как дома. Этот затылок он помнил с тех далеких дней, когда она появилась у них в городе молодюсенькой, начинающей врачихой.

И она не встала, не бросилась ему навстречу, только повернулась на стуле. Две другие повскакали с мест, а она осталась сидеть с помертвевшим лицом. Он смутно подумал, что и у него, наверно, лицо стало нечеловеческим, если они так вскинулись, когда вошел незнакомый офицер, что не могло быть у них таким уж необычным делом.

Он подошел ближе, Нина не поднялась со стула и тогда только начала тянуться к нему, как это делают дети, просясь к взрослому человеку на руки. На женщин, подруг жены, он не глядел; разве только боковым зрением отметил, какими у них становятся умиленными лица. Чужой радостный толчок в сердце женщины как-то умеют углядеть в момент.

Он поднял Нину за предплечья, крепко придерживая, понимая, что ее не держат ноги. Она прильнула к нему так порывисто, что, кажется, больно ударилась виском, щекой о его грудь, об ордена. По их окопной сноровке ордена, которые носятся на планках, он хранил в сумке, а те, что прочно привертываются на винт, носил всегда на гимнастерке.

– Девочки, это Андрей,– сказала Нина.

– Не слепые, видим сами,– дружно откликнулись те.

Обе они выглядели старше Нины лет на пять, может, больше того; разве в плохо освещенной комнате и в такой ошеломленности заметишь такие подробности. Его все же поразило лицо одной из них: неподвижное, как косторезное, словно маска, на которой никогда не по-являются живые чувства.

Подруги жены начали торопливо собирать бумаги со стола, намереваясь оставить их вдвоем, хотя Кононов успел сказать, что остается до утра.

– Со мной солдат,– смущенно проговорил Андрей. – Его бы устроить куда-нибудь на краткий отдых.

– Где он у вас? – торопливо спросила докторша со странно неподвижным лицом, словно обрадовавшись случаю пойти распоряжаться.

– А он тут,– прокрякал за дверью Трошин, умеющий всегда находиться под рукой.

Обе женщины ушли, плотно прикрыв двери. Но Нина тут же встала, приоткрыла двери вновь. Пояснила при этом:

– Пусть пока так. Они придут...

Они еще пришли, но заглянули только на минуту. Одна из них, с пряничным, каким-то кустодиевским лицом, вполголоса сказала Нине, что у Софьи сегодня дежурство, а ей самой придется за полночь засидеться в ординаторской, писать выходные эпикризы. Вслед за ней в комнату еще раз зашла вторая, по-видимому, старшая. Она запросто собрала со своей кровати подушку и одеяло, свернула их валиком. Уходя, она насмешливо пожелала им ни пуха ни пера.

– Получается как-то неловко, – пробормотал Андрей.

– Не думай ни о чем,– горячо сказала жена.– Дашенька у нас необходимую сноровку знает. Она обо всем и всегда позаботится... Двери теперь можно закрывать.

– Какое-то у нее выражение лица...– сказал Андрей про Дашеньку.

– Выражения у ней нет никакого. Придется бедняжке жить без выражений лица. Сейчас с этим можно мириться, а как она будет с этим жить, когда кончится война...

Нина рассказала, что Дашеньку полгода назад ранило где-то в передовом районе. Мелкими осколками ей иссекло лицо.

– А вот у тебя выражение лица было действительно странное, когда вошел. Какое-то счастливо-несчастное лицо.

– Разве так бывает?

– У тебя было. И счастливое и несчастное в одно время.

Ночь может быть и бесконечно долгой, и короткой, как сполох зарницы.

Утром дверь в комнату женщин-врачей снова была приоткрыта. Андрей с женой сидели за столом, торопливым полусшепотом договаривая, что еще не успели за ночь. Да и сколько ее им досталось – этой печальной и радостной ночи. Нине надо было наскоро отлучиться по делам. Без нее сидеть в комнате стало совсем тяжело, и он вышел в коридор.

Еще было очень тихо, хотя в госпиталях и тишина бывает особенной. В ней немало разных госпитальных звуков, которые, однако, не идут в счет; их просто не замечают. Раненые не слышат этих звуков, потому что погружены каждый в свою боль, здоровые к ним привыкли, притерпелись. Оглядевшись, Андрей понял, что здание построено в два крыла, и из палатных отделений слышались хриплые стоны. И еще тонко позвякивал инструмент, который где-то сестра укладывала в бокс для кипячения.

Андрей прошел в конец коридора, где из незакрытых дверей, как золотистая ширма, виднелась полоса света. Это была, как он понял, дежурная комната медсестер. Там сидел и балагурил с тремя сестрами его ординарец. Он устроился тут вальяжно; сидел в гимнастерке, уже умывшийся, причесанный, благообразный.

Из коридора, еще незамеченный, Кононов несколько минут прислушивался к трошинской пустословице.

Сидит старик, млеет и важничает, овладев вниманием девиц. Им он кажется, конечно, стариком; Трошину уже за сорок. Они негромко



и азартно смеются. Трошин доволен, что, кажется, произвел на них впечатление, в то время как они, может быть, смеются над ним самим.

Кононов негромко позвал ординарца, велел ему собираться.

Трошин, по штатному порядку говоря, и не ординарец вовсе. Ординарцев командиру батареи не полагается иметь. В штате он записан младшим вычислителем; исполнял же на деле все, что требовалось по нехитрому хозяйству батареи.

Андрей вернулся в комнату врачей. Нины еще не было там. Зато походкой Командора вошла Дашенька. Не потребовав от Андрея, чтобы отвернулся, она прошла в угол к своей кровати, сразу начав снимать халат. Андрей как-то спиной чувствовал, что она поглядывает на него сердито. Одевалась она споро, по-солдатски, через минуту-две уже сидела перед ним за столом в гимнастерке с погонами старшего лейтенанта.

– Нинка сидит в ординаторской и плачет, – хмуро сообщила она. – Прямо изводится плачет. Слезы так и брызжут из нее. Что ты ей такого сказал?

Наверно, одинаковое количество звездочек на погонах позволяло, по ее мнению, говорить ему «ты». Рассматривая его пристально, словно хотела надолго запомнить, она сказала еще:

– Смотри, если ты Нинку чем-нибудь обидишь, мы тебя поднимем на ножи.

И Кононов чуть не всхлипнул от радости – понял, что подруги Нину любят и берегут.

Как только он вышел за ворота госпиталя, на него набросились волки. Трошина, ковылявшего сзади, они не тронули, потому что это были не натуральные живые волки, а текущие заботы и тревоги командира батареи. Трошину такие волки были не страшны; у него было свое заклинание от этих зверей: мое дело солдатское, пусть обо всем болит голова у комбата. А Кононов не мог не думать, что, может быть, ночью из старшего штаба в дивизион принесли пакет и в нем содержится задача каждой батарее на предстоящий бой. Там с точностью школьного расписания уроков бывает сказано: время, темп огня, расход снарядов и вся прочая привычная цифирь. Но самое главное в том, что каждый комбат должен к назначенному времени доложить готовность. И может быть, срок доклада о готов-

ности уже опасно близок, а командир пятой батареи от своего НП в эту минуту находится в сорока километрах...

Все это подступило к нему, едва он вышел за ворота госпиталя. Но одновременно и рядом с этим вспомнилось, какое было лицо у Нины, когда он отрывал один за другим ее пальцы от своей гимнастерки. И в сердце у него с лязгом повернулся большой кованый ржавый ключ. До войны в деревнях он видал старинные амбарные замки, открывавшиеся с чистым, переливчатым звоночком. Один ключ от такого замка весил, пожалуй, как пистолет ТТ. И вот сейчас такой ключик дважды повернулся у него в сердце.

### 3

Приемник, он же сортировка, был самым мрачным местом в госпитале. За два с лишним месяца стояния в Паневежисе в палатах и операционных давно навели порядок если не образцовый, то терпимый для полевого передвижного заведения. В приемнике же все оставалось так, как бывает в дни обживания на новом месте: простыня, растянутая по потолку над рабочим столом, сиротский свет – четыре несильных лампочки на временной проводке, вместо ширмы – одеяло, подвешенное на веревке в углу.

Всем распоряжался в приемнике немолодой, давно ко всему равнодушный фельдшер Бондаренко. И никогда никто не мог бы сказать, насколько фельдшер трезв в каждый текущий час. За пагубное пристрастие его много раз наказывали, грозили отчислить в какой-нибудь медсанбат. Не отчисляли, наверно, потому, что и в медсанбатах ему пришлось бы доверять все того же окровавленного, израненного русского солдата.

Кроме того, Бондаренко в приемнике был на своем месте. Всю посильную хирургическую работу исправно и как-то механически делал сам при первичном обихаживании раненых, не брал на себя лишнего, но и никогда не перекладывал на других, что мог сам. И никогда не ошибался, растасовывая раненых по столам врачей-хирургов, с беглого взгляда видел срочность и очередность поступающих раненых, которые для других выглядят все на одно лицо.

И еще в одном на Бондаренко можно было положиться – в предсказаниях, какой предстоит день.

В это утро фельдшер мимолетно сказал дежурному врачу:

– Денек опять сегодня будет кругом-бегом. Вдобавок доктор Кононова годится разве только ассистировать. Ни на что большее.

Желая поставить дерзкого фельдшера на пристойное место, дежурный врач сказал:

– С чего ты взял? Доктор Кононова, как всегда...

Но это была их кланово-врачебная неправда. Доктор Кононова в это утро была плоха.

В госпитале, с кем что случилось, все узнают в тот же час. О приезде к доктору Кононовой ее мужа и о том, что она не в себе, не знали только те из врачей и сестер, что еще спали в этот ранний час; до общего подъема оставалось больше ста минут.

Фельдшер Бондаренко о свидании Кононовой с мужем только слышал от кого-то из сестер. Саму ее он встретил ранним утром в коридоре и при неверном свете слабой лампочки едва ли мог разглядеть, с каким потерянным лицом она прошла мимо. Но как-то сумел уловить, что доктору Нине сегодня работать с тяжелыми случаями не дадут.

Авкомнате женщин-врачей не спал уже никто. Такая для них выдалась ночь... Нина сидела за столом, а Дашенька стояла рядом, обнимая ее голову, стараясь унять нервную дрожь, сотрясавшую тело подруги.

С той минуты, как Кононов ушел, Нина так и не сумела взять себя в руки. Ходила по комнате, гнулась, вжимая кулаки в грудь. Пробовала лечь, но уже через минуту вскакивала с нетерпеливым стоном.

В комнате находилась еще Лидия, четвертая их подруга, забравшая на полчаса с дежурства.

– Дай ты ей наш обычный микстураль – бром с валерьянкой, – посоветовала она Дашеньке.

– Пробьешь ее бромом с валерьянкой, как же, – сердито отозвалась Даша. – Ей надо вколоть дозу пантопона.

Если бы это было на ночь... Эти женщины сами были врачи и состояний, которые называют нервными срывами, навидались достаточно. Если бы еще точно знать, как следует привести в норму человека, который сделался не в себе. Но точно они знали только одно: лучше дать человеку справиться с таким состоянием самому.

Впрочем, у Дашеньки для близких ей людей находились свои собственные методики. Так и на этот раз она неожиданно сказала:

– Что уж теперь. Ничего же сделать нельзя. Разве только я прочту тебе сейчас старушечий заговор.

И сразу же, как непризнанная, никому, кроме своей деревни, не известная сказительница, начала причитать, сказывать:

– Выду я, раба божья, скорбящая Нина на перекрестицу польских дорог, примусь я падать мокрым ликом в дорожный пыс. Раз на солнцевсход, раз на полу-день, раз на заход солнышка, раз на полуночь. Покличу я матушку ратную Обережь. Матушка крепь-надежа, ратная Обережь, охрани ты мне нареченного мово воителя Ондreja от стрелы каленыйи, от сабельки булатныйи...

Лидия по другую сторону стола внимательно слушала, пристально глядя на подруг.

– А от танков, от авиации как? – хмуро спросила она.

Но Дашенька только глянула сердито, кликушески продолжая:

– На море-окияне, на острове Буяне лежит бел-горюч камень. Доправлюсь я, раба божья Нина, до бел-горюча камня, размочу его своей жиночей слезой, порушу в порох перстами своими. Омою я мужу своему Ондрею женской слезой отверстие раны его...

– Может, лучше все-таки риванолем? – опять в задор спросила Лидия, не умеющая постичь Дашенькины заклинания.

Но Дашенька, может, для сворачивания под концовку, забормотала уж совсем бессмысленные слова:

– Шулан да булында, ярин да тулайка, чинчибри полынка, тугаринка...

Была ли эта прибавка к заговору, бессвязная считалка из детства или искаженные до неузнаваемости слова некоего ритуального бормотания на языке давно исчезнувшей народности, Даша, наверное, и сама того не знала.

Даша, сколько подруги ее знали, была такова: с чудачествами. И выдумщица, если надо было кому-то развеять напряженность и тревогу. Случалось, садилась гадать госпитальным женщинам на картах, и тогда со смеху можно было помереть, слушая ее рыночно-цыганский диалект. Нина между тем понемногу выправлялась и без микстуры, без укола, которым ей грозила Даша. Она сказала, все еще всклоктывая от сдерживаемого плача:

– Сил нет даже пойти умыться!

– Да что это с тобой поделалось? Никогда тебя такой не видели!

– Сама не знаю... Вдруг представилось, что я его больше не увижу. Мы ведь чем живем? Живем надеждой, что кончится война и опять у каждой из нас будет дом, семья. Как это все лучезарно и как далеко. Пока мы вот так случайно не свиделись, у меня и мысли, не было, что с ним может случиться что-то недоброе. Думалось: ну, ранят, могут ранить и тяжело. И мне представлялось: случись, Андрей поступит к нам, неужели мы его не спасем?.. А тут нагледелась на своего сокола и вдруг сообразила, что многое множество их вообще не попадает к нам в госпитали, остается там, под деревянными пирамидками со звездой. Как будто раньше этого не знала. Дура, конечно, дурой...

– Перестань. Тебе не за что себя корить!

– Есть за что. Вот поддалась своему горю. А это нам нельзя...

Дашенька пресекла разговор нетерпеливым движением. Ей все еще не нравилось настроение, с которым осталась ее подруга после неожиданного краткого свидания с мужем. По ее мнению, Нина должна бы быть рада выше горных вершин.

Из своей полусамовольной поездки Андрей вернулся вовремя, за ночь не случилось никакой экстренности, он не попал ни в какую неприятность и не подвел никого из сослуживцев.

О возвращении следовало доложить тому, кто отпускал, – Николаевскому, и Андрей, прежде чем попасть на батарею, завернул на пункт командира дивизиона. Но оказалось, что Николаевский спит не в землянке, а в машине, метрах в трехстах воткнутой в кустарник. В последнее время у многих артиллерийских офицеров, кому полагалось иметь для разных надобностей полуторки, так повелось: в кузове сооружали небольшой фургон с дверцей и окном, а внутри два рундука по стенкам и столик.

Внутреннее убранство таких жилищ на колесах было у одних лучше, у других скромнее, но во всех случаях было подсказано тойской по самому мизерному гражданскому уюту.

Николаевский спал в фургоне, укрывшись с головой шинелью. В углу, против уютно топящейся жестяной печки, сидел солдат-связист с двумя телефонными трубками, висящими по обе стороны головы на петельках из бинта. Связист был также и недреманным

часовым, охранявшим покой своего майора. Кононов пошептался с ним, спрашивая, давно ли спит Николаевский. Не желая беспокоить человека, который лег меньше трех часов назад, Андрей спустился с подножки на колесах, осторожно прикрыл за собой дверь. Но он не отошел и десяти шагов, как Николаевский появился в дверях в шинели внакидку. Свежий, словно и не со сна, он коротко и звучно свистнул, по-мальчишески подбирая нижнюю губу. И Андрей вернулся, подтянувшись форменно, сказал:

– Осмелюсь доложить...

Иногда, если случалось с глаза на глаз, для разнообразия жизни они пользовались этим присловьем бравого солдата Швейка.

Николаевский спустился с подножки наземь, отошел к колесу. Андрей ждал его, пошатываясь от накопившегося в теле утомления. Думалось ему при этом как-то зыбко: что тут делалось ночью такого, что Николаевскому удалось поспать только часа три? Какой-нибудь артиллерийский переполох? А спит Николаевский чутко; они и разговаривали с телефонистом чуть ли не шепотом. Хотя чему удивляться: все они за войну научились спать по-кошачьи. Бывает, даже артиллерийская стрельба не заставляет проснуться. Если, конечно, стреляет своя артиллерия. Будит обычно только что-нибудь непривычное, например, подозрительная тишина.

Андрей оглянулся: его ординарец шагах в десяти исправно спал, присев на пенек. Андрей с интересом ждал: о чем спросит его Николаевский. Но у того нашелся только самый краткий, зато емкий вопрос.

– Ну?

Но Андрей замешкался с ответом, и Николаевский навел его на некоторые уточнения:

– Все как следовало? Повидался?

– Все по диспозиции.

– Ну, рад за тебя. Мог бы прибыть еще часа на два позднее.

Николаевский сказал напоследок, что ночью никаких варнацких выходов со стороны противника не наблюдалось. Андрей попенял командиру дивизиона: если имелось еще два часа резервного времени, почему не передал этого каким-нибудь способом внушения на расстоянии. Ему, Андрею, эти два часа были б дороже всех сокровищ.

На том и разошлись.

Отсюда до своего блиндажа Андрею с Трошиным оставалось бы километра полтора, но по прямой вдоль переднего края не ходят. Было уже достаточно светло, и утро выдалось артиллерийское. Так среди офицеров стало принято называть погоду, когда утро приходит не молочно-матовым, а сияющим, как чистой воды кристалл. Идти прямоком мешало бы даже не то, что слишком отчетливо видит немец; свои, солдаты-пехотинцы, сидящие в траншеях, окопчиках и щелях, будут сердиться, что какие-то двое шастают, демаскируя передний край.

Правее по ходу синел перелёсок, на карте имеющий форму песочных часов. Но и пытаться пройти перелеском было неразумно: опушки его были щедро наштапованы минами, теперь уж не разобрать – своими или немецкими. Из-за всего этого Андрею с Трошиным приходилось делать околицу километра в четыре.

Трошин плелся позади своего командира, квелый, безучастный, однако грыз на ходу сухарь. Сухарей у них, Андрей это знал точно, не было, не получали их в батарее уже давно. Скорее всего, Трошина в госпитале угостили девушки-медсестры, зря, что ли, он развлекал их солдатскими прибаутками. Когда Андрей оглянулся, Трошин и ему предложил, протянув на ладони, полсухаря. Это был сухарик из белого хлеба, таких в солдатском пайке никогда не бывало. Но Андрей, качнув головой, отказался. Знал, что долго не сможет ничего есть. Ночью они с Ниной немного перекусили, но оба ели плохо, без удовольствия, словно делали какое-то непривычное дело.

На этом рубеже их бригада стояла больше двух недель, и Кононов думал, что он тут знает каждую тропу. Но сегодня он что-то с трудом узнавал местность. Или это тихий и пристальный утренний свет так меняет в глазах пейзаж, высвечивая одни подробности, притеняя другие.

Андрей шел, вперебивку думая о том о сем. Но о чем бы ни думал, когда вспоминал прошедшую ночь и отчаянное, исплаканное лицо жены, его пронзала ледяная игла.

Все, кажется, получилось хорошо. Человеку, повидавшемуся с женой, какой фронтовик, блиндажный сиделец, не позавидует? Но почему тогда такая боль и тревога, которых он не испытывал до поездки?

В одном месте вплотную к дороге подступал острый мысок спелого леса. И Кононов вспомнил: где-то здесь, в начале стояния на

этом рубеже, их из лесу обстреляли бродячие немцы-окруженцы. Он мысленно впервые назвал немцев окруженцами и усмехнулся этому. Тут есть свои оттенки смысла. Первую треть войны нашим было суждено называть окруженцами самих себя. А теперь вот приходилось привыкать к этому слову в применении к врагу...

После Витебска фронт за каких-то две недели пробуравил сразу три области, и в тылах у него осталось множество мелких групп противника. Одни из них без лишней волокиты выходили из лесов и буераков к большакам и, вольно расположившись возле своего оружия, сложенного костром, терпеливо ждали пленения. Другие сдавались не сразу, успевая напакостить русскому солдату.

Разведчики из взвода управления дивизиона в дни наступления где-то сумели подобрать брошенный исправный «опель-кадет». Машину полагалось сразу сдать в тылы, но не такой уж христосик он, солдат с передовой, чтобы неукоснительно следовать тому, что полагается. На машине, если не выезжать на большаки, не рисковать проездом через контрольные пункты, можно было еще поездить в свое удовольствие. А во взводе умеющих водить нашлось сразу трое.

В тот раз они ехали в «кадете» вчетвером. Сержант-разведчик Валька Шевцов – за рулем, Кононов – рядом на переднем сиденье. Уже привечерело; к тому же весь день над полями и лиственными литовскими колками висела дымка. И как раз, когда они сравнялись с вершиной лесного мыса, по машине хлестнула короткая автоматная очередь. Позднее, когда они уже проехали опасное место, Валька Шевцов, будто его нисколько и не устрасила близкая опасность, проговорил:

– Во-о поганцы. Хорошие люди так не воюют. Если уж обстреливать машину, так с толком. А так зачем? Как мальчишки, которые, бывало, постучат в дверь и наутек.

Как-то не слишком потревожился этим дорожным происшествием и Кононов. Выскакивать из машины и преследовать бродяг немцев не имело смысла. Они уже, скорее всего, были где-нибудь далеко в глубине леса.

Одна пробоина в ветровом стекле пришлась как раз посредине, между Шевцовым, ведущим машину, и комбатом, вторая – под самым верхним краем стекла.



Оставалось только похмыкать, отмечая, что счастливые случайности бывают на войне, может, и не реже несчастных. И весь остатний путь в пробоины с шипом втягивало вечерний холодный воздух.

Это было недели две назад, в первые дни стояния дивизиона на этом рубеже, но сейчас в памяти как-то все перетасовалось; без запинки было не сообразить: что, когда? Что происходило с ним раньше, что позже... И сама поездка в госпиталь представлялась радужным сном. Он знал: надо поспать хотя бы пятнадцать, десять, пять минут, чтобы прийти в себя.

#### 4

НП батареи на этом рубеже был выбран и оборудован так, как они уже делали много раз раньше. В боевом уставе, который есть в полевой сумке у каждого офицера, не расписано во всех подробностях, как надо выбирать и оборудовать наблюдательные пункты. Там об этом говорится довольно общо. Война восполнила этот недостаток устава – научила устраиваться рационально. Обычно на линии передовых траншей «сестры» – так по упрощенному коду называлась пехота – отыскивалась какая-нибудь высотка, с которой сравнительно широко видать позицию противника, глубину его участка. В этом случае нечего было и мудрить с выбором места для пункта. Ясно, что на высоте, на несколько шагов ниже ее вершины – на склоне, обращенном к немцу. А не на самом лысогорье, потому что в этом случае НП был бы выпукло, как пуговица, на просвет виден противнику.

Жилые землянки взвода управления были вырыты у подножия высотки, в полусотне метров от самого НП. Траншейка на пункт, внизу только для видимости просеченная всего на один штык лопаты, становилась тем глубже, чем выше по склону, а на вершине углублялась в землю уже в рост человека. Метров на пять при входе в блиндаж она была даже перекрыта тонким жердьем и хворостинником. В последнее время – после Витебска – они авиацию противника, можно считать, и не видали, от маскировки с воздуха начали отвязать и здесь траншейку перекрыли лишь для проформы.

Кононов отсутствовал в своем хозяйстве и всего-то меньше су-

ток. И все-таки осматривал жилые блиндажи, траншейный подход к пункту так, словно приехал сюда как вновь назначенный и ему предстоит принимать батарею. Никаких перемен, однако, не было видно, да никаких работ по улучшению позиции и не требовалось. Он заглянул в небольшую землянку, где они жили вдвоем с Кузнецовым – командиром взвода разведки. Немного выше землянки артиллеристов начиналась траншея пехотинцев и, коленчато изламываясь, уходила вправо через отрожек. Везде вокруг было безлюдно, тихо, как всегда бывает днем при ведренной ясности.

В самом блиндаже наблюдательного пункта было полутемно, глухо, как в погребке. Незатененный свет сюда шел только через амбразуру, к тому же прикрытую сверху козырьком из фашины.

Солнце стояло пока еще сзади; в предвечерье оно будет заглядывать прямо в амбразуру, и этот распорядок, установленный для себя светилом, имел для артиллеристов свое значение. Что наши наблюдатели, что немцы – те и другие особенно азартно охотятся именно за блеском стекол. Та и другая стороны, если удалось засечь по блеску линз НП противника, следят за ним не спуская глаз.

На пункте за трубой сидел не солдат-разведчик, как всегда в часы затишья, а Кузнецов сам. И, кажется, даже в самой стереотрубе – коротком двуроге перископе – содержался определенный азарт, всегда присутствующий здесь, когда батарея ведет огонь. И Кузнецов даже не обернулся посмотреть, кто спустился к нему по трем земляным ступеням. И телефонную трубку держал по своей, известной всей батарее привычке – заткнутой на груди за борт шинели.

Впрочем, он тут же добыл трубку из-за пазухи, прокричав в нее:  
– Смазать по нагару.

Эту команду огневики на батарее любили, как коты валерьянку. Она означала, что стрельбы пока не будет, но расчетам следует находиться при орудиях. На батарее всегда найдется что-нибудь копать, но после команды «Смазать по нагару» людей на копку не отвлекают. Однако смазывают по нагару обычно после продолжительной пристрелочной работы, а Кононов, когда шел на батарею, стрельбы не слышал. Он мысленно прикинул расположение на карте своих огневых позиций, НП и мест, по которым шел. Получалось, что шел как раз под траекториями фурлюгающих в воздухе снаря-

дов, а вот не слышал столь привычных и знакомых звуков. Крепко же он задумался на ходу. Словно на какое-то время переселился из мира войны в какой-то другой мир.

– Что у нас тут делается? – спросил Кононов, небрежно поздоровавшись.

Но мог бы и не спрашивать; по каким-то самому непонятным признакам он видел, что все на батарее, во всяком случае, на НП, остается таким, как он оставил вчера. Ничего не прибавилось и на разведсхеме. Лишь на словах Кузнецов доложил, что ночью Шевцов, кажется, наколот у противника новую батарею.

«Наколоть батарею противника» не было выражением из многокрасочного солдатского жаргона. Если в полосе наблюдения сделана засечка даже ночью по вспышкам, ее еще не наносят на разведсхему как вновь появившуюся батарею противника. Ее пока отмечают только иглой на карте. Противник может просто имитировать вспышки; это не в редкость делается у нас; почему этого не делать и немцу? Это может быть и кочующая батарея: тоже не в редкость. Придется последить за нею, за этой новоявленной батареей. Когда она подтвердится несколько раз засечками с двух пунктов, только тогда можно будет докладывать о разведанной вновь цели...

Кононов даже не сел за прибор, не посмотрел на поле, давно изученное, на свой сектор обстрела – ушел в землянку, чтобы поспать сколько удастся. Но и засыпая, он почему-то не переставал думать о новой засечке, сделанной пока только в виде укола иглой на карте.

## 5

Когда Кононов снова, второй раз по приезде, спустился по трем ступеням и, пригнувшись, шагнул в блиндаж, там за стереотрубой сидел Шевцов, а Кузнецов – на полу, подвернув под себя ноги, приводил в порядок записи в тетради наблюдений. Он с первых слов сказал главное: что на батарею ночью подвезли еще два боекомплекта снарядов. Это многое означало, и Андрей понял: его друг со смыслом не сказал этого давеча сразу. Когда на батарею в достатке завозят снаряды, спать бывает не время.

Следующие затем два дня... Или два с половиной? С каждым

может случиться так, что запутаешься в днях, в переходах из ночи в день. Следующие дни оказались такими, что и не задремлешь. Было много стрельбы, много вычислительной работы. И еще много разных дел по хозяйству, таких, о которых сразу же забывают. Батарея, конечно, не дивизия, не корпус, но и она хозяйство.

И весь этот отрезок времени Кононова не оставляло такое чувство, что поездка в Паневежис ему даром не прошла.

Все они к этому времени втянулись в войну, стали ее мастерами. Научились отбрасывать со своего пути все лишнее, мешающее основному делу. Кононов знал, что научился воевать со спокойным достоинством и без того безотчетного страха, который часто вынимает из людей на войне их живую душу. А теперь он будет бояться, может, даже больше, чем в начале войны. Бояться, что что-нибудь случится с Ниной; люди, бывает, гибнут и в госпиталях. Будет страшиться тяжелого увечья... Как бы то ни было, воевать теперь ему станет много тяжелее.

Под вечер другого дня опять разведрило. Все они уже заметили: в Прибалтике ненастье приходит как-то подкрадываясь и переход от ясности к дождям бывает почти внезапным. Кажется, только что небо мерцало голубизной, и вдруг уже моросит и низко висящее брюхо сплошной облачности простерлось от западного горизонта до восточного. Таков же переход от дождей к яснопогодью. Бывает, дождь еще не прекратился, а ворсистое и вислое небо, смотришь, вдруг посекалось, пошло прорехами, сквозь которые – синева...

В этот вечер облачное одеяло начало свертываться с западного края, и очень низкое, налитое оранжевым соком солнце глянуло прямо в линзы стереотрубы. Манипулировать прибором, пока не померкнет солнце, значило бы работать на противника. И Кононов с Георгием Кузнецовым ушли с пункта в жилую землянку.

В землянке они прилегли каждый на свой земляной рундук. Когда фортуна одаривает солдата получасом полноценного отдыха, от этого не принято отказываться. В траншее, вблизи от входа в землянку, Трошин погромыхивал чайниками.

– А все-таки как повидался с женой? – спросил Георгий.

В первый день по возвращении комбата он ни одним словом не проявил интереса к этому. По своей сибиряцкой сдержанности не

спросил бы и сейчас, но вечер выдался таким душевным, так ярко и светло отгорала заря в просветах между сгребаемыми в кучу облаками. Таким все вокруг было тревожно-контрастным, подсвеченное сверху слабеющим полымем...

– А действительно, как повидался? – отозвался Андрей, тоже тронутый раздумьем и сладкой печалью. И неожиданно для себя сказал слова, которые сам за собой перестал числить: – Понимаешь, это было как первая любовь и первое свидание. Словно мы и не прожили до войны супружески четыре года.

Он умолк, и Георгий больше не ожидал никаких слов. Не в их привычках было разговаривать о том, что пристойнее держать при себе. Но когда он начал думать, что Кононов уже задремал, тот вдруг сказал:

– Конечно, в нашем положении такая поездка – великое счастье, но лучше бы она только приснилась. Мне теперь придется как бы начинать с того, с чего мы начали войну, впервые прибыв на фронт. Буду теперь всего бояться.

– Ну, бояться ты не будешь. Мы свое отбоялись. Так давно живем под страхом, что пора привыкнуть.

– А есть люди, которые говорят, что к этому нельзя привыкнуть. Будто смерти бояться все, только одни умеют скрывать свою боязнь, а у других она на виду. Но так рассуждает само слабодушие. Если есть тяжелый, болезненный страх, значит, нет мужества. Значит, смелый лишь тот, кто умеет казаться смелым.

– А есть выражение: презрение к смерти. С этим как?

– А с этим никак. Я этого тоже не принимаю. Смерть надо уважать так же, как мы уважаем все живое. Она только последний поворот ключа в дверях, которые никогда больше не откроются. В общем, у меня отношение к этому солдатское: живы будем – не умрем...

Чем-то Георгия растревожил этот вечерний разговор. Но у мужественных людей не принято обнаруживать беспокойство и волнение. И он сказал:

– Разговорились на болость. У нас в Сибири, – пояснил он, – есть такая старушечья приговорка: на болость. Если иными словами, то смысл таков: ни к чему эти разговоры, от них одна изжога.

Может, русским женщинам в войну, где бы они ни были, помогало держаться и все вынести больше всего воображение. Каждая из них хоть раз могла подумать так: мы здесь, а они там, и нам даже представить себе трудно, каково им там приходится.

И это заставляло женщин быть двуязыльными.

Как бы ни было, а доктору Кононовой понадобилось всего несколько дней, чтобы обрести прежнее состояние, сделаться опять такой, какой она была до встречи с мужем. Может, помогло то, что на фронте, в их секторе, после некоторого затишья опять начались бои. Это был еще не тот бесноватый госпитальный темп, когда хирургам по три-четыре раза в день меняют испятнанные рдяными разводами халаты, когда удается лишь изредка, держа руки приподнятыми наотлет, шагнуть за дверь операционной и там постоять самую малость, прикрыв глаза, и сделать пару длинных затяжек, если кто-нибудь милостиво сунет в рот зажженную сигарку.

Судя по потоку раненых, бои на их участке фронта еще не были такими, как на некоторых прежних рубежах, но они уже предвещали жаркое дело. Даже во всей тыловой жизни как-то ощущалось, что у противника за спиной его государственная восточно-прусская граница.

И опять, словно заново втянувшись в привычную свою работу, Нина стала думать: пусть исполнится все, чему назначено быть. Мальчик мой жив, и ничего лучшего мне не надо.

Она была на три года младше мужа, но еще до войны в добрые супружеские минуты называла его так: мальчик мой.

Между тем в эти дни Андрей Кононов уже не был жив.

Армия имеет сложную систему разведки.

Разведка всегда конкретна. Есть общевойсковая – разведка пехотных частей и соединений, удальцы, которых в былых войнах называли пластунами. Есть разведка агентурная, техническая...

У артиллерийских разведчиков, пока держится устойчивый фронт, дело, можно сказать, однообразно: сиди на НП, улавливай

вспышки орудий в линзах своих приборов, спиральки едва заметных дымков, когда покашливают где-то вдалеке батареи противника.

Это когда устойчивый фронт.

Но такие пересидки в обоюдной обороне случаются нечасто и подолгу не длятся. Приходит такой час, когда после большей или меньшей силы проглаживания вражеских позиций артиллерийским утюгом противник не выдерживает, трогается «нах куда уносят ноги». Бывает и иначе: противник, не дожидаясь нашей артиллерийской выволочки и последующих атак, среди ночи скрытно снимается с насиженной полосы.

С вечера он еще был весь налицо по всей полосе наблюдения; плескал из пулеметов на всякое проявление неосторожной жизни у нас, бросался мелкими минами. И ночью не прекращается пулеметное тырканье, прорастают стебли сигнальных ракет, склоненные в нашу сторону, и, с треском лопаясь, расцветают на этих стеблях какие-то невиданные соцветия зонтичных растений, угасающих в те же минуты. Но под утро понемногу умолкают пулеметы, не взлетают больше ракеты. И тогда разведчики-наблюдатели заподозревают неладное. И еще до рассвета опасения подтверждают: противник ушел, оторвался, его траншеи и блиндажи пусты.

Отходу противника только бы радоваться, но это на непросвещенный взгляд. На самом же деле позволить ему скрытно отойти, потерять его, пусть хоть на короткое время, нельзя.

Где-нибудь он прочно сядет на новом рубеже, заранее подготовленном, и тогда предстоит заново позиционный бой.

В ротах и батальонах дивизии ждали в эту ночь, что немец подхватится на попят. Но за ночь не произошло ничего такого, что говорило бы о скором отступлении противника. Утром воздушный надзор даже отметил в его тылах на некоторых дорогах привычные пароконные повозки, идущие к фронту. В положенный час с наших НП видели горбатые фигуры солдат, которые шли по мелким местами траншеям к передовой линии: несли в ранцевых термосах завтрак.

Но то, чего ждали, было все-таки назревшим. Противник таки начал отход, только не ночью, а среди дня. Как бы желая показать, что он, немец, не всегда воюет по принятому шаблону.

Около полудня и наземное, и воздушное наблюдение отметило,

что по отводам нечетко видимых, не слишком наезженных дорог к большакам поволоклись кое-где его артиллерийские батареи на конной тяге, а выбравшись на большаки, сразу пускались в рысь. Похоже, оставалось на прежних позициях только несколько батарей, только кое-где. Зато эти оставшиеся принялись стрелять со всем усердием, дожигая оставшийся запас снарядов.

Кононов с утра томился странным чувством, что предстоит бесконечно долгий день. И еще, что сегодня что-то должно случиться. А что? Широкого наступления они не ждали, предвестие его имело бы определенные признаки, хорошо известные по прежним большим боям. Сегодня по всем признакам будут снова вскипать сполохи огневого боя то там, то здесь. Словно рокошущая, слепящая глаза гигантская шаровая молния станет перекатываться от одного фланга к другому.

Но Андрей ждал на этот раз чего-то другого, нечаянного. Накануне уже запоздно он получил пакет, и в нем были даны несколько новых плановых целей. Среди них батарея противника, которую ребята-разведчики обнаружили в ту ночь без него. Правда, за это время новую цель успели подтвердить другие, соседние пункты, но пока ее все еще числили незнакомкой.

И Кононов, пользуясь условиями освещенности – низко направленный свет с востока на запад, – начал привычную работу, пристрелку по рассчитанным реперам, не беспокоя пока самую батарею противника. Сидел, подолгу прикинув к окулярам прибора, произносил в телефон свои команды, следил за разрывами снарядов, которые исправно приходили туда, куда он их назначал. Разрывы были хорошо видны, они появлялись где и должно быть, напоминая издали не очень форменно скатанные шары из белой шерсти. Все шло как надо, но томило его какое-то нетерпение сделать это все скорее-скорее, боязнь чего-то не успеть.

А незнакомка тем временем, наверно, не поняв еще, что к ней примеривается русская батарея, вдруг начала стрелять куда-то левее по фронту.

Между логическим пониманием, что вражеская батарея стреляет по кому-то живому на нашей стороне, и тем, что видят глаза, есть большое несоответствие. Под снарядами ее где-то недалеко,



может быть, гибнут наши люди, а глаза видят только, что там, на стороне противника, километрах в трех, в заовражье над гривкой мелколесья, прорастают четыре дружных витых дымных стебля. Они едва различимы, почти прозрачны, невысоки, они слабо колышутся в вершинах.

Все получалось исправно. И все же Кононову чего-то в этом не доставало, хотелось в чем-то убедиться. И он, оттолкнувшись от стереотрубы, вышел из блиндажа, как-то скованно, тяжело поднялся на земляной холмик поверх бревенчатого наката. По траншее шагах в десяти на пункт поднимался Георгий Кузнецов. Он видел, как командир батареи встал на холмике с биноклем, нешироко расставив ноги, прочно утвердив локти на груди.

– Эй, пижон! – успел крикнуть Кузнецов возмущенно-предупреждающе. Выставляться так против светлого утреннего неба не следовало.

И Андрей успел усмехнуться тому, что Георгий прикрикнул на него, как на подчиненного. Оба они были смелыми людьми, но не терпели похвальбы смелостью. Называли себя мастеровыми войны. И, может быть, если бы Кононов увидел Георгия вот так же вставшим во весь рост на бугре блиндажа, он тоже крикнул бы ему возмущенно-предупреждающе: «Эй, пижон...»

Но сам-то про себя он знал, что не пижонства ради вылез на холмик. Стереотруба – превосходный прибор, надежный друг артиллеристов. Но она все-таки сужает поле зрения и искажает масштабы удаления. К тому же стрельбы в этот час, артиллерийской и минометной, было немало по всему участку. Вблизи репера, который он пристреливал, рвались еще и чьи-то другие снаряды.

Кононов обернулся на оклик: «Эй, пижон...» – и бинокля из рук не выпустил, но обернулся как-то замедленно, подгибая колени, словно бы осторожно начал валиться набок.

На войне умение падать, вовремя припасть к земле – одна из необходимых сноровок солдата. Но так не по-солдатски для самосохранения не падают.

Георгий вымахнул из траншеи, проворно стащил комбата на бровку, снова соскочил вниз, бережно принял на руки и опустил вниз при входе в блиндаж уже обвисающее как плеть тело...

Снайперская пуля пришлась Кононову в шею, пальца на два выше яремной ямки.

Военфельдшер Петя Трачук, лицом совсем еще мальчик, прибежал, осыпая локтями глинистые стенки, так скоро, как только мог. Но поспешность его была теперь уж ни к чему. Кузнецов успел только разорвать перевязочный пакет, прижать к ране подушечку с красной ниткой по изнанке. Но рана почти и не кровоточила.

Возможно, Петю Трачука не многому успели научить в его фельдшерском училище с ускоренным выпуском, но для того, чтобы распознать смерть, и не надо обширных знаний. Он выдернул у комбата гимнастерку из-под ремня, приложился ухом к груди. Выпрямившись, сказал:

– Зато самая легкая смерть...

На четвертом году войны армия не может не быть хорошо отлаженной машиной. Уже через пять минут Кузнецов сидел на пункте за стереотрубой, занимаясь тем же делом, которое не довел до конца Кононов.

Он только что доложил о случившемся Николаевскому. Телефонист, сидевший тут же на пункте, при двух телефонных аппаратах, упустил, что сказал командир дивизиона на другом конце провода, зато отчетливо слышал ответную реплику Кузнецова:

– Это мы с вами думаем, что снайперы у немцев уже перевелись. А у него на этот случай еще отыскался какой-то шелудивый Виллибальд и при нем мушкет с оптическим прицелом.

Кононов к этому времени лежал уже не на земле, а на носилках с низкими ножками. Брезент носилок провис, и тело касалось земли. Никто не закрывал погибшему комбату глаза, не клал на них медные пятаки. Но глаза были плотно, покойно закрыты.

Кузнецову было горько думать, что ему не удастся даже похоронить друга своими руками.

Но пока пехота не начала продвижение, ему пришлось еще стрелять по цели, для которой не было подготовленных данных, – по перекрестку двух большаков. До перекрестка батарея доставала почти на пределе, стрельба была сложной, а ему вовсе не хотелось вперые за командира батареи отстреляться с сомнительным успехом.

Может, это вышло к лучшему, что в такой час его с головой за-

хлестнули текущие дела. Без этого, наверно, было бы еще труднее пережить первые часы после гибели Кононова.

Этот перекресток дорог ему пришлось держать под своим огненным контролем, пожалуй, около часа. И только после этого командир дивизиона приказал ему покинуть НП. Все линии связи были уже сняты; оставалась эта – последняя. Но и ее связисты собирались сматывать; два солдата-телефониста уже стояли в дверях блиндажа, ждали конца разговора. Обычная обстановка, нервная, словно подъем среди ночи по тревоге. Пора бы привыкнуть покидать обжитый рубеж, но, видно, солдат к этому не привыкнет никогда.

Командир дивизиона напоследок потребовал прочитать ему запись из офицерского удостоверения Кононова. Ту графу, где записаны имена родных погибшего, их адреса. Но Кузнецов, не глядя в документ, знал, что там значится лишь одно имя – жены, Нины Николаевны Кононовой, полевая почта №...

Сеялся частый длиноволокнистый дождик, когда Кузнецов спускался с пункта в ложбину, к жилым землянкам. Носилки все еще стояли в уширении траншеи. Покойник лежал со строгим и посеревшим лицом, покрытый шинелью.

Кузнецов поднял шинель, чтобы покрыть и лицо друга. Она уже отяжелела, сделалась лубковатой от дождя.

В землянках, разумеется, никого не оставалось; разведчики ушли вперед, и ему предстояло их догонять. Но до чего же сиротским духом заброшенности сразу начинают пахнуть такие земляные берложки, едва их покинут солдаты – кратковременные жильцы.

О похоронах комбата позаботится командир дивизиона. Придут трое солдат-огневигов с лопатами и кирками...

Устремляясь напрямик через разлужье, которое еще недавно было нейтральной полосой, Кузнецов подумал, что весной окружающий пейзаж, должно быть, станет живописным, скромно-раздольным. Где-нибудь на склоне этого же холма, откуда широко видна плавно прогнувшаяся пойма речки и сизая марь кустарников по ней, и похоронят русского офицера.

## На высоте Н.

На развороченные доты  
Легли прожектора лучи,  
И эти темные высоты  
Вдруг стали светлыми в ночи...  
А мы в снегу, на склонах голых,  
Лежали молча, где легли,  
Не подымали век тяжелых –  
Высот увидеть не могли.  
Но, утверждая наше право,  
За нами вслед на горы те  
Всходила воинская слава  
И нас искала в темноте.

## Последнее письмо

Лишь губами одними,  
бессвязно, все снова и снова  
Я хотел бы твердить,  
как ты мне дорога...  
Но по правому флангу,  
по славным бойцам Кузнецова,  
Ураганный огонь  
Открывают орудья врага.  
Но враги просчитались:  
Не наши –  
фашистские кости

Под косыми дождями  
Сгниют на ветру без следа,  
И леса зашумят  
на обугленном черном погосте,  
И на пепле развалин  
поднимутся в рост города.  
Мы четвертые сутки в бою,  
нам грозит окруженье:  
Танки в тыл просочились,  
и фланг у реки оголен...  
Но тебе я признаюсь,  
что принято мною решение,  
И назад не попятится  
вверенный мне батальон. ...  
Ты прости, что письмо  
торопясь, отрываясь, небрежно  
Я пишу, как мальчишка – дневник  
и как штурман – журнал...  
Вот опять начинается...  
Слышишь, во мраке крошечном  
С третьей скоростью мчится  
огнем начиненный металл?  
Но со связкой гранат,  
с подожженной бутылкой бензина  
Из окопов бойцы  
вылезают навстречу ему.  
Это смерть пробегает  
по корпусу пламенем синим,  
Как чудовища, рушатся  
танки в огне и дыму.  
Пятый раз в этот день  
начинают они наступленье,  
Пятый раз в этот день  
поднимаю бойцов я в штыки,

Пятый раз в этот день  
лишь порывом одним вдохновенья  
Мы бросаем врага  
на исходный рубеж у реки!  
В беспрестанных сраженьях  
ребята мои повзрослели,  
Стали строже и суше  
скуластые лица бойцов...  
...Вот сейчас предо мной  
на помятой кровавой шинели  
Непривычно спокойный  
лежит лейтенант Кузнецов.  
Он останется в памяти  
юным, веселым, бесстрашным,  
Что любил по старинке  
врага принимать на картечь.  
Нам сейчас не до слез –  
над товарищем нашим  
Начинают орудья  
надгробную гневную речь.  
Но вот смолкло одно,  
и второе уже замолчало,  
С тылом прервана связь,  
а снаряды приходят к концу.  
Но мы зря не погибнем!  
Сполна мы сочтемся сначала.  
Мы откроем дорогу  
гранате, штыку и свинцу!..  
Что за огненный шквал!  
Все сметает...  
Я ранен вторично...  
Сколько времени прожито:  
сутки, минута ли, час? Но и левой рукой  
я умею стрелять на «отлично».

Но по-прежнему зорок  
мой кровью залившийся глаз...  
Снова лезут, как черти,  
но им не пройти, не пробиться..  
Это вместе с живыми  
стучатся убитых сердца,  
Это значит, что детям  
вовек не придется стыдиться,  
Не придется вовек им  
украдкой краснеть за отца!..  
Я теряю сознание...  
Прощай! Все кончается просто.,  
Но ты слышишь, родная,  
Как дрогнула разом гора?  
Это голос орудий  
и танков железная поступь,  
Это наша победа  
кричит громовое «ура!».

## Чай, сахар, белый хлеб

Чемодан меня выручил, без него я бы не довез до полка московские подарки. Я обежал в столице дюжину домов, и в каждом мне что-то непременно передавали. А брать было стыдно, люди отрывали от себя нередко последний кусок, да еще самый дорогой и сладкий. Но не взять было невозможно. Тщетно я их убеждал, что на фронте мы живем хорошо, что нас превосходно снабжают, только хлеба получаем по 800 граммов в день, да и приварок богатый. Я привирал, случайное выдавая за обыденное. Вспомнив про бесхозного борова, которым разжились в наступлении, рассказывал голодным землякам, как мы здоровенными кусками лопали вареную свинину. Похвастался, что среди трофеев попадалась даже копченая колбаса. Впрочем, и сам был не рад, когда рассказал про это яство пожилой маме нашего комбата-4. Она побледнела и дрожащим голосом, однако сохраняющим москворецкую отчетливость, строго произнесла: «Накажите моему сыну, чтобы ни при каких обстоятельствах не хватал бы немецкие продукты. Разве он не понимает, что продукты могут быть отравленными?!»

Из того многого, что надалили дорогим воинам, моим однополчанам, самым ценным оказалась бутылка спирта, ее передал дедушка полкового разведчика сержанта Пищулина и при этом лукаво улыбнулся: мол, сам солдатом был... Конфеты в обертках и без них, печенье, вязанные носки и варежки, белье и, конечно, чай, папиросы и табак. Поскольку я заходил ненадолго, хозяева не только подчищали свои скромные запасы, отоваренные по карточкам, но и одалживали у соседей, что удавалось. Добывали сахар, даже кусковой, который получали редко, а чаще желтоватый и сыроватый песок, даже настоящий чай – бог знает, где его давали, говорили, в особых распределителях. Существовали такие литерные столовые и магазины – «литер «А» и литер «Б», слышал шутку о ЛитерАторах



и ЛитерБеторах. Получил я и белый хлеб, годами невиданный на фронте, и даже четыре нежные булочки с хрустящей золотистой корочкой, которые называли французскими.

Сопrotивляться было бесполезно, я с благодарностью брал все, что давали, и видел сияющие глаза дарителей. Свертки умножались, переполняли мой «сидор», а также авоську, что передала мама ком-бата. И все равно у меня были заняты обе руки, и я рисковал за неотдание чести провести один из трех отпущенных мне дней в московской комендатуре, где меня гоняли бы по плацу, заново обучая столь необходимому на войне строевому шагу. Но этого не случилось: предусмотрительный дедушка полкового разведчика, кряхтя, забрался на антресоли в прихожей коммунальной квартиры и из их глубины добыл огромных размеров фанерный чемодан, покрытый толстым слоем пыли. Несомненно, он служил ему в годы гражданской, а то и первой мировой войны, но был еще крепок и мог послужить и в эту войну. В него свободно вошли все подарки, и я успокоился. Зато при посадке в поезд с ним было немало хлопот. На Белорусском вокзале состав, следовавший до Минска, брали штурмом, и мои шансы пробиться казались ничтожными. Но дедушкин чемодан и тут сослужил мне службу. Когда, поднапрягшись, я поднял его над головой и шагнул к ступеням вагона, то вдруг рвущиеся, протискивающиеся пассажиры на миг остановились и изумленно воззрились на фанерную громадину. Этого оказалось достаточно, чтобы я проник в тамбур.

Все нижние, все верхние и самые верхние – багажные места оказались заняты сидящими вплотную людьми, проход был тоже заполнен, и я с чемоданом, который, экономя площадь, поставил на попа, застыл, стиснутый со всех сторон. Размышляя, как бы устроиться поудобнее, я пытался взобраться на чемодан, но он предостерегающе заскрипел. Пришлось сползти. Так и стоял час за часом, как в московском трамвае в часы пик.

Нынешнему читателю, быть может, это покажется невероятным, но поверьте, что в поездах военного времени люди находились нередко и в менее комфортных положениях. В тесноте – не в обиде, да и сама теснота каким-то чудесным образом слабела, отпуская

людей, которые притираясь друг к другу, располагались ловчее, укладистее, что ли. Со временем я смог поворачиваться, менять положение, переступить с ноги на ногу и, конечно же, размышлять.

Поездку мою в личном плане нельзя было признать удачной. Я не повидал ни мать, ни отца. Мама с сестрой были в эвакуации на Урале, а отец после тяжелого ранения лежал в далеком сибирском госпитале. Я дважды переночевал в пустой нежилой комнате, в которой даже мебель, привычная с детства, показалась чужой, наверное, из-за спрессованного слоя пыли. Да, вещи были на месте, а родных людей не было. Грустно сидеть одному за семейным столом и жевать ломоть от пайковой буханки... Но выпала мне удача. Из разных мест города, где только ни попадался работающий телефон-автомат, я звонил Лиде. Она служила в батальоне МПВО санинструктором. Звонил, – и все неудачно, – то дежурила в госпитале, то была на занятиях. Но незадолго до отъезда мне повезло, она подошла к телефону. По ее шепоту я понял, что вокруг люди. Но именно шепотом и сказала она дорогие слова: люблю и жду, люблю и жду.

В поезде достало времени, чтобы много раз мысленно повторить эти слова и с ними задремать, опустившись на пол и обнимая заветный чемодан.

Выйдя на минский перрон, я обомлел: целые кварталы города, вернее, их развалины, просматривались насквозь. Обломки стен, провалы перекрытий и крыш, горы кирпича, бетонного крошева, почернелые остовы деревянных домов, кучи угля и пепла... И мне захотелось поскорее вернуться в полк. Но найти его, даже всю нашу танковую армию, оказалось непросто.

В комендатуре узнал, что на старом месте ее нет, и мне посоветовали направиться в расположение армейского тыла, куда прибывают боеприпасы и горючее, а там уж подскажут, как добраться и до полка. И надо поспешить, пока не начали перешивать железнодорожную колею с немецкой на нашу. Садиться в первый же товарняк и дуть на юго-запад. Цель моего путешествия находилась на одной из небольших станций на границе Западной Белоруссии с Западной Украиной. Где-то там и располагались армейские тылы. Мне повезло, поезд стоял на путях. Я спросил машиниста, правиль-

но ли еду, он кивнул головой: «Садись, хлопец. Довезу, а там еще пересядешь на рабочий поезд».

В товарном вагоне, на степлившемся песке я безответственно заснул, но никто не обидел меня и не покусился на мой чемодан: вагоны с балластом мало кого интересовали. К вечеру я высадился на станции и узнал, что рабочий поезд пойдет утром. Где-то надо было переночевать. Неподалеку от станции начинался поселок, десятка три домов, и я решил попытать счастья.

Трое суток в родном городе в положении дорогого гостя, облаканного в каждом доме, ночлег на своей кровати, телефонное признание Лиды – все это как бы оторвало меня от фронтовой настоятельности, и я было забыл, где нахожусь. Но первый же человек, открывший мне дверь, его бегающие глаза и бормотанье, что пану у нас не добже будет, что в доме тесно и положить пана-товарища негде, вернули мою собранность и бдительность. Тотчас вспомнился недавний вечер по дороге в Москву. Поездка наша в столицу была на попутных. Как еще пошутил танкист, мой товарищ по краткосрочному отпуску: «Поедем на перекладных». От польского городка Минска-Мазовецкого, где стояла на отдыхе наша часть, подбросили на полковой полуторке до шоссе, а затем мы принялись голосовать. Случились две попутки, а к вечеру удача нам изменила. Редкие военные машины шли все не туда, куда нам нужно, а потом разъезженная полевая дорога совсем опустела. Быстро хмурился осенний вечер, но мы не теряли надежды. Прошел час, другой... К нам подошел худой старик в разбитых немецких сапогах, в выгоревшей русской пилотке и спросил: «Далеко ли собрались, товарищи охвицеры?». – «В Москву!» – лихо ответил танкист. «То добре, добре, – не удивился старик. – И что же, так и станете чекать, до ночи?». – «И ночью будем». – «Ну-ну». Старик приблизился к нам и тихо промолвил: «Вот что, хлопчики, ночью тут не сходно. Балуют... Стреляют здесь вашего брата». – «Это в тылу-то?» – удивился я. «Так, выходит, тыл, да не совсем. Бабахнут – и нету. А вам, поди, еще на войне воевать». Мы согласились: воевать предстояло еще долго. «Кто же тут постреливает?». – «Бог их знает. Говорят, бандеры... Может, партизаны не замирившиеся, а то и невесть кто». – «Бандиты, стало

быть?». – «Может, так, может, не так, только побережесь надо, а то пропадете ни за понюх табаку».

Мы согласились. Совсем глупо, чтобы тебя подстрелили по дороге к дому, в котором не бывал три года. Старик указал на стога соломы: «Сховайтесь», и мы забрались в один из них. Спали по очереди. Ближе к утру загрели винтовочные выстрелы, забил «шмайссер». Действительно, война еще не оставила польские, украинские, белорусские поля и леса, хутора и вески... Утром нам подфартило: шел «студебеккер» с прицепом прямехонько в подмосковную Кубинку.

Возвращаясь из столицы, я вспомнил предостережение старика и не стал наставать на ночлеге у хозяина с бегающими глазами, а зашагал по пристанционному поселку. Искал хату победнее, думалось, что владельцы ее добрее. Но все дома были на одно лицо – под соломенной кровлей, с потрескавшимися, залатанными стеклами в окнах, покосившимися плетнями. Зашел наугад, и хозяева сразу мне понравились. Наверное, существуют объяснения мгновенной приязни: в облике встреченных, в выражении их лиц, обстановке жилья... Мне приглянулось их спокойствие, несуетливость. Мужчина с седыми висками, с культей, которую обнимала завязанная брючина; женщина с ярко-голубыми глазами на округлом курносом лице, встретив меня, сразу пропустили в горницу. Я объяснил, что прощуь только переночевать и могу устроиться где придется, лучше на полу...

Они согласно закивали головами, ничего не сказав о скромности и бедности своего жилья. Я снял шинель, присел на табуретку и огляделся. Обстановка? Какая уж тут обстановка: самодельный стол с чисто выскобленной столешницей, широкие лавки, табуретки, потемневший от времени сундук и полки с посудой: армейские котелки и кружки, чайник; виднелась кухня – с чугуном на загнетке. Как это я сразу не заметил ребятишек, утварь углядел, а их нет! Они занимали так мало места, были тихие-тихие: два мальчика лет шести и восьми и девчушка постарше. Располагались они неприметно в уголке за сундуком. Согнувшись, что-то перебирали на обрывке плащ-палатки, наверное, зерно или крупу. Их головы повернулись ко мне, одинаково светлые, а глаза обежали меня и

остановились на моем величественном чемодане. Поди, такой фанерной громадины никогда и не встречали.

Подумав о нем, я почувствовал голод. Эх, перекусить и заваляться спать. Чего же время терять? Достал ключик, наклонился над чемоданом, открыл его и сразу почувствовал, именно почувствовал, как вздрогнули ребятишки. Обернулся – ребячьи головы мигом склонились над плащ-палаткой. Между тем родители деликатно вышли в кухню.

Ребячьи головы снова поднялись, а их глаза, как магнитом, притянуло к содержимому чемодана. Поверх всего между пакетами с сахаром и чаем лежали буханки белого хлеба и булки с золотистой корочкой, французские. Конечно, здешние ребятишки не слышали этого названия и никогда не видели таких булок.

Лично мне среди редкостных припасов принадлежали кульки с пайковым сахаром, крупой, остистым чаем, пачка табака и две буханки солдатского хлеба, все это было получено на продпункте Белорусского вокзала. Что касается французских булочек, то вручавшая их мне мама полкового комбата сказала: «Две сыну, две вам, полакомитесь в дороге». – «Ну что вы, все довезу», – заверил я, представляя, какими невероятными усилиями она добыла эти полузабытые хлебцы. За сутки они подсохли, но все еще были прекрасны.

Пайковый хлеб, сахар и чай я выложил на голую столешницу, пригласил хозяев и детей к столу. Взрослые стали отказываться, дети не сдвинулись с места, но взгляды их перебежали с искрящихся рублевых кусков рафинада на лежащие в чемодане неведомые им булки. Я принялся колоть сахар в ладони рукояткой ножа, как это делал мой отец, и снова пригласил всех к столу. Девочка окликнула родителей:

– Тату, мамо?

Это был вопрос: можно ли? – И тогда хозяева подошли к столу, а за ними и дети.

– Дзякую, дзякую, – промолвила женщина. – Но позвольте воду вскипятить.

Жар в печке еще не остыл, и вскоре хозяйка в большом медном чайнике, отдраенном до флотского блеска, заварила чай и расста-

вила кружки.

Как сейчас вижу это вечернее чаепитие. Чинно и покойно расположившуюся за столом семью. Смущение старших, они пили вприкуску, глотая чай маленькими вежливыми глотками, откусывали крохотные кусочки рафинада. Ребята поначалу торопились, обжигались, и я, вспомнив детство, сказал им:

– Дуйте, дуйте, ветер-то под носом.

Так говорила бабушка. О ней я подумал еще раз, когда семейство втянулось в трапезу, и дети, освоившись, стали выразительно поглядывать на покоившиеся в открытом чемодане белые булочки. Я понял их и, достав две, протянул девочке, она поблагодарила и попросила:

– Тату...

Отец разрезал булки, разделил поровну, и дети медленно жевали, скорее, сосали, как конфеты, растягивая удовольствие. Тогда я и вспомнил бабушкино присловье, выражающее высшую степень удовольствия и удовлетворения: «Чай, сахар, белый хлеб». В тот час они и посетили хату пристанционного поселка.

Хозяева предложили мне переночевать на широкой лавке, очевидно, супружеском ложе. Я поблагодарил. Ребятишки натаскали соломы, женщина покрыла ее пестрядиным половичком, и, сопровождаемый ласковыми взглядами детей, я снял сапоги, ослабил ремень с кобурой и пистолетом, улегся и быстро заснул. Только одна мысль мелькнула у меня: «Сколько же надо булок, чтобы досыта накормить ребятишек, испытавших войну».

Спал я долго, и сон мой был глубок. Проснувшись поздним утром, оглядел комнату и сразу вспомнил: вечер, детишек, чаепитие. Мой чемодан стоял на месте. Дети ждали моего пробуждения, но почему-то в кухне, наверное, мать наказала не тревожить гостя. Когда я встал, старшая – девочка поздоровалась и пожелала мне доброго утра. Но почему-то голос ее дрожал, а в глазах застыл испуг. Может, плохо спала. Хозяина не было. Хозяйка поставила на стол чайник, кружки, я нарезал хлеб, наколол сахар. Мы позавтракали. Я поблагодарил гостеприимных людей. Дети и мать поблагодарили гостя. Хозяйка проводила меня до порога поклонилась и вдруг, изменившись в лице, боязливо, тревожно зашептала:

– Пан офицер, пан офицер...

– Что такое? – удивился я.

– Ох, счастлив ваш Бог... Послушайте. Тильки поклянитесь – никому ни слова.

– Хорошо, – усмехнулся я. – Клянусь.

А сам подумал: ну что тут могло случиться? Пустяк какой-нибудь. Но оказалось, не пустяк. Торопливо, глотая слова, она рассказала, что ночью приходили люди из леса.

– Какие люди? – спросил я, понимая, конечно, что то могли быть бандеровцы, немцы, просто бандиты...

– Плохие люди. Счастлив ваш Бог.

Я замер, испытав не раз изведенное на войне чувство запоздалого страха. Опасность миновала, а оно возьмет и накатит. Я вопросительно поглядел на хозяйку:

– Что же?

Она не сразу ответила:

– Они... Они хотели зарезать вас... Во сне... Таким штыком-ножом...

Да, не надо обладать богатым воображением, чтобы представить себе вооруженных людей, вышедших из леса, которые зачем-то вошли в дом... Может, они даже чем-то были связаны с хозяином. И эти плохие люди, как сказала женщина, увидели безмятежно спящего русского, советского офицера. Стрелять им было не расчет: шум, рядом станция, охрана... А вот полоснуть ножом по горлу или вонзить его в сердце – в самый раз. Даром, что повоевавший, обстрелянный, я содрогнулся и схватился за кобуру. Странно, мой ТТ был на месте. Стараясь быть спокойным, спросил:

– Что же помешало им? Или – кто?

– Чоловик мой. Муж.

Это уж было вовсе непонятно. Если он связан с этими людьми из леса, то зачем ему было защищать меня. Если нет – он страшно рисковал. Да и каким образом можно остановить бандитов, занесших нож?

– Пан офицер. Муж сказал им, что вы дали нашим детям и нам чай, сахар и белый ... белый хлеб...

– Что – только это он и сказал?

- Да, только это.
- И все?
- И все, пан-товарищ.
- Что же сделали эти люди?
- Ушли.
- А мой чемодан, оружие, почему они не взяли их?
- Не схотели.

Кто муж, кто она? Кто эти лесные люди, пытавшиеся меня убить, но отказавшиеся от своего замысла лишь потому, что поделился хлебом и сахаром? Плохие люди? А может, не совсем плохие?

## Как я покушался на Сталина

Рота спешила, машины оставили на обочине дороги и замаскировали. А мы – около сотни красноармейцев, четверо взводных, старшина и я, девятнадцатилетний командир роты в необмывшейся шинели, с «кубарями», вырезанными из консервной банки, – строем втянулись в лес. С неделю назад мы получили новое оружие и сутки очищали его от заводской смазки под недреманным оком полкового особиста. То были пулеметы ДШК (Дегтярев, Шпагин, крупнокалиберный). Мне они представлялись неодолимой силой, способной без промаха поражать наземные и воздушные цели. Вороненые стволы в ребристых кольцах, патроны, точно маленькие снаряды, стальные щиты: ни дать ни взять – легкие орудия. Правда, тащить их на плечах и загорбках оказалось тяжеленько.

Походный строй двинулся по лесной дороге. И лишь прошагал с полчаса, как изменились лица моих подчиненных: в казарме-то были совсем другие люди. Наше временное жилье находилось в недостроенном доме. Когда полстолетия спустя проезжаю станцию Сетунь, давно вошедшую в границы Москвы, то вижу это постаревшее здание. Его нижний этаж предназначался для магазина, но в срок втором году в нем на скорую руку устроили казарму: сколотили двухъярусные нары, фанерой огородили глухие уголки, назвав их канцеляриями и каптерками. В помещении было тускло и душно,



и солдатские лица там были скучны, угрюмы. Но, боже мой, как же быстро посвежели, зарумянились, повеселели они в лесу!

Рота вышла на развилку. Лесную дорогу пересекала широкая, утоптанная тропа. Строй остановился. Я объявил привал. Меня одолевали сомнения. Единственная в полку топокарта этого района была у начальника штаба, по ней он и ставил задачу:

– Следите по карте и срисовывайте, – начштаба, полнокровный, грузноватый капитан, повел карандашным жалом по извилистым линиям. – Вот шоссе... Тут поворот в лес...

Я торопливо зарисовывал маршрут. Мне мешал сосредоточиться Аксютич, командир первого взвода. Он подавлял меня громоздкостью. Все в нем было чрезмерно: рост, плечи, ноги, нос... Он нависал надо мной, и я плохо понял маршрут. И вот в лесу испытал неуверенность: куда же поворачивать? Признаться в этом не посмел и решительно приказал повернуть налево.

– Н-но, товарищ лейтенант, идти следует в противоположном направлении, – возразил Аксютич.

– Влево!

– Как ротный сказал, так и будет, – поддержал меня старшина.

Марш продолжался, были еще два-три поворота, и я не задумываясь указывал путь. Так мы и продвигались, пока не вышли на просторную поляну с пожелтевшей стерней. Здесь было привольно и тихо.

– Как для ротного ученья? – спросил я старшину.

– На ять! – ответил он и поднял большой палец. ...И началось.

Над поляной загремели голоса:

– Ориентир номер три – группа бомбардировщиков!

– Ориентир номер два – до роты пехоты противника!

– По самолетам...

– По пехоте...

– Огонь!

– Огонь!

Конечно, никаких выстрелов не было, но буйная разноголосица накрыла поляну. В пылу бескровного сражения новоиспеченные командиры путались, то и дело кто-то из сержантов, указывая в

небо, кричал: «По пулемету!», а когда целили во вражеское орудие, то возглашал: «По самолету!».

– Огонь! Огонь!

Я стоял у первого взвода, когда подбежал старшина:

– Поглядите, товарищ лейтенант...

На краю поляны среди пожелтевшего густого кустарника стоял незнакомый высокого роста командир. Появление его было странным, и вид необычным. Отлично пошитая командирская шинель из мягкого довоенного сукна плотно облегла ладно сбитую фигуру. Фуражка щегольская, с крутым блестящим козырьком и черным бархатным околышем. Хромовые сапоги начищены до зеркального блеска. Как только не запылил на проселочной дороге! Даже наш командир полка не был так богато экипирован... Что такое? Я не сразу понял его жест. Он шевелил ладонью, похоже, манил меня к себе. Точно – подманивал, дескать, иди, иди сюда... Ну, уж это чересчур! Под моим началом почти сотня бойцов и командиров... Оскорбительно это! Я почувствовал, что краснею.

– Надо идти, товарищ лейтенант, – громко шепнул старшина.

– Надо. Он же майор.

В петлицах командира пунцово светились по две шпалы, не чета моим жестяным «кубарям». Между тем пулеметные расчеты еще воевали: «Огонь! Огонь!». По мере того, как я медленно, сохраняя достоинство, приближался к незваному гостю, шум стихал. Лишь Аксютич командовал вдохновенно:

– По огневой точке противника... Дистанция восемьсот... Прицел...

Я на ходу обернулся: четыре вороненых ствола смотрели на богато экипированного командира. Отдал ему честь, вежливо, но не подобострастно, как наставляли в училище. Однако моя выправка не произвела на него впечатления; он спросил:

– Ты кто такой?

«Почему на «ты», мы же не пили с ним на брудершафт?» – хотелось повторить фразу элегантного капитана Свечина, учившего нас строевой подготовке. Но что-то остановило. Может, то, что за спиной майора, прикрываясь стволами деревьев, стояли бойцы и держали автоматы на изготовку. Автоматы! Такое оружие я в руках

не держал, в нашем училище военного времени довольствовались трехлинейками времен первой мировой войны.

– Ну, кто ты такой?

Лучший ответ на грубость, учил нас Свечин, – вежливость.

– Командир роты крупнокалиберных пулеметов лейтенант Романовский.

– Вижу, что пулеметной. А откуда?

Не мог же я неизвестно кому назвать номер полка. Быстро смекнул, что нам сообщили номер полевой почты нашей части, которая будет на фронте.

– Полевая почта номер...

– Ишь, какой секретный! А что тут делаешь?

Вежливость и только вежливость!

– Товарищ майор, рота проводит тактические учения с элементами огневой подготовки.

– Элементы, значит, огневой. Ну, ну... А калибр какой твоих пулеметов?

– Калибр...

Нет уж, данные нового оружия называть не буду, не буду и все.

– Чего молчишь?

От обиды и волнения не сразу разглядел его лицо, а теперь, рассмотрев, как-то успокоился. Наверное, и к грубости привыкают. В лице его была уверенность, сила – широкие скулы, крепкий подбородок. По нему разливалась давняя, укоренившаяся усталость. Вот и под глазами черные полукружья...

– Ладно, сам вижу. А на какое расстояние бьют? Метров на тысячу?

– Больше.

– Какую броню пробивают?

– Легкий танк, бронетранспортер.

– Боеприпасы с собой?

– Не выдавали, – значит, нет.

– Могли и сами прихватить. Проверял? – Глаза его сузились и скользнули по лицам бойцов. – У командиров личное оружие заряжено?

Я опять почувствовал, что краснею. Пистолетов нам еще не выда-

вали. Только у командира полка был ТТ да у начфина старый наган.

– Нету у нас ни пистолетов, ни наганов, ничего нету! – вдруг зло крикнул лейтенант Аксютич. – Хочешь, проверь! – и стал расстегивать кобуру. – У меня там черняшки ломоть...

Майор не обратил внимания на вызывающее лейтенантское «ты» и черняшку, а подошел ко мне вплотную. За ним, точно привязанные, шагнули автоматчики. Теперь мы стояли лицом к лицу, я отчетливо видел покрасневшие белки его глаз. Толстые губы зашевелились, и я услышал отчетливое:

– Ты вот что... – Уходи, уходи отсюда, лейтенант. Сейчас же уводи всех.

Меня словно сковала эта неожиданная речь, особо доверительный тон ее. Я медлил.

– Ну! – сказал он грозно. – Иди, лейтенант, иди-и-и...

Уразумел ли я до конца значение этих слов? Вряд ли. Скорее ощутил их силу и необходимость. Кажется, механически кивнул головой. Из памяти вдруг выскочили все команды. Пока я собирался с мыслями, решение принял старшина. Зазвенел его голос:

– Рота! Разобрать оружие. В колонну становись!

Топот ног. Тихие голоса. И еще в затылок брошенные мне слова майора:

– Быстреей уходи, лейтенант, уходи!

Какими же родными показались мне казарма и жалкая клетушка ротной канцелярии. Присев на патронный ящик, я задумался. Что же, собственно, произошло? Меня обидели, оскорбили перед подчиненными, со мной, командиром роты, обошлись как с мальчишкой, и я не смог достойно ответить. А ведь с этими людьми, свидетелями моего унижения, мне скоро придется воевать... Да, но ведь этот майор был не только груб, но... как будто заботлив. Разве он не желал мне добра: «Иди, лейтенант, иди»? Вот и пойми...

Я не успел додумать, как в мою клетушку вошли старшина и Аксютич. Старшина сказал непривычно торжественно, обращаясь ко мне по должности:

– Товарищ командир роты, вы сходите к начштаба и доложите.

Наверное, ему хотелось подчеркнуть мое служебное положение, ведь в роте пять лейтенантов и только один из них ротный.

– Борис Петрович, – поддержал его Аксютич, вам непременно надо объясниться. Так будет лучше.

Они тоже учили меня и желали добра. Конечно, надо идти докладывать. Начальник штаба взглянул на часы и поморщился:

– Что-то вы быстро отстрелялись, Романовский, переутомились, видать?

– Нет, так уж получилось...

– Как это «получилось»? Ну те-ка, докладывайте.

Тщательно подбирая слова, стараясь не вдаваться в подробности, я рассказал, как было дело. И хотя даже не намекнул на грубость незнакомого командира, начштаба почувствовал мою обиду:

– Он что... грубо говорил?

– Д-да...

Капитан подумал минуту-другую, повернулся к сейфу и достал топокарту.

– Ну те-ка, покажите, где это случилось.

Дрожащим пальцем повел я по извилинам шоссе, лесной дороги и остановился на развилке. И тотчас ужаснулся: перепутал, конечно же, перепутал. Аксютич был прав. Как-то похолодело в животе.

– В-вот сюда и дальше... Здесь эт-та поляна.

– Так. В трех соснах заблудились. Там только вас и ждали, да-а... – Лицо начштаба пошло белыми пятнами. – Черти вас туда понесли. Так, та-ак... Значит, говорите, что из лесу вышел майор? Уверены, именно майор?

– Так точно, по две шпалы в петлицах.

– Н-да, у некоторых старших лейтенантов тоже бывает по две шпалы.

Тут я ничего не понял: у кого и зачем бывают чужие знаки отличия. Может, то был самозванец?

– Вы выйдите и подождите в коридоре, – строго приказал начштаба. – Скоро придет командир полка, разберется. Между прочим, у него тоже две шпалы. Но он-то точно майор. Ждите.

Ничего хорошего ожидание мне не сулило. Ясно, что завел роту к черту на рога, нарвался на какой-то закрытый объект, к которому и приближаться не следовало. Уж, конечно, ротным командиром

мне не быть, да и взводным, поди, не быть... Как пить дать. Да и бог с ним, какой я еще ротный... Тут в голову влетела фраза, услышанная на вокзале от хмельного лейтенанта-фронтовика: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Бодрился, но бодрость не приходила.

– Вы кого-то ждете? – спросил подошедший командир полка.

– Вас, товарищ майор.

– Заходите.

– Ну вот и доложите лично комполка, что с вами произошло, – в голосе начштаба звенел металл, а белые пятна так и не исчезли с его лица.

Я повторил рассказ и показал на топокарте место, где проводил учения. Командир полка и начальник штаба выразительно переглянулись. Я ждал немедленного возмездия. Но оба моих начальника долго молчали, причем в отличие от начштаба командир не изменился в лице, лишь медленно зашагал по комнате. Его взгляд мне перехватить не удалось, но заметил, что в уголках его губ вдруг вспыхнула усмешка. Точно такая у него была с неделю назад, когда я проводил перед ним ротный строй, конечно же, шаткий и валкий, а сам изо всех сил выпячивал грудь и печатал шаг. Ну как тут не улыбнешься!

– Этот майор спросил, из какой вы части?

– Да, но я назвал только полевую почту.

– Ну, удружил. Найти – раз плюнуть. А вашу фамилию?

– Нет.

– Так вот он и сказал: «Иди, лейтенант!»

– Точно так.

– Надо бы сообщить обо всем уполномоченному особого отдела, – предложил начальник штаба.

– Н-нет, не надо. Как-нибудь обойдется, – ответил майор. – Подождем. А вы что, – обратился он ко мне, – к наказанию готовитесь? Небось, прикинули: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут? Конечно, прикинули. Так вот, могут вам дать куда как поменьше взвода и послать значительно дальше. Ясно? Ах, да нет, наверное, не ясно, – и повернулся к начштаба.

– Подождем, начальник штаба, рискнем. Подождем!

Ждать пришлось не так уж долго, недели три, и все это время нервы у меня были как натянутые струны: вот-вот что-то свалится. Но сыграли «отбой-поход», погрузились в эшелоны и, к величайшей моей радости покатали на фронт. И все-таки некоторое время одолевало меня беспокойство, но в боях явились другие тревоги и опасности. До старого ли было? Полк поредел. Командир полка и начальник штаба погибли от одной бомбы под Понырями. Аксютича срезала пулеметная очередь под Севском. Конечно же, со временем я узнал, какие именно старшие лейтенанты носят знаки отличия на два ранга выше, видимо, для пущего авторитета.

Возможные же последствия того шумного учения на подмосковной поляне я отчетливо представил себе лишь много лет спустя. Тогда в газетах, журналах, на телевидении появились подробности о жизни и быте Сталина. Рассказали народу о его так называемой Ближней даче, где он провел тяжкие дни после вторжения и стремительного наступления немцев и потом еще жил подолгу, тщательно оберегаемый неусыпной охраной. Вот куда занесло меня, желторотого птенца-лейтенанта.

Как и многие фронтовики, я нередко испытывал страх, который сковывал сердце, когда опасность уже миновала. Но самый большой и грозный запоздалый ужас я испытал через годы и годы, поняв, какие последствия могло принести то шумное учение под боком у Ближней. Шутка сказать, шестнадцать вороненых стволов глядели на тайное жилище Верховного Главнокомандующего, Председателя Государственного Комитета Обороны, Великого вождя народов! Стоило тому чекистскому майору доложить куда следует, вероятно, к своей немалой выгоде, и покатился бы я туда, куда Макар телят не гонял, а скорее бы обратился в лагерную пыль. А вот недоложил... Промолчал.

«Иди, лейтенант, иди-и!» – эти слова и посейчас звучат во мне...

## Присяга

Присяга стране, –  
Я клянусь перед строем,  
Что в священной войне  
Буду только героем.

Буду званьем бойца  
Дорожить и гордиться,  
За страну до конца  
Буду доблестно биться.

Я исполню приказ –  
Бить без страха фашистов.  
Будет зорок мой глаз,  
Будет меток мой выстрел.

Я иду на войну  
Драться, сил не жалея,  
За родную страну,  
Что всех стран мне милее.

Если ж клятву свою  
Я нарушить посмею,  
Если дрогну в бою,  
Если жизнь пожалею,

Если, шкуру храня,  
Подло струшу в атаке,



Перед строем меня  
Пусть убьют, как собаку.  
Потому, что лишь тот  
Жить на свете достоин,  
Кто на битву идет,  
Как решительный воин.  
Кто страну не предаст  
Для огня и разбоя,  
Кто врагу не отдаст  
И травинки без боя.  
Я боец – я не трус,  
В сердце гнев и отвага.  
Перед строем клянусь:  
Я исполню присягу.

## В бой за свои права!

Нынешний год и суров, и строг –  
Разгар страды боевой.  
Еще уцепился за наш порог  
Разбойник кровавой рукой.  
Еще он топчет наши луга,  
Сжигает людей живьем.  
Живуче поганое сердце врага,  
Но мы его все же добьем.  
Воин народа! Смело вперед!  
Мести настала пора.  
Люд угнетенный томится и ждет  
На той стороне Днепра.  
Не хочет немец уйти из траншей  
С нашей священной земли.  
К земле его, подлого, пулей пришей,

Штыком его приколи!  
Сквозь горы сраженных немецких тел  
На Запад прокладывай путь.  
Громи изувера за то, что посмел  
На счастье твое посягнуть.  
Почувствует только тогда бандит,  
Сколь яростна месть твоя,  
Когда его собственный дом сгорит,  
В дыму задохнется семья.  
Живуч и опасен змеиный род,  
Пока его сила жива.  
Смело и храбро иди вперед  
В бой за свои права!

## Александр САВЧУК

### Большое сердце

Лейтенант Сухов лежал в ложине, раненный в обе ноги. У реки заканчивался бой. Немцы были разбиты, но их мелкие группы все еще сопротивлялись, пытаясь закрепиться на крутом берегу. Рядом, под деревьями, тихо журчал ручей. Прозрачная вода его серебрилась, горела на солнце.

Было убаюкивающе скучно слушать однотонную музыку ручья. Сухов напряженно прислушивался к тому, как там, у берегов большой реки, еще перекликались пулеметы. В бездонной прозрачной голубизне неба изредка пролетали стремительные силуэты немецких самолетов, и тогда земля качалась и вздрагивала от взрывов.

Сухов лежал уже несколько часов и чувствовал, как слабость все больше и больше сковывала его тело. Ему хотелось пить, сухая спазма давила горло. Жажда была так велика и мучительна, что он закрывал глаза, чтобы не видеть, как течет и серебрится у его ног вода. Он хотел только одного – как можно скорее уснуть и забыть боль. Но сна не было. Оставалось смотреть, как падали и кружились в воздухе пожелтевшие листья берез. От этого однообразия и однотонного журчания ручья у Сухова закружилась голова, и он закрыл глаза.

Послышался шорох. Лейтенант приоткрыл глаза и приподнял голову. К нему приближался солдат. Это был боец третьей роты Юлдаш Джабаев, с которым он до этого встречался всего несколько раз. Раздвигая руками ветки, Джабаев шел медленно, осторожной походкой, точно у него болели ноги. Он часто останавливался, оглядываясь по сторонам, и Сухов не мог понять, куда и зачем идет он.

– Джабаев, родной! – радостно крикнул Сухов

Солдат вздрогнул, задержался у куста.

– Товарищ лейтенант! – шевельнулись сухие, обветренные губы Джабаева, и в узеньких карих глазах казаха вспыхнули боль и сострадание.

– Два нога ранила... два нога... ой, ой, – простонал он.

– Воды, Джабаев! – хрипло попросил Сухов.

– Сейчас будет вода, холодный вода, – ответил Юлдаш и так же медленно и осторожно пошел к ручью.

Сухов пил долго и жадно, отдыхал и снова пил. Джабаев надел на голову мокрую пилотку, вытащил из-за пазухи два бинта, сел возле Сухова и перевязал ему ноги.

– Ой, ой! Кость нету, ходить нету! Ой, ой!

– Как же мы доберемся до медпункта? – превозмогая боль, растерянно спросил Сухов.

Но Юлдаш только слегка улыбнулся:

– Ничего, ничего! Мой понесет на медпункт, доктору понесет.

И он нагнулся, взвалил Сухова на спину, перешел ручей и зашагал по полю. Он шел по рыхлой, заросшей полынью и чертополохом земле, изредка останавливался, проверяя, удобно ли Сухову. На плечах взмокла рубаха, шинель путалась между ногами, и даже пилотка казалась тяжелой и лишней на голове.

Сухов почувствовал, как медленно шагал Джабаев, как он спотыкался и тяжело дышал.

– Довольно! Не надо, Юлдаш, ты устал... Я не могу больше, ты понимаешь! – уговаривал Сухов.

– Ничего, товарищ командир, – отвечал ему Джабаев и упрямо шел вперед.

Подул теплый степной ветер, но горячее, раскаленное добела солнце жгло нестерпимо. Сухов ощутил боль и усталость во всем теле.

– Джабаев, милый, я больше не могу! – наконец произнес он.

Юлдаш почувствовал, как на шее слабнут руки Сухова. Он опустился вместе с ним на землю и заулыбался какой-то виноватой улыбкой.

– Ой, беда, вода нету! Ой, ой! Как будет! Вода нету! Джабаев покачал головой, затем поднялся и опять той же медлительной и усталой походкой пошел кустами на поиски воды. «Какой чудесный парень», – с нежностью и чувством глубокого уважения подумал Сухов.

Юлдаш вернулся, бережно неся в консервной банке воду, прихрамывая и кривясь от боли.

– У тебя нога болит, товарищ Джабаев? – спросил Сухов.

Юлдаш снова приветливо заулыбался и, протягивая банку, сказал:

– Пустяки, товарищ командир.

А потом снова взвалил его на спину и, тяжело сгибаясь и задыхаясь, пошел по полю.

Так шел он еще около часа. Издалека доносилась канонада и завывание вражеских самолетов. Затем из-за кустов вырвался «мессершмитт» и, сверкая крыльями, пошел на восток.

– Пролетел, коршун, – сказал Сухов.

Но самолет накренился набок, сделал круг, снизился и пошел обратно на бреющем полете. Сухов видел, как по земле, точно большая распростертая птица, навстречу ему летела тень.

– На нас! Оставь меня, прячься, Юлдаш! – приказал Сухов, и острая, щемящая тревога за этого человека охватила его.

А самолет завывал уже совсем близко. Сухов отчетливо различал летчика, видел его лицо. Застрочил пулемет, и пули с шумом вошли в землю.

– Джабаев, спасайся! – закричал Сухов.

Юлдаш не испугался и не бросил его. Бережно, как кладут грудного ребенка, он положил Сухова на землю и закрыл своим телом.

– Что ты делаешь, сумасшедший! – рассердился Сухов.

В ответ Джабаев неизменно улыбался и твердил:

– Ничего, ничего! Живая, товарищ Сухов, живая, командир!

Пули ложились впереди, сзади, по бокам, и серые струйки земли то и дело взлетали возле них. Когда немец улетел, Джабаев поднял Сухова и пошел, теперь уже вдоль свежей, раскатанной артиллерией, дороги.

Сухов мучился, страдал от боли и от сознания, что причиняет столько хлопот Джабаеву. А солнце уже поблекло, небо потемнело, окрасилось тончайшими отблесками вечерней зари. Густая серая пыль клубилась вдоль дороги.

– Я больше не могу, Юлдаш, оставь меня и иди на пункт, к доктору, скажи, что я здесь, – сердито простонал Сухов.

– Немножко... еще немножко... совсем близко, – сказал Джабаев, приостановился и указал пальцем туда, где на фоне выжженных летним зноем кустов вырисовывалась небольшая возвышенность, возле которой стояли бойцы.

– Помогите! – что было силы крикнул Сухов, но его никто не услышал.

– Сейчас, еще немножко, товарищ командир, – успокаивал его Джабаев.

Но Сухов чувствовал, что с каждым шагом боец двигался все медленнее, а ноги его спотыкались и подкашивались.

– Не донесешь, милый мой товарищ, – с отчаянием вскрикнул Сухов.

– Ничего... Донесет Юлдаш Джабаев, обязательно донесет.

И донес его к блиндажу, бережно положил на землю, а когда к ним подошли бойцы и командиры, бледный, со смертельной усталостью в глубоко запавших лихорадочных глазах, сказал:

– Одеяло, подушка командир надо. Скорей. Очень большая, два ноги нету.

Кто-то сбегал за одеялом и подушкой. Джабаев заботливо, постелил одеяло, приподнял и перетащил Сухова на постель, вытер со своего лица пот и, закрыв глаза, лег рядом с ним.

Он лежал несколько минут спокойный и торжественный, а когда лейтенант окликнул его, не ответил.

– Юлдаш, дорогой, ты спишь? – тормоша его за плечо, спросил Сухов.

Но и на этот раз Джабаев не ответил ему.

– Умер, – сказал только что подошедший врач.

Он сразу заметил мертвенную синеву на лице Джабаева и его остекленевшие глаза.

– Умер? Как умер? – с ужасом в голосе спросил Сухов.

Врач не ответил. Он нагнулся над Джабаевым, пощупал пульс, расстегнул шинель и, заметив на гимнастерке запекшуюся кровь, отвернул ее, и все увидели несколько осколочных ран в животе Джабаева.

– И он так... нес вас? – с удивлением спросил врач.

– Да, так и нес... Всю дорогу. Но я... я не знал, доктор.

И вдруг стало тихо, тихо, как в поздний час ночи. Врач снял с головы пилотку, и все остальные сняли тоже. Сухов приподнялся на руках и с мучительной болью в голосе и со слезами на глазах произнес:

– Какое большое сердце было у тебя, Юлдаш Джабаев.

# Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

\* \* \*

А Родина –  
не во поле березы,  
Не тощая картошка в чугулке,  
Не первые признания и слезы,  
Не домик детства на Миасс-реке.

Не благоприобретенный средь буден  
Тот клин земли, где благодать и тишь,  
А пядь земли,  
что заслонил ты грудью  
И, если надо,  
снова заслонишь!

И там, за ней, –  
и во поле березы,  
И тощая картошка в чугулке,  
И первые признания и слезы,  
И домик детства на Миасс-реке.

## Ног Ельней

А ты кричал под бомбой: «Мама!» -  
Когда метнулась смерть в глаза?  
Когда огнем прицельным  
«рама»  
Тебя отбросила назад –  
На дно  
чуть вырытой траншейки?

А пули метили в висок.  
Уже прошили телогрейку,  
И ты –  
                                впечатался в песок...  
Я не стыжусь,  
                                что грыз я землю –  
Я из траншеи встал опять!  
Не раз я слышал там,  
                                под Ельней:  
«Солдатом стать –  
                                высотку взять».  
Никто там не был исключением...  
Когда идешь в свой первый бой,  
Сначала выдержи сражение –  
Не с кем-то там –  
                                с самим собой!  
И у меня –  
                                нет глубже шрама,  
Чем та траншейка у бугра...  
Сначала шепчут слово  
                                «Мама»,  
Потом уже кричат:  
                                «Ура!»

## Берлинский этюд

Пыль еще клубилась над Берлином,  
Под лучами яркими дробясь...  
А солдат, усевшись на руины,  
Развернул кисет не торопясь.  
И, взмахнув кресалом,  
                                как-то браво  
Чиркнул им,  
                                как будто отрубил!  
Прошагав все битвы и державы,



Мирную сигарку закурил.  
И, блеснув медалью «За отвагу»,  
Самодельный ножичек извлек:  
Из древка поверженного флага  
Мастерил на память  
мундштучок.

## Баллада о живом аэродроме

1

Война  
    гремит в огне атак  
И сосны валит наземь.  
И у самой Земли  
    никак  
Не попадет зуб на зуб.  
Ее пронизывает дрожь  
От залповых истерик,  
Здесь «пяточок»,  
    как острый нож,  
Во вражий впился берег.  
И мал еще,  
    а целый фронт  
Согнул в дугу крутую,  
И потому огневорот  
На «пяточке» бушует.  
И глухо  
    из реки фугас  
Взметает тонны ила...  
«К шести ноль-ноль, –  
    пришел приказ, –  
Принять двенадцать «Илов».

Земля –  
        без отдыха, без сна.  
На ней роса,  
        как пот.  
По ось загрузла здесь война  
Среди глухих болот.  
Тут шаг один –  
        и утонул,  
Не выдержит и гать.  
И кто-то бога вспомянул:  
– Ну как же тут  
        принять...  
А рядом смертный бой гремел.  
Все громче минный гул,  
И командир –  
        с плеча шинель –  
Проворно в топь шагнул:  
– А ну-ка, кто там  
        впал в тоску?!  
Клади сплошной настил! –  
Железа припустил к баску:  
– Да не жалейте сил!  
И первый хлыст во всю длину  
На топь с размаху лег,  
И заглушил на миг войну  
Лопаток говорок.  
И рыжий торф кровоточил  
Под лезвием лопат,  
И топоры в сырой ночи  
Заговорили в лад.  
Все молча, молча...  
На войне  
Молчанье – тоже бой.  
И тем плотнее на спине  
Спекалась в корку соль.

Сжигали ночь прожектора,  
А у солдат – одно:  
Успеть бы только  
до утра!

А там –  
уж что дано...  
Лежит готовой полоса.  
Устало бьет капель.  
А за рекою небеса  
Сереют, как шинель.  
Восток едва-едва светил  
От зоревых подпалин.  
Упав на вымокший настил,  
Бойцы вповалку спали...

3

А сон –  
какой он на войне!  
Спасибо, прикорнул...  
А где-то в черной вышине  
Бродил железный гул.  
И верно, где-то самолет.  
Сна – ни в одном глазу!  
И вот – две точки – в разворот  
Пошли на полосу.  
О, как восторженно глядит  
Солдат!.. А сверху вниз,  
Вспоров,  
как лезвием,  
зенит,  
Ударил острый визг!  
И сразу – зарево и гром.  
Кругом огня столбы!  
Легли воронки с двух сторон,  
Как черные гробы.

Настил взметнулся и просел,  
И тихо простонал.  
И на готовой полосе  
Зиял в дыму провал.  
Опять чернела топь кругом,  
Минуты сердце жгли...  
А «юнкерсь»,  
Качнув крылом,  
На бреющем ушли.

4

Ушли...  
Разбойная война  
Свое сполна взяла.  
Молчат солдаты – тишина  
И губы запекла.  
И, опаленная, молчит  
Вся в почечках лоза,  
И каждой почечкой глядит  
В солдатские глаза.  
За все порухи на земле  
С тебя, солдат, ответ...  
Звездой красной на крыле  
Уже летит рассвет.  
Двенадцать крыл зарю несут,  
Буравя ночь винтом,  
За»Илом» →»Ил»...  
А что внизу –  
Не ведают о том.  
А что там думает стройбат –  
Не знают в небесах...  
И гул тревожный,  
Как набат,  
Ударил по сердцам!  
Когда ж пошел крылатый строй

В последний разворот,  
Комбат скомандовал:  
– За мной! –  
И сам шагнул вперед.  
И, уходя по пояс в грязь,  
Стройбат в провал ступил.  
И поднял враз,  
Приноровясь,  
На плечи свой пастил!  
И все –  
И выполнен приказ:  
Готова полоса!  
Уже под первым, в самый раз,  
Пошли хлысты плясать!  
Еще, еще,  
За»Илом» – «Ил»,  
Гремит ударов дробь.  
И только глубже уходил  
Солдат,  
                  как свая,

                                  в топь...

Стоит солдат по грудь в воде,  
С войною на плечах,  
На прямоте,  
На правоте,  
В начале всех начал.

## Ученый скворец

– В разведзвод пришел я из тыла, из запасного батальона, – начал свой рассказ бывалый солдат Тюлькин. – Командир спрашивает: «Воевали?» Никак нет, говорю, не приходилось. «И фашистов не видели?» Видел, товарищ лейтенант, на картинках да в газете. Тут при командире солдаты сидели... Все: «Ха-ха-ха!» – И один другому шепчет: «Вот Тюля, а разведчиком хочет быть». Только командир, спасибо ему, поддержал меня. «Что тут смешного? – сказал. – Ну, не воевал человек, ну, не видал еще врага. Да ведь и вы тоже не сразу гитлеровцев увидали. А что касается фамилии, то тут тоже смешного мало. Вот Трибабунько тоже фамилия не ахти, какая, а разведчик хоть куда!»

Погодите, думаю, я тоже покажу себя.

Но показать себя негде было. Была, как писали в газетах, оперативная пауза. Мы тогда на реке Сбруч стояли. По одну сторону мы, по другую немцы. Стоим друг против друга и побухиваем из пушек да из пулеметов строчим. Время идет медленно. Наш взвод расквартировался в доме одной вдовы. У нее фашисты убили мужа, он партизан был. И был у этой вдовы сынок, Серегой звали. Вот я и познакомился с ним. Он такой дошлый, смелый мальчуган. Сидим как-то вечером, а он спрашивает:

– Можно мне к вам разведчиком поступить?

– Нет, – говорю, – мал ты еще.

А он начинает расспрашивать меня:

– Хорошо у вас на Урале?

– Хорошо, даже прелестно! – отвечаю.

– Птиц у вас там много?

– Много.

– А какие?

– Всякие: утки, гуси, глухари, косачи, рябчики и прочая дичь.

– А голуби есть?

– Есть.

– А скворцы?

– И скворцы есть.

Тут я Сереге рассказал не только про птиц, но и про волков, лис, медведей, коз, сохатых. Про наши огромные, всегда зеленые леса, про уральские реки, горы, города. Вечерами, когда был свободен от службы, я рассказывал Сереге про Урал. И за это он полюбил меня. Подружились мы. Только ребята наши шутили, дескать, нашел себе дружка-приятеля.

Наступила весна. Закапали с крыш светлые капельки, заговорили ручьи, запели птицы, а там, где снег сошел, зазеленела травка, перелетные птицы потянули в наши края. Как-то раз я смотрю: тащит мой Серега из кладовой скворешню. Принес он этот домик в хату и говорит:

– Дяденька Фрол (это меня так зовут), помогите, пожалуйста, скворешню выставить.

Поставили мы птичий домик, а через несколько минут бежит ко мне Серега и кричит:

– Дядя Фрол! Дядя Фрол! Дедушка тоже выставил. Посмотрите-ка!

И правда. Через реку на вражеской стороне в деревушке, что на пригорке, возле белого домика увидел я скворешню на шесте.

– Там мой дед живет, – пояснил Серега. – Он, наверное, заметил мою скворешню и свою поставил.

– Что, – говорю, – небось, к деду хочется?

– Ух, как хочется! – с тоской отвечает Серега.

– Ну, погоди малость. Вот пойдем в наступление, вышибем фашистов из той деревушки, и увидишь ты своего деда, разузнаешь, как он живет.

– Да это, пожалуй, мы и раньше узнаем, – говорит Серега.

– Как это так? – спрашиваю.

– Очень просто, – отвечает Серега. – Вот только бы скорее прилетел мой «ученый» скворец, и все будет в порядке.

Тут, признаться, я сначала ничего не понял. Стал спрашивать Серегу подробнее. А он и говорит:

– А это еще два года назад было. Я тогда у деда жил, мне было

восемь лет. Как-то раз прилетел откуда-то скворчик, и бац на нашу крышу. Дед говорит мне: «Скворушка-то, видать, подбит или больной. Лезь, Сергунчик, на крышу, он там упал». Я скорее на крышу. И правда. Скворец лежит на боку, клюв раскрыл, глаза белой пеленой заволокло, и тяжело дышит. Я взял его – и к деду. Оказалось, что кто-то переломил скворушке лапу и крыло повредил. С неделю я скворушку держал в хате. Лечил, поил, кормил. Потом он летать начал. Я тогда выпустил его на волю, и начал он жить в нашей скворешне. Только, когда открыли окна в хате, скворец нет-нет и прилетит в комнату. Я тогда стал собирать ему червей, наливать воду в блюдечко. А он поест, попрыгает и снова улетит. Прямо ручной стал, привык. Открою створку, начну его манить: «Скворушка, скворушка!», а он и прилетит. А дедушка посоветовал мне такую штуку сделать. Ты, говорит, Сергунчик, унеси его со скворешней домой, к себе. Я унес. И что вы думаете? Ведь то же самое стал делать скворец и у меня дома, что делал у деда. Открою окно, поманю его, и он тут как тут... А дедушка сделал другую такую скворешню, ну, прямо не отличишь от первой. И стал наш скворушка летать то к деду, то ко мне. Я корм запасаю: червей, крошек, зернышек, семечек. И хитрый же: то прилетит и поклюет все у меня, то опять к деду – и там все приготовленное поклюет. Потом начал я посылать со скворушкой почту. Привяжу к лапке бумажку и отпущу. А в этой бумаге напишу деду: «Жди вечером, дедусь, меня в гости». Или еще что-нибудь. Через год скворка снова прилетел. Правда, был сначала диковат, а потом опять привык и так же стал летать от деда к нам, от нас к деду...

– Вот это, Серега, штуку ты мне открыл! – удивился я и задумался насчет того, как этого скворушку приспособить к военному делу.

А наш командир как раз очень уж хотел знать, как живут немцы в той деревне, где дед Сереги находился, что у них есть там в смысле обороны и прочее. Я возьми да и скажи ему насчет скворца. В ту пору скворцы прилетели, и «ученый» скворец Сереги от деда уже весть принес. Я взял да и брякнул командиру: «Могу кое-что проделать насчет разведки той деревни при помощи ученого скворца».

– Как? – спрашивает командир.

– А вот как, товарищ комбат. Скворец ученый есть, который



нам может сослужить службу как связной при разведке. И рассказал комбату весь свой план.

– Хорошо, – говорит, – попробуем, Тюлькин.

Дело в том, что лазить в разведку через линию обороны, да еще через реку – дорогое дело. Потери большие неизбежны. А разведчикам надо разузнать все до тонкости: где у врага огневые точки, где минные поля, много ли сил.

Вот я и предложил такой план: я пробираться к немцам, останавливаюсь у деда Сереги, разузнаю, что полагается, и посылаю донесения со скворцом.

– Ну и Тюлькин! Ну, и чудак же ты, – шутят солдаты, а я только помалкиваю.

Обсудили мы с Серегой насчет его участия. Только я не сказал, конечно, что ночью ухожу к его деду, но договорился, что все записочки, какие Серега будет находить у скворца, пусть мигом передает нашему командиру. На том и порешили.

К деду Сереги я пробрался ночью. Его хата была самая крайняя в деревне, у самой реки Сбруч. Фашистов дед ненавидел. Они его сына, отца Сереги, расстреляли. Ну, рассуждаем с дедом о том о сем, а я ему и говорю:

– Я к вам, папаша, от Красной Армии по служебному делу.

– Все, – говорит, – понимаю. Мы знаем, что за речкой наши, да только не время, видать, вот и не приходят до нас.

В ту же ночь я узнал, что враги имеют у самой речки окопы и ночью и днем там сидят, а когда холодно или дождь, то идут в село: спят, варят кур, гусей, поросят – все, что отберут у сельчан.

Узнал я это, записал на тонкую курительную бумагу, а утром дед заманил скворца, намотал бумагу на ножку, привязал ниточкой, и скворушка улетел. Вечером, когда я вылез из погребка, где скрывался днем, дед подал крохотный клочок бумаги. Там было написано: «Спасибо. Все получено». Тут меня такая радость взяла, что я готов был смеяться и плакать. Ну, опять с дедом за дело. Он кое-что разведал. Я тоже.

– В деревне, – говорит дед, – штук двадцать танков, только стоят они в саду, с километр отсюда будет, там раньше совхоз был. А

за деревней, в овраге, стоят у них минометы и пушки. Овраг тоже недалеко, версты полторы, не больше. – И опять я все записываю.

Вечером получаем вторую бумажку: «Благодарим дедушку». Больше ничего не пишут. А так нам хотелось знать, что там наши думают. И вдруг ночью слышим – советские самолеты летят. Прошло минуты две, не больше, как начали рваться бомбы.

На трети сутки докладываем, что наши самолеты подожгли в саду десять танков, машины с горючим и боеприпасами. И тут же сообщаем опять про овраг. Теперь враг перегнал туда оставшиеся танки.

Когда наши овраг разбомбили, фашисты взбесились. Всех жителей из деревни угнали в тыл и деда тоже.

– Что делать? Как быть?

Я скрывался в селе один-одинешенек. Утром осторожно вылез из ямы, осмотрелся кругом и забрел в избу. Сижу. Окно во двор приоткрыл. И вот вижу, скворушка прилетел. Я и так, я и этак, а он видит меня и не допускает, не признает. Так я и не мог ничего сделать, улетел скворушка с бумажкой, которую наши с ним прислали.

Зло меня гложет, обида берет. И только тут я вспомнил, что на подоконнике ничего не было: ни червей, ни семечек. Начал я искать. Нашел банку, а в ней черви. Я их на окно, а сам опять сижу и жду. Прилетел скворец и давай уничтожать еду. Я кое-как поймал его, говорю: «Скворушка, скворушка!» – а сам бумажку от ножки отвязываю. Руки у меня трясутся, волнуясь. И совсем не заметил, как гитлеровцы в соседний двор забрели. Они птицу искали: уток, гусей, кур. Я поторопился скрыться и свою бумагу-донесение не успел пристроить к ножке скворца. Улетел мой «связной».

Смотрю, а мне приказ: «Разведать место, где можно было бы наиболее безопасно пройти минерам».

Ночью мне удалось все разведать, как о том приказывали, а утром я заранее припас бумагу и жду скворца. С трудом поймал его, отвязал бумагу и привязал свою. Хорошо мне стало, приятно, что задание выполнил. Сразу захотелось спать. Ночь-то целую занимался разведкой. Прочитал я бумагу. А в ней написано: «В чем дело? Почему нет донесения?» Вот, думаю, хороший ответ послан.

На следующий день пришли наши минеры. Трибабунько и еще четверо, да я пошли ставить мины на перекрестке большой дороги, которая идет за оврагами... Когда все сделали и перешли Сбруч, к своим, Трибабунько и говорит мне:

– Утром наше наступление будет. Когда фашисты будут драпать, так их машины полетят на воздух от мин, которые мы поставили. Командир встретил меня ласково, поблагодарил и сказал:

– Сереге за «ученого» скворца командир соединения медаль «За боевые заслуги» выдал, а тебе, Тюлькин, медаль «За отвагу». И деду Сереги тоже медаль «За отвагу».

Вот и все. Потом я заезжал к Сереге и деду, когда ехал с фронта в отпуск. Живут хорошо. Оба медали носят. Встретили меня как родного. Рассказали они мне, что скворец ихний жив и здоров и улетел куда-то в теплые края: дело к зиме было. Но на следующую весну ждут они опять скворушку к себе.

## Галя из санбата

Вечером с передовой пришли машины с первыми ранеными. В просторной хате санбата уже были расставлены носилки, чисто вымыты окна, и в углу на столе, покрытом новой простыней, стоял глиняный кувшин с полевыми цветами. Далеко где-то били пушки, дребезжали стекла, и кувшин покачивался.

Галя торопливо подошла к раненому, чтобы помочь уложить его на носилки, но, взглянув на промокшую, побагровевшую повязку, вдруг побледнела и выбежала из хаты.

Командир нашел сестру за сараем. Она стояла, закрыв лицо руками, прислонясь к перевернутым саням со ржавыми полозьями.

– Что с вами? Неужели крови не видали? – негромко спросил командир.

– Я... нет... этого не будет, – прерывисто, шепотом сказала она, отнимая руки от мокрого лица.

У нее был вздернутый, совсем ребячий нос и длинные пушистые ресницы, в которых блестели слезы. Командир подумал, что такие ресницы бывают только у малышек, и ему захотелось сказать ей что-нибудь ласковое. Но он ушел, ничего не сказав.

А Гале было стыдно возвращаться в хату в этот первый день своей работы в санбате.

Ей казалось, что она никогда не свыкнется с кровью, что она позабыла все, что учила, и не сделает даже самой простой перевязки.

Но ни командир, ни раненый, никто из санбата не напоминал ей об этом случае.

Незаметно Галя привыкла к терпкому запаху крови, к стонам раненых, к бессонным ночам. И вскоре уже не замечала ни тяжести своей стальной каски, ни надрывного рева немецких самолетов, ни завывания бомб, пригибающего все живое к земле.

Не зная усталости, она успевала накормить и напоить всех, прочитать в палате вслух два-три рассказа, написать под диктовку раненых несколько писем на их родину, перевязать раны и вечером замаскировать окна.

Лишь к ночным дежурствам она никак не могла привыкнуть. Не потому, что ей хотелось спать, а потому, что очень уж скучно ночью.

Никогда так близко не видала она людей, никогда не знала о людях так много и никогда так быстро, по-детски не привязывалась ни к кому, как к этим людям, прибывающим в санбат.

И раненые, глядя на ее доверчивые, чуть испуганные глаза, поверяли ей все свои тайны.

Она знала о каждом все: откуда родом, что делал до войны, как зовут жену, детей. Знала, кто ругается во сне, кто сбрасывает с себя одеяло, кто спит по-птичьи, тихо. А когда раненых увозили в тыл, и в санбате на время становилось пусто, Гале было тоскливо, тяжело, будто теряла она близких людей.

В один из таких дней ее послали на передовую.

Она поспешно уложила под каску густые каштановые косы и, перебросив через плечо брезентовую сумку, пахнущую йодом, села в кабину, рядом с шофером.

Они помчались по кривым разбитым дорогам. Шофер насвистывал что-то родное, украинское. Гале хотелось подпевать ему, но ее кидало в стороны, и у нее срывался голос.

Орудийный гром слышался все ближе и ближе. Тупой, отрывистый стук пулеметов напомнил Гале колотушку ночного сторожа.

В невысоком пыльном кустарнике шофер остановил машину. К ним вышла Оля Мищенко, с которой Галя кончала десятилетку и с которой вместе поехала на фронт.

Она была в каске, измазанной глиной (чтоб не блестела), в защитных вылинявших шароварах и больших не по ноге сапогах. На боку у нее из потертой кобуры выглядывала черная рукоятка пистолета.

Галя радостно бросилась к ней навстречу, но Оля рассеянно пожала ей руку.

– Раненых девать некуда. Поле со всех сторон открыто. Надо скорее их отсюда увозить! – сказала она и привычным движением отряхнула пыль с колен.

Во взгляде больших синих глаз подруги, в твердо сомкнутых губах, в скупых движениях Галя заметила что-то новое, чего прежде не видела, – возможно, то была спокойная уверенность, а может, просто усталость. Казалось, Оля стала стройнее, выше.

Вблизи четко бил пулемет, явственно доносились крики бойцов, ухали пушки. От их выстрелов раз за разом вздрагивала земля, и шевелился кустарник.

Галя с трудом удерживала желание спрятаться куда-нибудь, прижаться к земле. А Оля, словно ничего не слышала, не замечала.

Внимательным женским взглядом Галя сразу угадала, что Оле приходится больше ползать, чем ходить; носки ее серых от пыли сапог были содраны, ремень исцарапан, шаровары на коленях покрыты штопками, точно вышивкой.

«И когда она успевает штопать?» – подумала Галя, завидуя и удивляясь спокойствию и бесстрашию подруги.

Вытащить раненого из-под пуль, чтобы кровью не истек, чтобы врагу не достался для пыток, – не ради ли этого она рвалась на фронт?

А что же санбат? Тишина. Вечерний мирный чаек из самовара, неторопливые рассказы, письма.

И никогда не сравнится она с Олей Мищенко, всю войну просидит в тылу, в тихом санбате, а потом вернется домой, и ей не о чем будет даже вспомнить, потому что она ничего не видела, ничего нужного не успела сделать.

Галя с неохотой села в машину, чтобы ехать с ранеными обратно в санбат.

Теперь машина ползла, осторожно перебираясь через канавы, обходя каждую кочку. Шефер всю дорогу насвистывал медленные и просторные запорожские песни, а в глазах его, Гале показалось, блестели слезы.

Эту ночь она не смыкала глаз. Едва дождавшись утра, пошла к командиру, чтобы просить перевода на передовую. Необычное оживление сразу бросилось ей в глаза. В тени деревьев, на узкой не мощеной улочке стояли машины, из хат выносили раненых, грузили ящики с медикаментами. Вчерашний шофер Шевчук с озабоченным видом возился у своей машины.

– Прорвали нашу оборону... – сообщил он Гале.

Галя посмотрела на желтую дорогу, на пустое ровное поле с короткой щетиной стерни, и ей стало страшно при мысли, что немец истопчет это поле, обломает сады, сожжет хаты...

– Ничего, – сказал Шевчук, – наши отходят, чтоб размахнуться ловчее...

В опустевших хатах уже гуляли сквозняки, и ветер стучал ставнями. Раненых увозили в тыл; сизая пыль долго неслась за машинами.

Машины уходили и в другую сторону, на передовую. В этот день Галя дважды ездила на передовую, где работала Оля Мищенко. Во второй раз она отправилась туда уже на закате дня. Шевчук был задумчив, не насвистывал запорожских песен, а озабоченно поглядывал по сторонам.

– Ой, была б у меня разумная голова, – проговорил он после долгого молчания, – я придумал бы машину, такую машину, вроде прожектора. Поставил бы ее на передовой линии – сунься! Эх, накосил бы гансиков, поспевай только собирать их, и в яму сбрасывать, чтоб не смердели. Я бы придумал беспрременно, только голова, вишь, у меня тугодумная...

Средь разговора кто-то дернул Галю за рукав. Она высунулась из окна. Никого не было. Взглянула на локоть и заметила на рукаве маленькую дырочку, пробитую пулей. Шевчук тоже посмотрел на рукав и улыбнулся:

– Счастливая...

Оля Мищенко встретила их у кустарника, молчаливая, встревоженная. Немецкие снаряды уже корчевали кустарник. То тут, то там вздымалось вдруг черное развесистое дерево и тотчас же падало, рассыпалось. Когда раненых уложили в кузов и Шевчук завел машину, Оля Мищенко сказала:

– Смотрите, будьте осторожны. Говорят, они там десант высадили... Она вдруг обняла Галю за плечи, притянула к себе и, ласково и грустно глядя ей в глаза, почти прошептала:

– Галька, Галчонок!...

И так же неожиданно выпустив Галю из своих объятий, побежала на перевязочный пункт. А Галя, опустив руки, смотрела ей вслед, пока Оля не скрылась за кустарником.

– Не бойся, – сказал негромко Шевчук. – Я дорогу знаю. Про-

скочу!

Он успел только это сказать, как замертво ткнулся лицом в руль. Машина съехала в канаву и остановилась.

Из-за леса донесся приглушенный шум машин, лязг танков. Где-то в стороне раздался чей-то крик. Из машины тихо позвали:

– Сестра...

Галя узнала голос пулеметчика, но не откликнулась, боясь, что голос выдаст ее.

– Сбежала, – проговорил пулеметчик и выругался.

– Молодая она совсем – от смерти... – негромко сказал пехотинец. На миг стало тихо. Потом с двух сторон сразу затрещали выстрелы, и эхо повторило их. Галя выскочила из кабины отдернула брезент кузова.

– Я здесь, здесь, товарищи, – проговорила она, стараясь казаться спокойной.

Дрожащими руками она отстегнула с ремня флягу и протянула пулеметчику.

– На, вышей. Небось, пересохло... Все будет хорошо, – пытаюсь улыбнуться, сказала она. – Наши подойдут... конечно, подойдут.

Совсем близко застучал автомат.

– Простимся, что ли? – сказал артиллерист хриплым голосом.

Галя выскочила из кузова, поспешно сняла с Шевчука два туго набитых патронами еще теплых подсумка, потом взяла из машины карабин и прилегла у дуба, шагах в пяти от машины.

Пахло сыростью, пряным ароматом прошлогодних листьев и сосновой хвоей.

Эти запахи вдруг до боли в сердце напомнили родную Санжаровку, лес, такой же густой и старый, походы за грибами с подругами. У черного дуба звенел ключ, девчата становились на колени и пили воду, от которой ныли зубы.

Верхушки деревьев покрылись позолотой, в лесу густели сумерки.

Вблизи зашелестели листья, и меж деревьев тускло блеснула черная каска. Немец показался Гале огромным, страшным, хотя был невелик ростом и худощав.

Галя испугалась, что он услышит, как стучит ее сердце. Она



прижалась к земле и, затаив дыхание, подняла карабин. От выстрела она вздрогнула.

Немец вдруг подпрыгнул и повалился в кусты. В это время на просеку вышли еще двое и двинулись прямо к машине.

Галя вытерла рукавом влажный лоб и, чтобы сдержать дрожь во всем теле, крепче прижала к плечу карабин. Она хотела бить только наверняка и выжидала...

Наступило утро, солнечное, теплое. А в лесу было пасмурно и, как накануне вечером, пахло сыростью, прошлогодними листьями и сосновой хвоей.

На просеке стоял обгоревший остов машины. Невдалеке лежала девушка с карабином в руках. Она, казалось, ползла и лишь на минуту остановилась, чтобы передохнуть.

Лицо ее было обезображено взрывом гранаты. В кармане ее гимнастерки лежало недописанное письмо к матери. Ее нашли бойцы одного из наших подразделений, прочесывавших лес после отхода немцев.

Они молча обнажили головы и несколько долгих секунд стояли над Галей.

## Фронтóвая нóчь

*Сергею Досманову*

Трепещет ночь в зеленом свете.  
Изрытый минами пейзаж.  
Разведчиком проходит ветер  
В разбитый вражеский блиндаж.  
И нити порванные тают  
Ракетной огненной струи.  
К земле плотнее прикипая,  
Лежат товарищи мои.  
У рыжей кручи крутобровой  
Их валуны пока хранят  
От самурайского густого  
Невыносимого огня.  
Сигнала ждем, наполняясь гневом,  
И он взлетел и вмиг погас...  
И зарево встает в полнеба,  
Из тьмы выхватывая нас.  
В ушах звенит окопный ветер,  
А степь зовет – идти, идти!  
И не было у нас на свете  
Вернее этого пути.  
Всю ночь орудья грохотали:  
То со своим родным полком  
Мы за Хинганом наступали,  
В Чанчунь закатывая гром.

Владимир ТУБОЛЕВ

## Одиночный полет

### ПОВЕСТЬ

11 августа 1942 года двухмоторный бомбардировщик № 33 из 127-го авиаполка взлетел с прифронтового аэродрома и взял курс на запад. Экипаж самолета состоял из трех человек. Пилот – капитан Добруш Василь Николаевич, белорус, женат, сорока лет, беспартийный, кадровый военный. Штурман – капитан Назаров Алексей Иванович, русский, женат, тридцати двух лет, член партии, кадровый военный. Стрелок-радист – сержант Кузнецов Сергей Павлович, русский, холост, девятнадцати лет, комсомолец, в армию призван в 1941 году.

Самолет имел две пулеметные установки и нес 900 килограммов бомб. Он миновал линию фронта и прошел над Белоруссией. Люди, сидевшие в нем, обхитрили противника при переходе линии фронта. Они прорвались сквозь расставленные почти по всему маршруту ловушки: аэродромы истребителей, зенитную артиллерию, аэростаты заграждения. Они скрывались в облаках от увязавшихся за ними возле Минска истребителей. Они стороной обошли Сувалки – там их ждали эрликаны. Они пять часов выдерживали нечеловеческое напряжение ночного полета, когда только фосфоресцирующий свет приборов да зеленоватые точки звезд служили им ориентирами, а единственной связью с окружающим миром был гул бомбардировщика, ставший почти осязаемым, и вторглись в воздушное пространство Германии.

#### 1

– Командир, курс двести семьдесят, – раздается в наушниках голос штурмана. Пилот разлепляет губы:

– Понял. Двести семьдесят.

Он едва ощутимо давит кончиками пальцев на штурвал. Само-

лет медленно кренится, потом так же медленно выравнивается и застывает.

– Есть. Взял двести семьдесят.

Пилот сидит так же неподвижно, глядя немигающим взглядом на большую зеленоватую звезду над обрезом кабины. Лицо его холодно и спокойно.

– Штурман, у вас все в порядке?

– Все в порядке, командир.

– Стрелок, у вас все в порядке?

– Как сказать, командир... – отзывается тот. – Я думаю, все в порядке.

– Вы думаете, или у вас на самом деле все в порядке?

Через какое-то время доносится ответ

– За нами идет самолет неизвестной принадлежности.

Летчик сдвигает брови.

– Далеко?

– Четыреста метров.

Голос командира становится жестче:

– Давно он идет за нами?

– Полторы минуты, командир.

– Почему не сообщили мне об этом сразу?

– Я думаю...

– Стрелок, меня не интересует, что вы думаете. Ваша обязанность – немедленно докладывать мне об изменении воздушной обстановки. Вы поняли?

– Так точно, командир. Но обстановка не меняется. Я все время держу его в прицеле. Если он вздумает безобразничать...

– Стрелок, прекратите болтовню, – обрывает его командир. – С таким же успехом и он нас может держать в прицеле. Стрелок обижается.

– Да нет, командир, он идет с огнями, – говорит сержант. – Я подумал, что не стоит вас беспокоить лишний раз. Пока он держится вполне прилично.

Пилот шумно выдыхает, но сдерживается:

– Ладно, – говорит он. – Благодарю за заботу о моем спокойствии. Вы хорошо его видите, стрелок?

– Очень хорошо. Я мог бы срубить его одной очередью. Может, позвольте, командир?

– Нет! Он отстает или догоняет?

Несколько секунд в наушниках стоит тишина. Потом стрелок говорит:

– Он... отстает. Да, отстает, командир. С отворотом на юг.

– Хорошо. Следите за воздухом. И не забывайте докладывать о... прилично ведущих себя объектах.

– Понял, командир. Простите, командир.

– Прощаю, – ворчит пилот. – Штурман, как курс?

– Курс хорош, командир.

...Командир полка полковник Баклыков долго тер ладонью лоб и хмурился. Наконец он поднял глаза на Добруша.

– Садись, Василий Николаевич... – Он подвинул к нему пачку папирос, потом вспомнил, что Добруш курит трубку, и чертыхнулся. – Будь ты все неладно!.. Как ты себя чувствуешь?

Капитан приподнял брови.

– Хорошо.

– Ладно. Вот что. Сегодня ночью наши соседи пойдут на Кенигсберг. Мы посоветовались и решили послать тебя с ними...

Многие уже регулярно совершали налеты на военные объекты Германии. Полк, где служил Добруш, только приступал к ним. Неделю назад на Кенигсберг вместе с соседями ушел первый самолет. Потом еще два. Ни один из них не вернулся.

«Так, – подумал Добруш. – Правда, дело упрощается тем, что идти придется с группой. Но техника...» Новых машин полку еще не дали, хотя и обещали со дня на день.

– Как только мы получим пополнение и новую технику, полк полностью переключится на Берлин, Кенигсберг, Данциг. А без опыта, сам знаешь...

– Ясно, – сказал Добруш. – Разрешите идти готовиться?

– Подожди. – Полковник потер ребром ладони переносье и вздохнул. – Как у тебя штурман и стрелок?

Добруш пожал плечами.

– Для такого полета не годятся.

– Подбери сам штурмана и стрелка и доложи мне, – сказал Баклыков. – Можешь взять из любого экипажа.

– Слушаюсь, товарищ полковник.

– Да брось ты эту официальщину! – поморщился полковник. – Меня зовут Анатолием Андреевичем.

– Спасибо, Анатолий Андреевич.

Полковник усмехнулся:

– Вот так-то лучше... Ах, черт, – воскликнул он в следующее мгновение. – Не хочется мне посылать тебя на это задание. Но мне нужен хороший командир эскадрильи. А с твоим прошлым...

– Не будем об этом, Анатолий Андреевич, – поспешно перебил Добруш. – Это касается только одного меня.

– Меня это касается еще больше, – возразил Баклыков. – Слишком большая роскошь держать тебя на звене, в то время, как у меня нет приличных комэсков. Ну, ладно. Иди. И возвращайся.

– Постараюсь! – козырнул Добруш.

Выйдя наружу, Добруш посмотрел на восток. Было рано, но небо уже высветлилось. По нему плыли темные облака.

«Ветер северный, двадцать метров, – машинально отметил капитан. – Если к ночи не утихнет, снос будет большим, придется экономить горючее».

Он шагал по невысокому березняку. Он был среднего роста, грузный, рыжеватый, с плоским красным лицом и редко мигающими зелеными глазами. Левую щеку его от глаза до мочки уха пересекал безобразный шрам – памятка первого дня войны, когда он поднимал свою эскадрилью из образовавшегося на аэродроме крошева. Тогда он еще был истребителем.

– Василь Николаевич! – окликнули его.

Капитан замедлил шаг, потом повернулся и поднял глаза. Его догоняла маленькая белокурая женщина в гимнастерке и юбке защитного цвета.

– Что же вы это не заходите? – спросила она с упреком, подойдя ближе. – Совсем нас забыли?

Он покачал головой.

– Не в этом дело. Просто...

– Просто... что?

Добруш хотел зайти, но потом передумал. Он знал, что она была бы рада. Она всегда радовалась его приходу и всегда пуга-

лась. Как будто между ними должно было произойти что-то такое, чего уже нельзя поправить. Ее звали Анной. Она работала телефонисткой в штабе.

Иногда ему с ней было хорошо, особенно после возвращения из полета, пока он был полон гулом и грохотом, пока все вокруг качалось и подпрыгивало, и он медленно приходил в себя после той свистопляски, из которой только что вырвался.

Но чаще было плохо. Он всегда мучительно переживал неопределенность. Даже в полетах для него хуже всего было не тогда, когда начинали вспухать дымки зенитных разрывов и по воздуху хлестали, словно плети, пулеметные трассы, а пока небо было мирным и спокойным. Пока все спокойно, никогда не можешь знать, откуда тебя ударят.

В отношениях с этой женщиной все было неопределенно.

Прояви он чуть больше настойчивости, обоим стало бы легче. Наверно, она сопротивлялась бы и после упрекала его. Но у нее было бы утешение, что ей ничего не пришлось решать самой, а он покончил бы со своим прошлым.

Он понимал это. Но все было не так просто. И его прошлое. И ее – которого он не знал, но всегда чувствовал в том напряжении, которое заставляло ее деревенеть, как только он приближался.

Нет, не стоило ворошить все это.

– Почему вы молчите? – спросила она.

В ее голосе прозвучала обида.

– Я был занят, – сказал он.

Она подумала: «Нет». Потом спросила:

– Зачем вас вызывали? Вам лететь?

Ему не хотелось говорить правду, но не хотелось и лгать.

– Нет... – замылся он. – То есть, да. Пустяки.

– Когда?

– Вечером.

– Вечером... – сказала она. – Вон что...

Она вдруг прикусила нижнюю губу и ударила друг о дружку сжатыми кулачками.

– Кенигсберг. Так?

– Да, – неохотно сказал он. – Откуда вы знаете?

– Я только не знала, что это вы. Ох!..

– Что такое с вами? – спросил он, взглянув на нее с беспокойством. – Вам нехорошо?

– Но почему – вы?

Он передернул плечами, потом сказал:

– Кому-то все равно надо, правда? Почему же не мне?

– Потому... потому... А разве вам самому хочется лететь?

– Не знаю. Задание мне не нравится, – признался он неожиданно. – Но ничего не поделаешь. Да и... послушайте, почему вы никогда не одеваетесь как следует? – спросил он с досадой, заметив, что она вся дрожит. – Вы же простудитесь!

Она как-то сразу погасла.

– Да, – проговорила она уныло. – Ничего не поделаешь... Господи, как бы я не хотела, чтобы вы улетали именно сегодня! Нельзя разве отложить?

– Обычно таких вещей не делают, – сказал он. – Да и с какой стати? Ведь это моя работа.

Она зябко передернулась.

– Да, с какой стати... – повторила она. – У меня сегодня день рождения. Я хотела... я думала...

Он склонил голову.

– Поздравляю вас.

– Спасибо. Я...

– Сколько вам?

– Двадцать шесть.

– Вы очень молоды. А я вот уже совсем старик.

– Это не имеет значения, – возразила она.

– Очень даже имеет, – невесело усмехнулся он.

Он подумал, что это имеет даже слишком большое значение, особенно когда к сорока годам выясняется, что ты остался ни с чем. Он так подумал, но ничего не сказал. Это касалось только его одного.

– Ничего вы не понимаете! – воскликнула она, и он с удивлением увидел на ее глазах слезы. – Ничего! Почему вы меня ни разу не поцеловали?

Он смешался. Похлопав руками по карманам, он вытащил трубку, повертел ее в руках и сунул обратно. Потом поднял глаза.



– Серьезный вопрос, – проговорил он наконец. – Так сразу даже и не ответишь.

Он взял ее за плечи и склонился.

– А теперь идите. И одевайтесь впредь как следует, – сказал он сердито.

«Черт те что! Хотел бы я знать, кто из нас больший дурак», – подумал он.

– И перестаньте, пожалуйста, реветь. Совсем это вам ни к чему.

– Хорошо, – сказала она. – Ох! – вырвалось у нее вдруг. – В жизни себе не прощу, если с вами что-нибудь случится... Вы... вы... вернетесь?

– Постараюсь, – буркнул он. – Идите, идите.

Он повернул ее за плечи и подтолкнул на тропинку. Она сделала несколько шагов, потом остановилась и долго глядела вслед, пока он не скрылся за деревьями.

## 2

– Стрелок, как самолет? – спрашивает летчик.

– Отстал, командир. Огней почти не видно.

– Больше ничего подозрительного нет?

– Ничего, командир.

– А у вас, штурман?

– Все в порядке, командир. Через двадцать две минуты – цель.

– Стрелок, вы слышали? – говорит капитан. – Кенигсберг – через двадцать две минуты.

...Капитан спустился в землянку. После гибели своего прежнего экипажа он жил здесь один.

– Черт те что! – проворчал он с раздражением. – Хорошенькая история, ничего не скажешь.

Он прошелся из угла в угол. Здесь было полусумрачно. Возле единственного небольшого окошка стоял грубо сколоченный из сосновых досок стол и рядом две табуретки. Напротив – нары с постелью, застланной байковым одеялом. Из-под нар выглядывал побитый угол чемодана. Возле двери стояла железная печка, вернее, приспособленная под печку бочка из-под бензина.

Сбросив куртку, капитан присел к столу и подвинул к себе планшет. С минуту он смотрел на карту неподвижным взглядом, заставляя себя сосредоточиться.

– Черт те что, – сказал он еще раз, уже потише.

Он потер ладонью лоб. Потом вынул карту из планшета, исправил ее и взял карандаш.

Кружочки, стрелки, ромбики, крестики... Как только над ними раздается гул моторов, они превращаются в косые прожекторные лучи, лес зенитных стволов, аэростатные заграждения, аэродромы истребителей. Они сжимают самолет мертвой хваткой и держат до тех пор, пока он не становится пылающим факелом.

Капитан Добруш знал, что это такое. Даже на том, сравнительно небольшом и спокойном, участке, где полк действовал до сих пор. Но здесь, по крайней мере, всегда было утешение, что через две, три, десять минут все кончится. Не надо иметь богатое воображение, чтобы представить, как пойдут дела, когда самолет заберется в это осиное гнездо на много часов...

Кружочки и ромбики нанесены на карте вдоль линии фронта на глубину максимум в сто километров. А что ждет дальше? Что ждет в самой Германии?

Маленькая женщина, о которой он недавно думал, все больше становилась чем-то далеким и нереальным и, наконец, совсем выпала из сознания. Теперь он думал о противовоздушной обороне, самолете, экипаже, горючем, ветре и облаках.

Но самое главное – машина. До него на Кенигсберг из полка летали три экипажа. Они улетали на исправных машинах, только что полученных с завода. Его машина после недавней передряги, когда он потерял экипаж, стоила немногого. Он вспомнил лица штурмана и стрелка, которым он объявил, что те не пойдут с ним в полет. Оба страшно обиделись.

– Но ведь мы готовы на любое задание, товарищ командир!

Святая наивность. Как будто для выполнения задания не нужно, чтобы машина была не барахлом, а машиной, чтобы пилот умел провести ее сквозь игольное ушко, чтобы штурман сбросил бомбы в считанные секунды и чтобы стрелок мог попасть в комара. А эти едва успели закончить курсы по ускоренной программе...

Он достал трубку и порылся в карманах, но спичек не оказалось. Капитан чертыхнулся и вышел из землянки.

Со стороны стоянки доносился грохот прогреваемых моторов, мимо проезжали грузовики, в кузовах которых тускло поблескивали тела бомб. Между деревьями то там, то здесь мелькали торопливые фигурки механиков.

Метрах в ста под старой березой лежало несколько летчиков. Капитан направился было к ним, но в это время справа показался майор Козлов, командир третьей эскадрильи.

Капитан поморщился. Сейчас ему меньше всего хотелось бы встречаться с Козловым. Он знал, что тот его терпеть не может, хотя и не понимал, чем он ему досадил.

– Ты выглядишь молодцом, – проговорил майор, подходя. – Ну, как? Говорят, ты сегодня летишь на Кенигсберг?

Капитан приподнял брови. До сих пор о таких полетах в полку не говорили. О них узнавали лишь после того, как экипажи не возвращались.

– Кто это говорит? – спросил он.

– Ну, мало ли... – Майор засмеялся. – Чертовски сложное задание.

– Гм... – сказал капитан неопределенно.

– Мне бы оно не понравилось. Но ведь ты у нас герой...

Капитан взглянул на майора и пожал плечами. «Жаль, подумал он. – Жаль, что он так злится».

– Только знаешь что? – проговорил тот. – Не злоупотребляй перед такими полетами женщинами. Это вредно отражается на здоровье.

Капитан знал – на войне нервное перенапряжение, усталость, раздражение иногда прорываются самым неожиданным и странным образом. Ему приходилось видеть, как мужчины плакали, катались по полу или становились агрессивными и искали ссоры.

– Я пока на здоровье не жалуясь, – сдержанно проговорил он. Козлов шагнул к нему и схватил за локоть.

– Ну, вот что, – резко сказал он. – Хватит. Оставь Анну в покое. Слышишь? Капитан поглядел на него с любопытством.

– Это приказ или дружеский совет?

– А как тебе больше нравится.

Капитан усмехнулся.

– Что-то, майор, вы в последнее время требуете от меня слишком много личных услуг.

– Личных? – проговорил вдруг тот, взглянув на капитана со злобой. – Это не личные. С самого первого дня в полку ты путаешься у меня под ногами как... как... И еще здесь Кенигсбергом решил разжалобить?

Вся эта сцена казалась капитану до того нелепой, что он просто не мог принимать ее всерьез.

– Будет вам, – сказал он примирительно. – Вы просто устали... после самому будет неудобно. Давайте перенесем этот разговор на завтра.

Майор язвительно рассмеялся.

– Ты уверен, что у тебя будет завтра?

Капитан поглядел на него внимательнее. «Вот как», – подумал он.

– Разве нет?

– На чем ты полетишь? И с кем? Нет, дорогой, похоже, что завтра у тебя не будет...

– Вот видите, как все хорошо устраивается, – сказал Добруш. – Зачем же нам ссориться? Подождите до завтра, и все образуется... Кстати, спичек у вас нет?

– Че... го?

– Спичек, – сказал Добруш. – А то у меня трубка погасла.

Майор непроизвольно сунул руку в карман, но потом опомнился и, обжегши капитана злобным взглядом, быстро пошел прочь. Добруш, глядя ему вслед, покачал головой. «Надо же, – подумал он. – Кругом кровь и смерть, а этот находит время заниматься мелочными дрязгами... Непостижимо. А впрочем, жизнь-то из-за войны не остановилась... Но говорить такие слова человеку, которому лететь на Кенигсберг... Черт знает что такое!»

Он медленно направился к летчикам.

Едва он вернулся в землянку, как вслед за ним спустился старший лейтенант Царев.

– Ну вот, – сказал он, – ну вот. А я тебя разыскиваю. Безобразие! Такой холод, а я все потею. Наталья Ивановна говорила: не выходи на улицу потным, схватишь воспаление легких или что-нибудь похуже. Ничего не могу поделывать... Здравствуй.

Царев был в теплой куртке, меховых штанах и унтах. Он не боялся ни пуль, ни снарядов, но очень боялся простуды. Его жена, Наталья Ивановна, умерла года четыре назад, но продолжала оставаться для него непререкаемым авторитетом во всех житейских делах.

– Добрый день, Серафим Никитич, – сказал капитан. – Проходите.

Царев снял фуражку, бережно положил ее на край стола и, вытащив большой красный платок, прогладил лысину. Затем опустился на табуретку и поерзал, устраиваясь удобнее.

Этот человек везде чувствовал себя дома, был со всеми на ты, не признавал чиновничества и был убежден, что окружающие относятся к нему так же хорошо, как и он к ним. Тут он, конечно, несколько заблуждался. Он был слишком мягок. Видимо, потому в свои сорок пять лет все еще оставался старшим лейтенантом.

– Ф-фу! Ну и духотища! – сказал Царев ворчливо. – Да. Так что у тебя все-таки случилось в последнем полете? – спросил он без всякого перехода.

Добруш, набивавший трубку, поднял голову и нахмурился. Он не ожидал, что Царев заговорит об этом, и некоторое время молчал.

– Северцев должен был подавить зенитную батарею, а мы – бомбардировать станцию, – сказал он, наконец. – Но его сбили раньше. Пришлось заняться этим мне.

– Ну вот, ну вот. – Царев всплеснул руками. – Я так и думал. Не кури, пожалуйста. Многие этому не верят.

Капитан кивнул.

– Я знаю.

– Вот видишь. Ох! Надо тебе быть хитрее. Наталья Ивановна всегда говорила: не хитри с работой, но с начальством держи ухо востро. И она права!

Капитан улыбнулся. Сам Царев этим ценным советом, видимо, так ни разу в жизни и не воспользовался. – Начальство здесь совершенно ни при чем, – сказал он. – Сплетнями занимается не начальство.

– Почему ты не оставил хотя бы пару бомб для станции?! – не слушая его, вскричал Царев. – Почему? Тогда у них не было бы зацепки. Ведь Козлов всем нашептывает, будто ты побоялся идти на станцию... Ну, хоть одну бомбу ты мог бы сэкономить!

– Пушки стояли в бетонных бункерах, – пояснил капитан. – Нам пришлось сделать четыре захода.

– Поэтому и погибли штурман со стрелком?

Капитан снова кивнул.

– Бомбометание по площади не годилось, – сказал он. – Надо было уничтожать каждый бункер отдельно. Стрелок был ранен во время первого захода. Потом убит штурман. Последней бомбой мы накрыли последний бункер.

Он никому не рассказывал, как это произошло. Во время первого захода стрелку раздробило руки. Потом, при втором заходе, осколок попал ему в живот. Стрелку было всего восемнадцать лет.

Штурман погиб во время последнего захода. Он успел сказать: «Командир, меня убили». Осколок попал ему в сердце. Самое страшное, что он ничем не мог помочь своему экипажу.

– Козлов болтает, что ты виноват в их гибели...

– Знаю, – капитан зажег спичку и поднес ее к трубке.

– И ты говоришь об этом так спокойно!.. Почему ты не доказывал? Почему не рассказал, как было дело?

Капитан пожал плечами.

– Кому? Козлову?

– Ну, все-таки...– Царев вздохнул, вытащил платок и снова промокнул лысину. – Ты сегодня летишь на Кенигсберг, – сказал он, не спрашивая, а утверждая.

Капитан поднял на него глаза. «Кажется, из всего полка о моем полете я знаю меньше всех остальных», – подумал он, усмехнувшись.

Царев сложил платок и сунул в карман.

– Послушай, открыл бы ты дверь, а? – попросил он. – У тебя тут задохнуться можно от дыма.

Капитан поднялся. Пока он ходил к двери. Царев сопел и потихоньку чертыхался.

– Это как-нибудь связано со станцией? – спросил он вдруг.

– Что?! – удивился капитан. – Каким образом?

– А таким, – разозлился Царев. – Если разные козловы на каждом перекрестке кричат, что ты виноват в гибели стрелка и штурмана, то тут даже и штаб может задуматься... Почему именно тебя сейчас посылают на Кенигсберг? Почему нельзя подождать, пока придет новая техника? Ведь обещают со дня на день!

– Есть приказ, – сказал Добруш.

– Вот именно, есть приказ. Но почему не посылают другого? Меня, например?

– Это говорит Козлов?

– И не один он.

– Ладно, – сказал капитан. – Стоит ли обращать внимание на то, что говорят по глупости...

– А может, и не по глупости. Может, так оно и есть. Ты подумал?

На трубке было выжжено: «Дарю сердечно, чтоб вместе быть вечно». Трубку подарила ему Мария в день свадьбы. Вечность продлилась три года. «Проклятые болота, – говорила она. – Проклятые леса. Проклятые самолеты». И однажды, когда он вернулся из полета, ни Марии, ни дочери Зоси не оказалось дома. Мария не хотела огорчать его прощанием...

Добруш потрогал пальцем трубку. Обычно надписи делают на фотокарточках. «Дарю сердечно, помни вечно». Кажется, так.

– Что ты намерен делать? – спросил Царев. – Да не молчи ты как кол, господи, Боже мой!..

Капитан оторвал взгляд от трубки.

– Выполнять задание.

Царев поднял руки.

– Выполнять задание! – заорал он. – Ну, конечно! Конечно, выполнять задание! Как? У тебя есть экипаж? Есть машина? Да разве только в этом дело! Вспомни о первых трех самолетах. Они были вполне исправны, но и они...

Добруш покачал головой и усмехнулся.

– Сегодня я только тем и занимаюсь, что вспоминаю.

– Он еще смеется! – Царев вскочил с табуретки и с негодованием схватился за фуражку. – Вставай! – потянул он капитана за рукав. – Идем к полковнику! Мы расскажем... Мы добьемся, чтоб

приказ отменили! Пусть они не воображают...– он погрозил кулаком. – Это обреченное задание. Пусть они...

Капитан отвел руку Царева.

– Не надо так волноваться, Серафим Никитич. И идти куда не надо. Полковник дает мне хороший экипаж, да и пойду я в составе группы...

– Это не имеет значения! – крикнул Царев в запальчивости. – При чем тут группа, если ты не сможешь вернуться?!

– Я вернусь.

Царев выпрямился и с минуту с изумлением смотрел на капитана.

– Вернешься? Из такого полета?!

– Другие возвращаются.

– Не на таких машинах!

– Моя машина не так уж плоха, – возразил Добруш. – Да и... видите ли, все не так просто. Я вовсе не хочу, чтоб приказ отменили.

– Что ты такое городишь?! – разозлился Царев. – Как – не хочешь?

– Я полечу на Кенигсберг, – сказал капитан. – Не стоит больше об этом говорить.

Царев застыл с открытым ртом. Вид у него был как у ребенка, которому показали блестящую игрушку и тут же отняли ее.

– Но ведь у тебя... Послушай, может, я мог бы слетать вместо тебя? – проговорил он почти жалобно. – У меня неплохой экипаж, да и машина получше... Зачем тебе ломать шею?

– Я ничего не сломаю, – сказал капитан, – И потом, есть еще одно обстоятельство...

Царев взглянул на него вопросительно:

– Какое?

Капитан вздохнул.

– Хочу посмотреть Белоруссию.

Царев широко раскрыл глаза.

– Что?! При чем тут Белоруссия?!

Капитан хмыкнул:

– Видите ли... Однажды я там родился.

– Родился. Ну и что?



– Вы правы. Ничего особенного. – Добрушу вдруг стало скучно.  
– Давайте прекратим этот разговор.

Царев пристально поглядел на него и покачал головой

– Что ж, – сказал он. – Я предупредил. – Он нахлобучил фуражку и повернулся к двери. Уже выходя, не удержался и крикнул: – Все в этом полку с ума посходили! Все! Наталья Ивановна говорила: «Держись от сумасшедших подальше!» И она права! Он так хлопнул дверь, что с потолка посыпалась земля.

Капитан остался один.

Он увидел Белоруссию – сплошное огромное черное пятно. И только один огонек, где-то под Минском, который начал мигать при их приближении. Штурман прочел морзянку:

– Т-р-э-б-а з-б-р-о-я... Трэба зброя. Командир, что это значит?

– Нужно оружие, – угрюмо перевел пилот.

Огонек мигал долго и настойчиво, он терпеливо просил и после того, как они миновали его:

– Трэба зброя...

#### 4

– Командир, курс триста двадцать, – говорит штурман.

Капитан трогает штурвал и делает правый разворот. Он ждет, пока цифра «315» на картушке компаса подходит к указателю. Затем выравнивает самолет. По инерции машина еще продолжает разворачиваться, и, когда две черточки совмещаются в одну, пилот компенсирует инерцию едва ощутимым движением руля поворота.

– Взял триста двадцать. Теперь звезда, на которую он летел до сих пор, сместилась влево. Взгляд пилота пробегает по приборам, не задерживаясь ни на одном. Температура масла, расход горючего, высота, скорость, наддув, обороты винтов...

Приборы – язык, на котором разговаривает с ним самолет. В первые годы работы Добруша самолет говорил на чужом языке. Приходилось прилагать все внимание, чтобы понять, о чем говорит машина. Сейчас это получается без участия сознания.

В его глазах раз и навсегда запечатлелось то положение стрелок, рычагов, тумблеров, огоньков сигнальных лампочек, при котором даже мимолетного взгляда достаточно, чтобы в мозг поступало

сообщение: «Нормально, нормально, нормально...» Но стоит отклониться одной-единственной стрелке, потухнуть лампочке, и привычная картина нарушается, в мозг поступает тревожный сигнал: «Опасность!» Пилот еще не успел осознать, в чем она заключается, но уже начинает действовать, только задним числом понимая, что на это сообщение машины он и в самом деле должен был убрать газ, переключить тумблер или уменьшить тангаж.

– Командир, режим!

У него хороший штурман. Он знает свое дело. Хороший штурман, еще не оторвавшись от земли, думает о ветре. Он всегда с недоверием относится к груде метеосводок, которыми его снабжают перед полетом. Едва поднявшись в воздух, он хочет сам узнать скорость ветра, его направление, снос машины. И, как правило, его данные резко отличаются от тех, которые он получил на земле. Земля всегда отстает от событий, происходящих в воздухе.

А сейчас, перед бомбометанием, ветер штурману особенно нужен...

Две минуты, пока штурман, припав к окуляру визира, ловит одному ему видимые ориентиры, кажется, что машина замерла в воздухе. Ни одна стрелка не сдвигается даже на десятую долю миллиметра.

– Промер окончен, – сообщает штурман. – Хороший ветерок получился, командир! Повторять не надо.

Приятно дать штурману хороший ветер. Штурманы редко бывают довольны ветром. Иногда приходится повторять режим по три, четыре, пять раз, и тогда работа летит к чертям. Тогда каждый думает о том, чтобы хоть как-то разделаться с этим проклятым полетом, от которого добра ждать не приходится.

Они хорошо работают. Они хороший экипаж.

– Командир, осталось семнадцать минут.

– Понял. Стрелок, вы слышали? До Кенигсберга – семнадцать минут.

– Слышу. Семнадцать.

– Как кислород?

– В порядке, командир. Идет.

– Штурман, у вас как с кислородом?

– Все хорошо. Спасибо. Командир, начинайте набор. Держите шесть метров в секунду.

– Понял. Шесть.

Нос самолета чуть приподнимается. Они уходят от земли все дальше. От враждебной земли, на которой рассыпано довольно много огней. Но эти огни капитана не радуют. Они вызывают в нем раздражение и глухую злобу.

## 5

...Когда Царев ушел, капитан поднялся и развел в печурке огонь. Подбросив дров, он посидел, задумчиво глядя на пляшущие язычки пламени.

Майор Козлов и старший лейтенант Царев... Один терпеть не может его, Добруша, второй расположен настолько дружески, что готов на самопожертвование. А в итоге – горечь от встречи и с тем, и с другим. Ну что стоило Цареву сказать, что машина у него, Добруша, не так уж и плоха, а полет на Кенигсберг – это задание, с которым справится и ребенок? Зачем искать какие-то другие причины полета на Кенигсберг, кроме тех, которые есть на самом деле?

Капитан вздохнул. Им овладела странная апатия, в мозгу пронеслись обрывки мыслей, никак не связанных с предстоящим полетом. Лицо погибшего стрелка, истребитель «И-16», на котором он летал в начале войны, маленькая женщина, штурман Назаров, трубка «Дарю сердечно...»

До вылета оставалось тринадцать часов. «Ладно, – подумал он. – Я должен бомбардировать Кенигсберг, и покончим с этим». Он снова подумал о штурмане Назарове. Вот кто ему нужен.

Назаров хороший штурман. Правда, он из экипажа Козлова, и это даст майору лишний повод для различных домыслов. Но с этим считаться не приходится.

Капитан поднялся и снял с гвоздя куртку. Но в этот день все складывалось неудачно. Не успел он одеться, как снаружи послышался шум шагов и в землянку спустился старшина Рогожин.

– Можно, командир?

– Входите, – буркнул Добруш, окидывая взглядом землянку в поисках фуражки.

Старшина остановился у порога и переступил с ноги на ногу. Он был тучен, форма сидела на нем мешком.

– Василь Николаич...– прошепелявил старшина, прижимая руку к левой щеке.

– Что это с вами? – спросил капитан. – Простыли?

Рогожин помотал головой.

– зуб проклятый... Хоть матом кричи.

– Коренник?

– Коренник, Василь Николаич.

– Плохо дело. Лечить надо.

Добруш похлопал рукой по одеялу на нарах, приподнял подушку. Фуражки нигде не было.

– Вылечишь зверюгу... как же, – сказал старшина. – Доктора три раза драли.

– Не помогло?

– Укоренился.

– Плохо дело, – повторил капитан.

Рогожин тяжело вздохнул.

– Василь Николаич, а Василь Николаич... – сказал он после молчания. – Вам надо поглядеть левый мотор.

– Что там еще? – недовольно спросил Добруш.

– Он сбрасывает обороты.

– Знаю. Я проверял вечером.

– Сейчас он сбрасывает почти сто пятьдесят, – тихо сказал старшина.

Капитан повернулся к Рогожину, вынул изо рта трубку и внимательно поглядел на него.

– Зажигание проверили?

– Все проверили, Василь Николаич. Дело не в том.

Капитан сдвинул брови.

– А в чем?

– Мотор после второй перечистки.

– Правый тоже после второй перечистки.

Старшина тихонько вздохнул.

– Это правда, Василь Николаич. Только в нем не взрывалось полтонны железа.

Добруш поморщился.

– Ну, это преувеличение.

– Не, Василь Николаич, – покачал тот головой. – Не преувеличение. Вы посмотрели бы, какая там была каша после...

– Да, да, – нетерпеливо сказал капитан. – Это большое упущение с моей стороны. Впредь буду внимательнее.

О том, в каком состоянии был мотор, когда он посадил машину, капитан знал не хуже Рогожина. Они вместе проверяли его, и Рогожину не стоило говорить об этом. Старшина смутился.

– Простите, Василь Николаич...

– Прощаю, – буркнул тот. – Что вы предлагаете?

Старшина сдвинул стоптанные каблуки, втянул, насколько это было возможно, перевалившийся через ремень живот и приложил руку к пилотке.

– Товарищ командир, предлагаю выбросить мотор в металлолом.

– Так...

Наконец Добруш вспомнил, что оставил фуражку в штабе. «Этого еще не хватало, – подумал он с раздражением. – Сегодня я делаю глупость за глупостью. Если мотор сбрасывает сто пятьдесят оборотов, то никакой штурман не поможет. И можно обойтись без фуражки».

Он потер рукой лоб.

– Ладно. Сейчас посмотрим.

## 6

Самолеты стояли на опушке березовой рощицы. Еще несколько дней назад здесь было тридцать семь машин, внушавших уважение своим грозным видом. Сейчас их осталось всего шестнадцать – уставших птиц с покалеченными крыльями, пробитыми фюзеляжами, обнаженными моторами. И аэродром оказался непомерно велик. Он превратился в огромную пустыню... Это случилось в тот день, когда они бомбардировали станцию. Самолет только успел приземлиться, как в воздухе раздался гул моторов. Добруш, помогавший санитарам выносить из машины штурмана со стрелком, сначала не обратил на это внимания: может, возвращается задержавшееся

звено. Потом что-то словно кольнуло его, и он обернулся. С востока, из-за кучевого облака, звено за звеном выплывали черные косокрылые «хейнкели». Добруш бросился в кабину бомбардировщика. Обламывая в спешке ногти, пристегнулся к сиденью и запустил моторы. Он еще успел заметить, как справа, слева от него тоже забегали летчики, бросились к машинам, – и дал двигателям полные обороты. Не разворачиваясь, прямо со стоянки он начал разбег поперек поля. За ним потянулось еще несколько самолетов. А «хейнкели» висели уже совсем рядом. Он был в воздухе, когда первая волна от взрыва потрянула самолет, едва не опрокинув его. ...Добруш со старшиной прошли по стоянке мимо темных масляных пятен, расплывшихся там, где раньше находились машины, мимо красных противопожарных щитов с ненужными теперь ведрами и лопатами, мимо ящиков с песком, в которых валялись еще не успевшие почернеть окурки. Когда-то все это имело смысл. Но хозяев не стало, и ящики, щиты, пятна, забытые ведра казались теперь ненужными и странными – вещи, утратившие связь с человеком.

– Металлолом... а мне говорят – отремонтируй, – проговорил старшина, задыхаясь и старательно обходя баллоны с кислородом. – Нельзя ремонтировать то, что никакому ремонту не подлежит, Василь Николаич. Вот чем это кончается, когда думают не головой, а задницей.

Капитан вытащил из кармана трубку и, не зажигая ее, сунул в зубы. Потом внимательно поглядел на Рогожина.

– Что это с вами, старшина?

– Василь Николаич, нельзя вам лететь на такой машине! – сказал тот.

– Кто вам сообщил, что я лечу?

– Незачем мне говорить, – угрюмо возразил тот. – Я не слепой.

– Гм... – сказал Добруш. Он поспешно похлопал по карманам и, достав спички, прикурил. – Кажется, зуб у вас перестал болеть?

Старшина на мгновение приостановился и посмотрел на капитана с укором.

– Ну зачем вы так, Василь Николаич? – спросил он. – Мы ж не дети.

Добруш положил руку ему на плечо.

– Мир устроен немножко хуже, чем нам хотелось бы, правда?  
– Он вздохнул. – Не сердитесь, старшина. Я не хотел вас обидеть.

Несколько минут они шагали молча. Потом капитан спросил:

– Пулеметы в порядке?

– В порядке.

– Баки?

– Тоже, – мотнул головой Рогожин. – Все остальное в порядке. Все, кроме моторов. Так что можете считать, что все не в порядке.

– Ладно, ладно, – проворчал капитан. – Это я уже сообразил. Не нужно вам так много повторять одно и то же.

Вчера вечером, когда он проверял самолет, дело не казалось таким безнадежным. Правда, тогда и приказа лететь на Кенигсберг не было. «Обреченное задание»...

– Глупости, – пробормотал Добруш.

– Что вы сказали? – встрепенулся старшина.

– Так, ничего.

Машина находилась в самом конце стоянки. Четыре дня назад, когда Добруш посадил ее, это была груда металлолома. Когда самолет коснулся земли, левая консоль отлетела. В крыльях же и фюзеляже было столько дыр, что капитан и считать их не стал.

Сейчас самолет уже походил на боевую машину. Крылья были отремонтированы, дыры в фюзеляже залатаны, установлен пулемет стрелка. Возле машины сновали механики.

– Проверните винты, – сказал капитан старшине.

– Прокопович, с мотора! – крикнул тот механику, сидевшему верхом на левом капоте. – Провернуть винты! Солдат скользнул вниз. Добруш поднялся в кабину и положил руку на секторы газа.

Уже по тому, как вяло взял левый мотор первые обороты, капитан понял, что он сдал окончательно. На всякий случай Добруш прогнал его и на других режимах, но мотор начал чихать и захлебываться.

Капитан выключил зажигание. Он еще посидел в кабине, потом спустился на землю. «На такой машине, пожалуй, можно взлететь, – подумал он. – Но садиться уже не придется. Больше часа она не продержится». С минуту он глядел на мотор.

– Старшина!

- Я здесь, командир, – шагнул тот из-за шасси.
  - Снимите мотор.
  - Есть! – обрадованно воскликнул Рогожин.
  - Постарайтесь уложиться в четыре часа.
  - Будет сделано, командир! Ну и рад же я, командир! – Старшина потрогал щеку. – И фашист вроде присмирел. Эй! – крикнул он механикам. – Снимать мотор! Быстро!
- Солдаты бросились к самолету.

7

Все вокруг замерзло. Здесь, на высоте восьми тысяч метров, термометр показывает минус тридцать пять. И близкие звезды, и чернота неба, и машина, и люди в ней – все застыло в неподвижности. Даже гул моторов, кажется, только потому не отстает от них, что примерз к обшивке самолета.

- Штурман, как курс? – спрашивает Добруш.
- Курс хорош, командир.
- Стрелок, у вас все в порядке?
- Все в порядке, командир.
- Не забывайте о кислороде. Какое у вас давление?

На высоте восьми тысяч метров, где атмосферное давление составляет меньше половины нормального, пилоту нужно постоянно следить за самочувствием своего экипажа. Малейшая неполадка с подачей кислорода – и наступает обморок, а через несколько минут – смерть. Человек даже почувствовать ничего не успеет.

- Сто двадцать, командир.
- Как? Вы успели съесть тридцать атмосфер?! Стрелок, вы что – костры им разжигаете?

Надо же! Кислород им особенно потребуется на обратном пути, потому что возвращаться предстоит на восьми с половиной – девяти тысячах метров. Им нужно экономить горючее, а именно на этих высотах у них будет сильный попутный ветер. Но если кислорода на обратный путь не хватит...

- Нет, командир, я им дышу, – с обидой возражает стрелок.
- Так дышите поэкономнее! Немедленно уменьшите расход кислорода!



В наушниках слышится сопение стрелка и потом его голос:

– Уменьшил, командир.

– Ладно. Штурман, у вас какое давление в баллоне?

– Сто двадцать пять.

– Ладно.

Хоть один умный человек нашелся.

Добруш понимает, что несправедлив. Расход кислорода у стрелка нормальный. Но это уже сказывается Кенигсберг. Города не видно, но пилот всем своим телом чувствует его приближение, чувствует затаившуюся в нем опасность. И он нервничает.

– Эй, стрелок!..

– Я слушаю, командир.

– Не злитесь.

– Не буду, командир. – Стрелок веселеет. – Долго нам еще? Я совсем окоченел...

– Штурман, как цель?

– Девять минут тридцать секунд.

– Стрелок, вы слышали? До Кенигсберга – девять минут тридцать секунд.

– Понял, командир.

И они смолкают

## 8

...Добрушу необходимо было поговорить со штурманом Назаровым.

В землянке, служившей одновременно и клубом, и столовой, и библиотекой, было почти пусто. За столиком у окна двое летчиков играли в шахматы. Трое других, среди которых находился и майор Козлов, перекидывались в карты.

Назаров сидел на табуретке у стеллажа и читал книгу. На нем были безукоризненно выглаженные брюки, ослепительно сверкающие ботинки и новенькая кожаная куртка. Выбритое до синевы лицо его казалось аскетически сухим и строгим.

– Мне надо поговорить с вами, штурман, – сказал Добруш, подойдя.

Назаров поднял голову и взглянул на него.

– К вашим услугам.

– Но, пожалуй, не здесь, – сказал Добруш, оглянувшись.

Штурман положил книгу на полку и поднялся. За столиком, где сидел майор Козлов, установилась тишина. Летчики с любопытством поглядывали на Добруша с Назаровым.

Добруш уже, было, прошел мимо и взялся за ручку двери, как вдруг сзади услышал шепот:

– Да какой из него летчик! Карьерист и бабник, недаром из истребителей выгнали...

Добруш опустил руку и повернулся. Говорок оборвался. Шрам на лице капитана начал медленно чернеть. Он шагнул к столу.

– Вы хотели мне что-то сказать, Козлов? – спросил он майора.

Тот приподнял брови с деланным удивлением.

– Я? Ну что ты, дорогуша, здесь о тебе...

– Встать, – тихо сказал капитан.

Козлов уставился на него с изумлением.

– Что-о?! Да как ты смеешь так разговаривать со стар...

Капитан положил руку на кобуру пистолета. Майор осекся.

– Встать! – повторил Добруш.

Не спуская глаз с руки капитана, майор начал медленно подниматься.

– Имей в виду, – проговорил он, бледнея, – это тебе...

– Смир-рна!

Козлов вздрогнул.

– А теперь повторите вслух то, что вы шептали, – сказал Добруш. – Я предпочитаю, чтобы такие слова мне говорили в лицо, а не в спину.

– Я ничего не...

Капитан ждал, глядя на него в упор тяжелым взглядом.

За соседним столиком перестали играть в шахматы.

Лейтенант, сидевший рядом с майором, заинтересовался картами, которые держал в руках. Второй летчик откинулся на спинку стула и с любопытством поглядывал то на капитана, то на майора.

– ...не говорил, – выдавил майор.

Добруш презрительно скривил губы.

– Оказывается, вы не только мерзавец, Козлов. Вы еще и трус.

Майор судорожно дернулся.

– Садитесь!

Добруш резко повернулся и пошел к двери. Штурман, со скучающим видом разглядывавший в продолжение этого разговора спичечную коробку, шагнул за ним.

– Не стоило вам связываться, – заметил он, когда они вышли.

– Так уж получилось, – хмуро сказал капитан.

– Просто он боится, что вас назначат командиром третьей эскадрильи вместо него. Теперь он побежит жаловаться к полковнику, к особистам, к... Ну, да ничего. Я ведь видел, что вы всего лишь правляли кобуру.

Добруш хмыкнул:

– Спасибо.

Когда они спустились в землянку пилота, и штурман устроился у стола, Добруш подвинул к нему планшет.

– Как вам нравится эта линия? – спросил он.

Назаров посмотрел на карту.

– Кенигсберг?

Добруш кивнул.

– Когда?

– Сегодня. Ночью.

Штурман почесал пальцем подбородок.

– Кто у вас сейчас штурманом?

– Коблов.

– С Кобловым лететь нельзя.

Добруш сунул в зубы трубку и затянулся дымом. Назаров задумчиво посмотрел на карту.

– Он не может ориентироваться, – сказал он. – Но суть не в этом. До Кенигсберга вы его довезете, но ведь он висит над целью не меньше пяти минут. Я видел его в деле. – Назаров подумал. – Если бы с вами полетел я, мы вернулись бы.

Добруш кивнул.

– Я знаю, что вы хороший штурман.

Назаров поднялся

– Я готов.

– Командир, прошли Мемельскую косу, – говорит штурман. – Разворот влево. Курс девяносто три.

– Понял. Девяносто три.

Машина круто кренится. Впереди показываются редкие огоньки. Пилот выравнивает машину.

– Взял девяносто три.

Он склоняет голову и смотрит вниз. Потом снова выпрямляется и застывает. Внизу – серая пелена.

– Командир, до цели – пять минут.

– Понял, – подтверждает летчик. – Стрелок, вы слышали? Осталось пять минут.

– Слышу, командир.

– Как у вас дела?

– Нормально, командир.

Впереди – луна. Луна – это совсем плохо, потому что им сейчас нужна хотя бы слабенькая облачность. Хоть самая маленькая... Небо совершенно чистое. До звезд можно дотянуться рукой.

– Ладно. Следите за воздухом.

...В штабе капитану Добрушу сообщили время и место встречи с группой, идущей на Кенигсберг.

Самолет взлетел с аэродрома и пришел в назначенную точку секунда в секунду. Но группы в воздухе не оказалось. Пилот сделал круг в надежде, что вылет несколько задержался. Самолетов по-прежнему не было.

– Стрелок, передайте на командный пункт: «Встреча не состоялась. Прошу указаний».

Пилот сделал еще круг. Потом еще. Только через восемь минут была получена ответная радиограмма. Она состояла из двух слов: «Выполняйте задание».

Пилот развернул машину на курс. Что могло помешать группе прийти к месту встречи?

Неожиданный налет вражеской авиации? Или еще что-нибудь?

Ни пилот, ни штурман, ни стрелок этого не знали. Это они выяснят только после возвращения. Если смогут вернуться. Как бы

там ни было, они остались в воздухе одни. И теперь могли рассчитывать только на себя.

## 10

Штурман щелкает движком навигационной линейки и сует ее за отворот унта. Потом сбрасывает с колен планшет с прикрепленным к нему ветрочетом. Больше они ему не нужны. Четкими, точно рассчитанными движениями он устанавливает на прицеле угол сноса, уточняет высоту бомбометания и путевую скорость.

Он окидывает свое хозяйство внимательным взглядом, убеждаясь, что сделал все необходимое точно и пунктуально. Когда-то, в те далекие времена, когда еще не было войны, курсанты, которых он обучал, за глаза называли его педантом. Он знал об этом. И делал все возможное, чтобы и они стали педантами.

Потому что в авиации долго живут лишь педанты. Те, которые полагаются не на удачу, случай или везенье, а только на уверенность, что ничего не забыли, все рассчитали и сделали как следует. Сделали так, как делает хорошо отлаженная машина.

Теперь штурман смотрит на приближающийся город.

– Командир, подходим к цели, – сообщает он. – Как будем производить бомбометание – серией или залпом? Я рекомендовал бы залп.

– Вы уверены, что попадете, штурман?

– Да.

– Хорошо. Залп.

Штурман переводит тумблер на сбрасывателе бомб на залп и застывает. Его аскетическое лицо, обтянутое шлемофоном, становится еще суше и строже. Он включился в цепь, и теперь он – часть машины. Часть, которая должна сработать так же точно, четко, быстро, как замки держателей или створки бомболоков.

Он сдвигает пальцы на щитке.

– Командир, открываю люки.

– Понял.

Снизу доносится глухой удар – раскрываются створки.

Все вокруг спокойно, тихо, мирно. Мерцают звезды. Гул моторов – ровный, басовитый, домашний. Ну стоит ли тем, внизу, сто-

ящим у зенитных и пулеметных стволов, обращать внимание на далекий и безобидный гуд шмеля?

Штурман знает: внизу, в нескольких сотнях, а может, и десятках метров от машины висят аэростаты заграждения. Малейший просчет, и самолет врежется в черную громадину.

Он знает: внизу наготове сотни прожекторных установок, которые в любую секунду могут ударить по машине слепящим молочно-белым светом.

А вслед за светом вспорют небо сверкающие лезвия сотен и тысяч комет. Комет с железными ядрами, которые взрываются по курсу и испарывают обшивку самолета, словно бумагу.

Но это еще ничего. А вот когда такая комета угодит в бомбовый отсек...

Об истребителях и говорить не приходится.

«Нас не обнаружат, – думает штурман. – Им не до нас».

«Ты должен попасть в цель во что бы то ни стало. Ты должен найти цель и уничтожить ее, – обращается к себе штурман. – Все остальное для тебя не существует».

«Скверно, что я не знаю, на какой высоте у них аэростаты заграждения, – думает пилот, напряженно всматриваясь в небо. – Сколько я могу терять на выходе из огня? Хорошо бы у меня была в запасе хоть тысяча метров. Тысяча метров – вот что мне нужно. Но раз я этого не знаю, придется вертеться на двухстах. Двести-то у меня наверняка есть».

Как там штурман? Точно ли выведет на цель?

Я хотел бы иметь на борту груза не девятьсот килограммов, а девятьсот тонн. Я хотел бы превратить этот город в то, во что они превратили Минск. Во что они превратили Смоленск. И сотни других городов...»

«Глупости, – обрывает он себя. – Город здесь ни при чем. Тебе приказано сбросить бомбы на военный объект, это ты и сделаешь. Вот и все».

«Как там штурман?»

«Сколько высоты у меня в запасе?..»

«Они примут нас за своих, – думает стрелок. – Они не поверят, что это мы. Мы так высоко, что...»

Штурман склоняется над бомбоприцелом. В его поле медленно вползают темные пятна домов, квадраты заводских корпусов. Штурману нужен один-единственный квадрат, который он узнает из тысячи. Он изучил его по схемам и снимкам до последней черточки.

– Стрелок, следите за воздухом. – Голос пилота звучит жестко, как приговор. – Стреляйте по любому подозрительному объекту, чем бы он ни был.

Штурман слышит ответ стрелка:

– Есть, командир. Готов, командир.

– Штурман...

Пилот не успевает закончить фразу. Хозяином самолета, хозяином, превращающим грозную машину на несколько секунд, а иногда и минут, в беззащитную мишень, становится штурман:

– Командир, цель вижу!

– Понял.

– Командир, влево три. Курс девяносто.

– Есть. Взял девяносто.

– Еще градус влево...

Пилот действует так, будто штурман дергает его за невидимые ниточки, привязанные к рукам и ногам. Сейчас он только марионетка в руках штурмана. Он напрягается до предела, чтобы безукоризненно выполнить его требования.

– Взял.

– Боевой!

И пилот видит, как исчезает небо. Гаснут звезды. Проваливается земля. Будто команда штурмана нарушила равновесие. Десятки белых столбов ударяют в небо, мечутся вокруг, сталкиваясь друг с другом, разбегаясь в стороны.

Прожекторные лучи.

Они впереди, по сторонам, сзади. Они вот-вот заденут самолет, и тогда на машину обрушится железный смерч. Бежать от них! Спрятаться!

Но пилот словно закаменел. Он держит курс «89». Он будет держать его до тех пор, пока штурман не даст команду изменить или пока взрыв зенитного снаряда не бросит их вниз.

Штурман не видит прожекторных лучей, но по бликам в при-

целе понимает, что произошло. Он еще плотнее прижимается к окуляру прицела.

– Командир, еще чуть влево...

И пилот доворачивает машину прямо на огненный столб, вставший перед носом самолета. По его телу течет холодный липкий пот.

Столб падает влево. Пилот смачивает кончиком языка губы. Он бросает взгляд на хронометр. Ему казалось, что они висят на боевом курсе не меньше пяти минут. Хронометр говорит: десять секунд.

Слишком много лучей!

Кто-то размахивает ими, как палками. Большими белыми палками. Они налетают друг на друга и с треском отскакивают в стороны... С треском...

Это справа вспухают два ослепительных шара. Это уже рвутся зенитные снаряды. А вот еще – впереди, чуть левее, целая гирлянда, один за другим, оранжево-черные...

– Ух! – доносится голос стрелка.

– Сброс! – врывается в наушники голос штурмана. Самолет подпрыгивает, освободившись от груза. – Командир, противозенитный маневр!

Пилот сваливает самолет на левое крыло и ускользает от удара несущейся навстречу кометы. Успел! Они неуязвимы. Теперь они не мишень. Теперь они могут защищаться! Они неуязвимы...

## 11

Штурман отрывается от прицела и бросает взгляд на секундомер. Он держал машину на боевом курсе восемнадцать секунд. Если пилот хоть немного следил за хронометром, он должен быть доволен.

Вокруг самолета – десятки прожекторных лучей. Штурман косятся на них, от резкого света начинает нестерпимо чесаться в носу. Штурман закрывает глаза и оглушительно чихает.

– Будь здоров, – говорит он себе тихонько и прикладывает к губам платок. Потом чихает снова и еще раз желает ласково: – Будь здоров, дружок...

Он не суеверен. Просто он уважает хороших людей. Он закры-



вает бомболоки, выключает освещение сетки прицела и берется за ручки пулемета. Мало вероятно, чтобы какой-нибудь немец сунулся в эту кашу, но все может быть. И штурман настороженно оглядывает небо.

Пилот бросает машину вправо. Он знает, где взорвется очередной снаряд. Знает так, будто немецкий наводчик только что шепнул ему об этом на ухо.

И снаряд взрывается. Не один, а целая гирлянда огненных клубков.

Но пилот уже ушел от них.

Влево!

Вправо! Влево! Вниз!

– Командир, продержитесь еще минуту, – просит штурман. – Это не много...

Немного! Да это целая вечности, штурман. Это...

– Ух ты-ы... – крик стрелка. – Вниз... внизу... о-ля-ля-ля!

Но пилот со штурманом уже и сами видят. Внизу – море огня. Оно как-то лениво, словно в раздумье, приподнялось над землей и потом плеснуло в стороны с такой стремительностью, что, казалось, залило всю землю до горизонта.

Прожекторные столбы, до того метавшиеся по небу, на мгновение застывают, словно парализованные. Потом начинают качаться с еще большей яростью и настойчивостью.

Во что же это угодил штурман, что разъярил такую стихию? Неужели в бензохранилище? Или в склад боеприпасов? Пилот уходит от прожекторных лучей. Нет, он не позволит угробить такой экипаж...

– Штурман...

Могут они еще терять высоту или нет? Не врежутся в азростаты? Но он задыхается от одного слова. Он бросает машину вправо.

И снова ускользает от лучей.

– Стрелок!

– Командир?

– Что...

Ему нужно знать, какая обстановка сзади. Но он не успевает спросить. Он падает на штурвал. Даже сквозь закрытые веки свет

режет глаза так, что, кажется, проникает до самой последней клеточки мозга. В этом свете нечем дышать...

– О-ох! – доносится стон.

Пилот сваливает машину влево и полностью отдает штурвал.

– Командир!

Они выпадают в темноту.

– Вот это...

Еще один луч. Огненные вспышки и – трах-тах-тах-тах... – ба-рабанная дробь по обшивке машины.

– Вправо, командир!

Он ничего не видит, но давит на педаль и выворачивает штурвал. Они снова вываливаются из слепящего молока в темноту.

– Влево!..

Пилот бросает машину влево. Вернее, их отбрасывает. Справа, почти под крылом, взрывается снаряд.

– Ну и свистопляска, – ворчит Назаров. – Еще несколько секунд продержитесь, командир.

– Живы, штурман? – спрашивает тот.

– Чего мне сделается...

– Стрелок, вы живы?

– Жив... Живу... Ух! А-а, сволочь!

Ду-ду-ду-ду...

Это работает пулемет стрелка.

– На, гад, на, на!..

Удар справа.

– Стрелок, что...

Удар слева.левой ноги, правой, левой, правой... Они в огненном кольце. В кольце из огня и металла. И что-то случилось у стрелка. Могут они терять высоту или нет?

– Штурман, как...

Удар. Совсем рядом.

– Командир, можете терять еще тысячу мет... Удар. Машина прыгает вверх, словно скаковая лошадь.

– ...выходим...

Удар.

– ...заграждения!

Вспышка шаровой молнии прямо по курсу и треск пробиваемой обшивки. И еще один огненный клубок.

Удар.

Самолет бросает то вниз, то вверх, то в стороны. Пилот с трудом удерживает его, чтобы не сорваться в штопор. Грохот.

– Сво-оло-очи!.. – орет стрелок.

## 12

Штурмана болтает в кабине, бьет о борта, но его руки прочно держат пулемет, а глаза ощупывают каждую пядь неба. Он уже понял, что означает стук пулеметов стрелка. И он готов к этому.

Скоро штурман увидит... Вот он!

Слева появляется черный силуэт самолета. Хобот штурманского пулемета мгновенно поворачивается в его сторону. Взгляд штурмана проходит сквозь прицел и впивается в борт чужой машины. В этом взгляде – приговор.

Пулемет с ревом выбрасывает длинный белый гарпун, и самолет исчезает. Он будто под лед проваливается.

– Командир, как у вас дела? – спрашивает штурман.

– Ни...чего...

– Стрелок, вы держитесь?

– Держусь!

Они держатся...

Штурман ведет стволом пулемета вправо и бьет по черному пятну. Он не знает – самолет это, аэростат заграждения или еще что. Что бы там ни было – он обязан это расстрелять.

Сзади тоже почти без перерыва стучит пулемет – стрельба гулом отдается по всему корпусу машины.

Нет, их не так просто отправить на тот свет! Он, штурман, не рассказывает, что пошел в этот полет. На людей, с которыми он работает, можно положиться. Они не дадут себя утробить за здорово живешь, они будут защищаться до конца.

...Пилот бросает машину из стороны в сторону. Он вырывается из огненного кольца, оно опять сжимается, но он снова уходит, снова отступает и наступает. Он слышит, как стучит пулемет штурмана:

– Р-ры-ых!.. Р-р-р...

Впереди проскальзывает тень

– Р-ры-ых!

– Штурман...

– Командир?..

– Что там...

– Р-ры-ых!..

Удар.

Кажется, последний.

Пилот чувствует, что они уже вырвались. Отстают разрывы, отстают прожекторные лучи.

– Ничего, командир, – тяжело дыша, говорит штурман. – Прорвемся...

– Ррых!

– Ду-ду-ду-ду... – выстукивает пулемет стрелка.

И вдруг над головой пилота раздается хлопок. Слабый, почти неслышный хлопок, как из детского пугача. Капитан выпускает из рук штурвал и хватается за глаза. Потом медленно сваливается на привязные ремни...

### 13

Штурман чихает еще раз – от наступившей темноты.

– Будь здоров, дружок... теперь уж недолго осталось, – говорит он себе.

Ну, вот и вырвались. Где-то там, сзади, мечутся по небу прожекторные лучи и рвутся снаряды – на остеклении кабины то и дело вспыхивают блики. Но это уже не страшно...

И в этот момент над головой раздается взрыв, освещая все в кабине так, что становятся видны даже царапины на бомбоприцеле. Штурман прижимается к бронеспинке, потом стремительно оборачивается. Кажется, обошлось...

– Безобразие, – ворчит штурман и осекается.

Машина начинает как-то странно, медленно, рывками заваливаться на крыло, переходя в пике. Что это означает? Но у штурмана нет времени подумать. Справа появляется силуэт самолета, отчет-

ливо видимый на лунном небе. Штурман стремительно разворачивает пулемет.

Р-рых!

Он ведет пулемет вверх, потому что кабина кренится все круче. Целиться трудно.

Р-рых!..

Вражеский самолет выскальзывает из прицела и исчезает где-то в заднем секторе. Штурман, не выпуская пулемета из рук, зовет:

– Командир!

Молчание.

– Командир, что случилось?!

Самолет уже падает. Но сзади, не умолкая, грохочет пулемет стрелка: ду-ду-ду-ду...

– Командир, вы слышите меня? Командир!..

Никакого ответа. Самолет с воем несется к земле.

– Командир! Самолет падает! Командир!..

Штурман приподнимается на сиденье, но его прижимает к бронеспинке. Что он может сделать, если в своем стеклянном колпаке отделен от пилотской кабины броневой плитой? Спереди, сверху, по сторонам – стекло. И штурман сидит сейчас на краешке пропасти, совершенно перед ней беззащитный.

У него нет управления – перебиты тросы – и он не знает, что случилось с пилотом.

– Командир! – зовет он. – Командир, мы падает!..

#### 14

«Падаем... падаем... падаем...»

Пилот целую вечность слышит это слово, но не понимает, что оно означает.

Он напрягает всю свою волю, силясь понять, но тупой качающийся гул постоянно мешает ему, убаюкивает, успокаивает, заставляет отказаться от бесцельных попыток.

– Командир!

Голос слабый и еле слышный. Это он – командир... Ну да – он... «Не пробуждайся, не пробуждайся, не пробуждайся... – уговаривает

гул. – Не пробуждайся, потому что пробуждение будет еще страшнее, чем беспамятство. Не пробуждайся...»

– Командир! Моторы пойдут вразнос! Командир!..

Пилот делает над собой страшнейшее усилие и приподнимает голову. Его словно обухом бьет по затылку, и он снова падает лицом на штурвал.

– Командир!!!

Моторы уже не воют – верещат. Пилот приподнимает руки и упирается в приборную доску. У него такое чувство, словно голову раздирают на части клещами. Он не знает, где он и что с ним. Но руки нащупывают штурвал. Руки знают, что только с помощью этого полукруга можно прекратить раскрутку винтов, остановить то страшное, что неминуемо должно последовать.

– ...дир... левой ноги! Штурвал на себя!

Пилот вяло тянет на себя штурвал, так же вяло давит ногой на педаль. Он пытается сбросить с себя кошмар беспамятства. Голова его все увеличивается, упирается в фонарь, вот она уже не умещается в кабине, давит на борта. А может, это кабина сжалась до таких размеров, что стиснула пилота со всех сторон...

– Еще больше штурвал на себя!левой ноги!..

Голос принадлежит человеку, который, несомненно, имеет право командовать. И пилот, судорожно сжимая пальцы, тянет, тянет на себя штурвал.

Но почему же так темно и больно? Что они с ним делают? Где он? И этот звук – визжащий, захлебывающийся звук, проникающий в самые дальние уголки мозга и наводящий ужас...

Пилот уже слышал когда-то подобный звук, вслед за которым начинаются еще более страшные – хруст ломающегося металла, лихорадочная дрожь машины и – клубы дыма, бьющие по остеклению кабины... А потом удар, тишина и липкое бесконечное беспамятство...

Пилот пытается открыть глаза и глухо вскрикивает. Режущая боль снова швыряет его в небытие. Но беспамятство длится недолго. Страшнее боли, страшнее воя идущих вразнос моторов то, что он еще не успел осознать полностью, но к чему уже прикоснулся. И что надвигается на него неотвратимо, как судьба.

– Командир, что с вами?!..

Штурман смолкает. Пилот сидит неподвижно, пытаясь привести мысли в порядок и хоть чуточку отдохнуть от боли.

– Штурман... в каком положении машина?

Он спрашивает медленно и спокойно. Каждое слово – это сгусток боли. Но пилот уже не боится боли. Сейчас он знает более страшное, чем боль, – черноту. Густую, непроницаемую черноту. Он глотает кровь.

Штурман говорит:

– Падаем на правое крыло.

## 17

«Падаем! – жутью обдает стрелка. – Сбили!» И в ту же секунду он видит тень пикирующего на них самолета. Он видит вспышки выстрелов.

Стрелок разворачивает пулемет. Он с яростью всаживает в тело чужой машины длинную очередь. Он видит вспыхнувший на фюзеляже язычок пламени и бьет, бьет, бьет по нему, заставляя разгораться еще ярче. Пламя вытягивается, словно лента, стремительно сматывающаяся с барабана, лижет хвостовое оперение. К земле устремляется огненная комета, на несколько секунд гасящая прожекторный свет.

– На, гад, на, на, на! – бормочет стрелок сквозь зубы.

Машина, в которой он сидит, тоже несется к земле. Она опрокидывается на правое крыло. Целиться трудно. Но сержант все бьет по уже поверженному врагу, без сожаления расходуя боекомплект.

– Командир!

Молчание.

– Штурман!

Ни звука.

– На, гад, на, на!

Стрелок не знает, кто их сбил. Но он видит перед собой врага, который так или иначе к этому причастен. У стрелка есть оружие. И он должен полностью рассчитаться за гибель самолета, за гибель командира, штурмана и свою собственную. Ему страшно, но еще более – обидно и горько, что он так мало успел сделать, и он вымещает

свою обиду на несущемся к земле самолете, полосуюя из пулемета по его крыльям. Вся его ненависть сосредоточена на этих крыльях, которые он прошивает длинными очередями.

Бомбардировщик падает почти отвесно. Самолет дрожит, как в лихорадке, его кидает из стороны в сторону.

Стрелка отрывает от сиденья, он почти лежит на пулемете, упираясь головой в обзорный купол. Он весь выворачивается, стремясь не выпустить из прицела горящий самолет, и бьет, бьет, бьет...

Самолет противника выпадает из сектора обстрела. Стрелок бросает рукоятки пулемета, облизывает губы и оглядывается в бесильной ярости. У него еще остались патроны. Но они уже не нужны. Вокруг – пустое черное небо и падающий в нем бомбардировщик. Стрелок чувствует, как стремительно надвигается на них земля.

...Когда они после тщетного ожидания группы из соседнего полка подходили к линии фронта, стрелок, пытавшийся еще раз связаться с аэродромом, доложил:

- Командир, земля не отвечает.
- Стрелок, у вас включена рация? – резко спросил пилот.
- Да.
- Немедленно выключите ее!
- А как же связь?
- Выключите!

Стрелок щелкнул выключателем.

– Есть. Выключил.

– И теперь до конца полета забудьте о ней. Вы что же, хотите, чтобы нас засекли?..

Но сейчас – другое дело. Стрелок щелкает выключателем и берется за ключ.

**«МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ. ДОКЛАДЫВАЕТ ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ НОМЕР 33. ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. БОМБЫ СБРОШЕНЫ НА КЕНИГСБЕРГ».**

Дрожащими руками он выключает рацию и вытирает пот. Затем оглядывается с недоумением и растерянностью. Что-то изменилось. Случилось что-то такое, чего он не ожидал. Он замирает.

Самолет больше не падает. Неуверенно рыская из стороны в сто-



рону, он, тем не менее, все больше выравнивается и разворачивается на восток. Стрелок протирает глаза, моргает, протирает еще раз.

– Командир! Штурман! – кричит он.

Никакого ответа.

– Товарищи капитаны! Отзовитесь!

Молчание. И тогда стрелку становится страшно. Он израсходовал почти весь боекомплект! А справа, на юге, в полнеба поднялась ослепительно-яркая громадная луна. Она серебрит фюзеляж и плоскости самолета. Она превращает его в видимую всему миру мишень. Беззащитную мишень, только что прокричавшую на весь мир своей радиোগраммой, что она здесь, рядом с Кенигсбергом, что ее необходимо сбить.

«Я расстрелял боекомплект. Мне нечем больше воевать. Я угробил экипаж», – с ужасом думает стрелок. Он стонет от злости и бессилия.

– Командир! Штурман!.. Да отзовитесь же вы! Командир!..

## 18

– Командир, возьмите штурвал еще чуть на себя! – говорит штурман. – На себя!

Пилот тянет штурвал. Приподнимает правое крыло самолета.

– Так! – говорит штурман. – Теперь нормально. Командир, что с вами? Пилот медленно облизывает губы. Потом выпускает штурвал из правой руки и трогает голову.

Шлемофон изорван осколками стекла и железа. Пальцы натываются на большой кусок стекла. Пилот рывком выдергивает его. В мозгу вспыхивает шаровая молния. Несколько секунд пилот сидит неподвижно, приходя в себя. Он чувствует, как под шлемофоном растекается кровь.

Он переносит руку на лоб. И здесь осколки. Десятки мелких стеклышек, застрявших в коже и черепе. Дотрагивается до век. И сразу же отдергивает руку. Глаза...

Он знал это. Но боялся поверить. Он сжимает зубы и опускает руку на штурвал.

– Штурман... – говорит он, – штурман, вы не ранены?

– Нет! Командир, что с вами?

– Стрелок... вы... живы?

Он задыхается, но не дает боли усыпить себя снова.

– Стрелок!

Никакого ответа. А может, он и был, только пилот не услышал. Потому что в голове у него работает паровой молот: бух-бух-бух...

– Командир, что с вами? – настойчиво спрашивает штурман. – Почему вы не отвечаете? Командир!

– Экипажу приготовиться оставить машину, – приказывает пилот.

Он совершенно спокоен. Он знает, что произошло, и что нужно делать. Он отдает четкие, разумные распоряжения. Единственно возможные в их положении. И он знает, что успеет сделать все необходимое до того, как тело откажется ему повиноваться.

– Командир, что с вами? Вы ранены? Или попали в прожекторный луч?

– Послушайте, штурман...– медленно выговаривает слова пилот разбитыми губами. – Это не луч. Они вышибли мне глаза. Я... больше ничего не могу. Приготовьтесь...

– Нет! – с яростью кричит штурман. – Нет! Командир... нас не так просто угробить! Чуть накрените машину влево и дайте левой ноги... чуть-чуть... Так! Командир, держитесь! Мы выберемся!

Чернота снова надвигается на пилота, а стенки кабины сжимают голову.

– Штурман...– шепчет пилот, – штурман... попробуйте связаться со стрелком...

Он слышит голос штурмана как сквозь вату:

– Стрелок! Сержант Кузнецов!

Отвечает тот или нет? Нужно во что бы то ни стало связаться со стрелком. Обязательно. Сказать ему что-то важное, без чего он не может... не может... Ах, да. Вспомнил.

– Штурман, прикажите стрелку прыгать. И прыгайте сами. Вы слышите?

– Нет! – кричит штурман. – Командир, уберите левый крен!.. Так, хорошо! Достаточно! Командир, мы идем домой! Вы слышите? Мы взяли курс домой. Все будет хорошо! Держитесь, командир!

Этот неприятный, назойливый голос! Зачем? Он все рассчитал правильно. Тело уже не слушается его. Он не чувствует рук, не знает, чем они заняты. Он рассчитал... Да, правильно, он должен сделать единственное, что еще может, – спасти экипаж. Все остальное он сделал. Так зачем же этот голос?

– Командир, мы ушли от Кенигсберга! – бубнит и бубнит у него над ухом, не давая отдохнуть, не давая уйти от боли. – Вы слышите? Мы идем домой! Командир, продержитесь немного. Продержитесь до Белоруссии. До Белоруссии, вы слышите? Там мы что-нибудь придумаем...

«Белоруссии... Белоруссии... Белоруссии...» Хоть бы все это быстрее кончилось! «Белоруссии...» Что это такое? Что-то очень знакомое, но пилот не может вспомнить – что. «Беларусь...»

– Продержитесь, командир! Слышите? Нам нужно обязательно продержаться! Слышите, командир?

– Да... слышу. Штурман... в каком положении машина?

– Все в порядке, командир! Держитесь! – Голос штурмана становится отчетливее. – У вас в кабине справа аптечка. Вы слышите? Справа на борту – аптечка! Возьмите бинт и перевяжитесь! Выпустите штурвал из правой руки и перевяжитесь! Пере-вя-жи-тесь!

Да-да. Надо перевязаться. Обязательно...

Пилот выпускает штурвал из руки и тянется к борту. Он нащупывает бинт. Потом зубами разрывает его. В кабине воеет воздушный поток. Это сквозь пробоину. Он леденит пилота. И он же заставляет его держаться.

Пилот ощупью, осторожно вытаскивает несколько осколков, застрявших в коже щек. Потом берет конец бинта в зубы и правой рукой начинает перевязывать голову. Пальцы слиплись от крови, кровь на куртке, весь бинт пропитан ею, как губка. Голова раскалывается. Но пилот должен долететь до Белоруссии...

– Штурман, осмотрите машину...

...Когда майор Козлов узнал, что полковник отдал капитану Добрушу штурмана и стрелка из его экипажа, он пришел в бешенство.

– Авантюрист! – выкрикнул он. – Если бы Назарову с Кузнецовым приказали лететь с тобой... но ты воспользовался тем, что они не решатся тебе отказать! Как ты смеешь брать на себя такую ответственность?!

– Я не боюсь никакой ответственности, Козлов, – устало ответил Добруш. – И отвязитесь, наконец, от меня, вы мне надоели. Я приведу машину обратно.

«Я приведу машину обратно...»

– Самолет как будто в порядке, командир, – сообщает штурман.

– Пробоин, наверно, много, но жизненные центры не затронуты. Моторы пока работают хорошо, течи масла не заметно.

– Что... со стрелком?

Закончив перевязку, он откидывается на спинку сиденья.

– Я слышал стук его пулеметов всего несколько минут назад. Значит, он жив. Но с ним нет связи.

– Попробуйте... пневмопочту.

– Не работает.

– Штурман... выводите машину на курс...

– Машина на курсе, командир. Мы идем домой.

– А... хорошо.

– Продержитесь до Белоруссии, командир.

– Как высота?

Штурман сообщает:

– Две тысячи. Мы долго падали.

– Мы идем с набором или снижаемся?

– Идем нормально, командир.

– Штурман... командуйте... набор... Нам нельзя...

Снова чернота протягивает к нему свои щупальцы и пытается выбросить из жизни.

– Набор! – кричит пилот. – Набор, штурман!..

Он не помнит, почему им нельзя идти на малой высоте, но твердо знает, что нельзя.

– Не так резко, командир! – поспешно говорит штурман. – Чуть отдайте штурвал от себя... Так, хорошо! Как вы себя чувствуете?

– Ничего... ничего... штурман... – бормочет пилот. – Ничего...

– Командир, вы перевязались?

– Да!

– Пока отдохните. Потом перевяжетесь лучше. У вас там осталось еще два бинта...

– Штурман, если я потеряю сознание...

Нет. Об этом не следует говорить. Если он потеряет сознание, штурман сам узнает об этом. Но он не имеет права терять сознание. Он отвечает за экипаж. Он отвечает...

– Штурман, что со стрелком?

– Пока не знаю, командир.

– Попробуйте узнать.

– Я пробую, командир...– Назаров на мгновение смолкает, потом спрашивает: – У вас кислород в порядке? Шланги целы? Проверьте...

«Ах, какой ты заботливый, штурман... Ладно, спасибо».

– Проверил. Нормально. У вас?

– В порядке.

– Пока не свяжетесь со стрелком... штурман... пока не свяжетесь...– Он снова вырывается из черного плена и продолжает: – Больше пяти тысяч не набирать...

– Да, командир. Понял, командир. Вы не забыли переключить баки?

Это он забыл. Пилот тянется к переключателю. Потом обессиленно откидывает голову на спинку сиденья...

## 17

Первой мыслью штурмана, после того как он узнал, что пилот потерял зрение, было дотянуть до Белоруссии. Конечно, оставлять самолет над оккупированной территорией – перспектива не из приятных. Но там была бы хоть какая-то надежда скрыться, связаться с партизанами или пробиться на восток. Теперь этот вариант отпадает.

Пилот не выбросится с парашютом, потому что не захочет остаться в машине стрелка. А он, штурман, один прыгать тоже не станет. Вот и все.

Рассчитать наивыгоднейший режим полета и постараться не дать пилоту потерять сознание – вот все, что еще может сделать штурман. Но если даже летчик сможет продержаться до конца полета – это ничего не меняет. Они обречены. Слепому пилоту не посадить машину. Это-то штурман отлично понимает. Даже для здорового человека посадка – самое сложное.

Можешь рассчитывать скорость, высоту, маршрут, экономить горючее, искать попутный ветер, обходить вражеские ловушки, отбиваться от истребителей – все равно приговор вынесен.

Думать об этом не следует. Пока работают моторы, пока пилот не потерял сознание и пока в руках штурмана карта и навигационная линейка, им остается одно – лететь. И пытаться связаться со стрелком.

Штурман испробовал уже все средства – связи со стрелком нет. Возможно, он погиб. Может, ранен и потерял сознание. Может, выбросился с парашютом. Все может быть...

«Ну что ж, – думает штурман. – Я сделаю все, что от меня зависит. И если это даже ни к чему не приведет, я, по крайней мере, буду знать, что держался до последнего».

Так он разрешил для себя задачу. Не лучшим образом, он это понимал, но что еще сделаешь в его положении?

Звезды становятся ближе и крупнее. Они уже не мерцают, их свет ровен и колюч. Справа, на юге, сияет огромная луна. Луна-помощница и луна-предательница. С ее помощью штурман видит горизонт и может контролировать положение машины. Но она же превращает самолет в отчетливо видимую мишень.

Стрелка высотомера подползает к цифре «5».

– Командир, дайте штурвал чуть от себя, – говорит штурман. – Еще чуть-чуть... стоп! Хорошо, командир. Мы набрали пять тысяч.

– Понял.

На высоте пяти тысяч метров они, хоть и с трудом, еще могут дышать. На этой высоте еще можно не прибегать к кислороду в баллонах...

Штурман слышит хрипкое дыхание пилота. Он представляет, насколько трудно капитану Добрушу вести машину. Здоровый пилот может передохнуть, полегоньку работая штурвалом и педалями и тем самым расслабляя мышцы. Сейчас же он, не имея ни малейшего представления о положении машины в воздухе, вынужден каменно держать то положение штурвала и педалей, в котором застала их команда штурмана. Это в миллион раз тяжелее, чем при полете по приборам. Там есть хоть какие-то ориентиры – стрелки приборов, огоньки лампочек... Сейчас – ничего. Чернота. И боль.

– Командир, прибавьте чуть газу. Еще... Стоп, хорошо!

– Какая скорость?

Пилот дышит со свистом.

– Двести восемьдесят по прибору, – сообщает штурман. – Путевая триста тридцать.

– Хватит нам горючего?

Хотел бы штурман сам знать это! Если ветер не изменится – должно хватить. Но если он ослабнет или изменит направление... К тому же неизвестно, не пробиты ли баки и выдержат ли они...

Но он говорит:

– Да, командир. Хватит.

– Ну... ладно.

Они идут на восток – вот все, что пока знает штурман. Пока они были на боевом курсе, ускользали от прожекторов и зениток, падали, а потом приходили в себя, штурман потерял ориентировку. Теперь ее надо восстанавливать. Каждая минута промедления – перерасход горючего, кислорода, масла...

– Командир, вы сможете поддержать режим? – спрашивает штурман.

– Попробую.

Штурман берет в руки секстант.

Какую звезду визировать? Ладно, Арктур. Сегодня он хорошо виден, а расчеты по нему менее сложны, чем по планетам. Штурман крепче упирается ногами в пол кабины.

– Дайте крен влево... Стоп! Теперь немножко правой ноги... Достаточно! Режим, командир!

Штурман ловит звезду видоискателем и пускает секундомер. Арктур чуть подрагивает в крошечном пузырьке в центре поля.

Многие штурманы с большим недоверием относятся к расчетам по звездам. Назаров знал таких, которые утверждали, что восстанавливать ориентировку по звездам – все равно что гадать на кофейной гуще. Отчасти страх перед звездами у них был связан с тем, что расчеты по ним действительно сложны, но главное – при этом способе недопустима даже малейшая небрежность, иначе можно получить ошибку в сотни километров.

Назаров доверял звездам. В свое время он потратил не один месяц, чтобы в совершенстве овладеть этим искусством, и теперь легко

управлялся с секстантом и астрономическими таблицами. Поэтому он терпеть не мог, когда при нем пренебрежительно отзывались о «звездочетах».

Пилот ведет машину так, как не вел ее ни один летчик, с которым штурману приходилось летать раньше. Штурман стискивает зубы. Ах, сволочи, что они с ним сделали...

– Промер окончен, командир. Спасибо.

Штурман записывает результаты визирования в бортжурнал.

– Как вы себя чувствуете, командир?

– Ничего...

По его голосу штурман понимает, насколько пилоту плохо, каких усилий стоит ему не сорваться, не потерять голову, управляться со штурвалом, педалями, тумблерами, переключателями... Если бы он мог хоть чем-то помочь командиру! Если бы они находились в одной кабине или хотя бы имели доступ друг к другу...

Штурман засовывает секстант в чехол и берется за таблицы. Потом прокладывает на карте линию.

– Командир, поверните вправо двенадцать...

– Понял, двенадцать. Следите.

Самолет кренится, разворачиваясь на нужный курс.

– Стоп! – говорит штурман. – Так держать, командир.

– Понял.

– Командир, подходим к Сувалкам. Скоро будем над Белоруссией.

Все эти сведения пилоту не нужны, штурман прекрасно понимает. Но он понимает и то, что любыми средствами должен держать Добруша в напряжении. Должен что-то говорить, чтобы тот сосредоточил внимание на полете, а не на боли и слепоте. Если он перестанет напрягать свою волю, свои силы, сознание может незаметно покинуть его, и тогда все расчеты ни к чему...

Поставив точку на карте, штурман прокладывает прямую линию до Минска. Это кратчайший путь. Потом он еще раз уточнит место самолета и проложит такую же линию до аэродрома.

– Поверните чуть вправо, командир... Еще... Хорошо! Маленький крен на левое крыло... Стоп! Держите так, командир.

– Постараюсь. Штурман...



- Да?
- Вы все еще не связались со стрелком?
- Нет, командир. Пока не связался.
- Постарайтесь что-нибудь придумать. И говорите о чем-нибудь. О чем угодно.

Пилот дышит часто и хрипло, слова звучат невнятно. «Дело плохо», – думает штурман. Если пилот просит его говорить, значит, дело из рук вон плохо. Значит, он сам чувствует, что в любой момент может потерять сознание.

- Командир, вам нужно еще перевязаться, – говорит штурман.
- Вы слышите меня? Возьмите бинт из аптечки и перевяжитесь.
- Да. Понял.

18

«Бинт... да, нужно взять бинт, – вяло думает пилот. – Нужно...»

Штурвал жжет ладони. Спина одеревенела, а руки и ноги пилот ощущает как часть тела лишь по временам. Мысли путаются.

Пилот немного сдвигает на штурвале правую руку и потом сжимает его еще крепче. Он забыл, что должен был сделать. И эта гнетущая чернота...

«Пилоты, безответственно забывая выключать в полете колеса, допускают перерасход горючего...»

Откуда это? Что за чушь?

«Пилоты, забывая...»

Губы пилота растягиваются в непроизвольной ухмылке. Ах, да. Святая заповедь тех, кто в авиации ни черта не смыслит. Когда-то летчикам ее выдал замполит, даже не подозревая о том, что никаких двигателей, которые бы вращали колеса, не существует и существовать не может. Добруш вздрагивает. Холодная волна ужаса прокатывается по телу: «Схожу с ума!»

«Пилоты, забывая...»

– Прекратить! – орет он. – Прекратить!

– Командир! Что с вами?! Командир!

Пилот приходит в себя. Он пытался сбросить привязные ремни

и вскочить на ноги. Тяжело дыша, он сползает по спинке сиденья, медленно расслабляет сведенные судорогой мышцы.

– Командир! – зовет штурман.

– Смесь, – бормочет пилот. Потом говорит более твердо: – Слишком богатая смесь... Надо отрегулировать.

Штурман облегченно вздыхает:

– Простите, командир. Я забыл вас предупредить...

– Ничего...

Пилот забыл отрегулировать подачу воздуха от нагнетателей в смесительные камеры моторов. Это надо было сделать сразу, как только они набрали высоту. Это поможет сэкономить горючее.

Пилот подается вперед и медленно, осторожно регулирует подачу воздуха. Потом переносит руку на штурвал.

– Командир!

– Я слушаю, штурман.

– Вы взяли бинт? Вы перевязались?

Ах да. Надо перевязаться.

– Сейчас, – бормочет пилот. – Сейчас...

Он поднимает руку и начинает ощупывать борт кабины. Аптечка... Вот она. Зачем она ему нужна?

– Вы нашли бинт? – спрашивает штурман.

Да, правильно. Бинт. Отчего у него все лицо мокрое и липкое? И шея... Что-то ужасно давит...

– Возьмите конец бинта в зубы!

Сильно мешает кислородная маска. Как же он возьмет бинт? Ах, да, надо ее сбросить. Сейчас...

– Командир, просуньте конец бинта под маску! – приказывает штурман. – Вы помните, на какой мы высоте? Пять тысяч! Здесь недостаточно кислорода! Будьте осторожны с маской!

Когда же это все кончится!..

Он просовывает бинт под маску и сжимает зубами конец. Потом медленно заматывает его вокруг головы.

Мешает шлемофон. Мешает маска. Пальцы не слушаются.

Боль наваливается многотонной глыбой. От нее невозможно скрыться. От нее нет спасения. И когда пилот заканчивает перевязку, он чувствует себя обессиленным и опустошенным.

– Командир, вы перевязались?

– Да.

– Дайте чуть штурвал от себя.

– Ладно.

Он пытается шевельнуть руками, но не чувствует их. Выполнил он команду штурмана или нет? В каком положении машина?

– Командир, вы слышите меня? Дайте чуть штурвал от себя!

– Разве я не дал?

– Нет!

– Даю.

Безнадежно. Он не чувствует рук.

– Вот теперь хорошо, – говорит штурман.

Значит, он все-таки дал штурвал...

## 19

Гул моторов сливается с воем воздушного потока в кабине. Во рту сладковатый, приторный вкус крови. Удары сердца кажутся оглушительными, оно готово выскочить из груди. Мир стал ограниченным, он весь из боли и черноты. Машина, которая всегда давала ощущение необъятности пространства, сейчас сжала его до размеров детской игрушки. Мир – это ручки штурвала. Только они одни и существуют. А может, даже их нет, потому что все чаще наступают провалы, когда пилот не ощущает их ребристой поверхности.

С первого дня войны в каждом вылете рядом с пилотом шла смерть. Но он не думал об этом. Когда управляешь такой совершенной и сложной машиной, как самолет, невольно появляется иллюзия, что ты все можешь, что только от тебя, от твоего умения, твоей воли зависит победа и жизнь. Чуткая, быстроходная и грозная машина послушно выполняет малейшее желание пилота, стремительно ввинчивается в небо или кометой несется к земле. Да разве можно, управляя таким чудом, поверить, что тебя собьют? Пока тебя обнаружат, пока прицелятся, пока дадут залп, ты уже обнаружил противника, прицелился, обрушил ему на голову бомбовый груз, прошел ливнем пуль и снарядов и растаял в небе. Кроме того, за эти полчаса – час ты проделал столько эволюций, выполнил такой объем фи-

зической, умственной и нервной работы, с которым простой смертный в обыкновенных условиях управился бы разве за неделю. И у тебя не было возможности не только подумать о том, что тебя могут покалечить или убить, но даже соотнести все происходящее с собой.

Великолепная машина – боевой самолет! Даже если бы конструкторы специально поставили перед собой задачу создать нечто, превращающее человека в героя, они не смогли бы выдумать ничего лучшего. Военный самолет начинен таким количеством приборов, агрегатов, систем управления, что на мысли о чем-нибудь другом, кроме них, у летчика не остается ни одной свободной секунды. Каждое мгновение он должен держать в центре внимания минимум десяток приборов, решать по крайней мере шесть-семь задач и делать десяток движений. Это – в спокойном полете. Во время боя интенсивность работы возрастает раз в пятнадцать...

Зато когда пилот оказывается вдали от опасности, на земле, и вспоминает, что ему пришлось пережить в воздухе, он порой с ужасом думает о том, что через несколько часов все это предстоит повторить сначала.

Так было с капитаном Добрушем. И все же, если бы он во всем этом не участвовал, он чувствовал бы себя самым несчастным человеком на земле. Он не находил себе места, когда его отстранили от полетов и решался вопрос о его летной пригодности. Когда он добился перевода в бомбардировочный полк, он был счастлив, потому что не мог оставаться в стороне, в то время как враг топтал его землю.

Он понимал всю опасность полета на Кенигсберг, но, после того как было решено, что этот вылет сделает именно он, Добруш был бы убит, если бы задание вдруг отменили. И не потому, что в случае успеха его ожидали почести, вовсе нет. Награды – а он был награжден двумя орденами – капитан Добруш принимал со сложным чувством радости и стыда. Радости за то, что в меру своих сил помог громить врага, и стыда, что это была как бы оплата того, за что платить никак не полагается. Это все равно что взять плату с человека, которого только что полумертвым вытащил из воды.

Успешный полет на Кенигсберг – это уверенность в разгроме врага, это предвестник победы. Вот что означал этот полет для капитана Добруша.

Стремление во что бы то ни стало выполнить задание настолько овладело пилотом, настолько подавило все остальные чувства, что и сейчас, слепой, полумертвый, он жил им, действовал по заложенной еще на земле перед вылетом программе, хотя и не сознавал этого. Память тела оказалась сильнее памяти мысли, и тело действовало так, как надо, даже тогда, когда мысль переставала служить пилоту.

«Я... нахожусь в кабине самолета... который... который идет с задания... – тяжело, медленно думает пилот. – Я управляю бомбардировщиком... Но почему я не чувствую своих рук? Нельзя управлять самолетом, не чувствуя рук... Что-то с ними произошло. Это очень странно. Но я слышу, как работают моторы... Как же они работают, если у меня нет рук? Мне надо выяснить, что произошло с ними...»

Мысли путаются, но пилот напрягает всю свою волю и продолжает думать:

«Что произошло с руками... Что это такое? А, это воздух... Воет воздух, который... – Мысль ускользает, но он снова нащупывает ее и, как вол, тяжело тащит дальше: – ...Воет воздух, который врывается... врывается... снаружи. Очень холодно. Мне очень холодно. Откуда взялся воздух, ведь его не должно быть...»

Кажется, он вот-вот поймет что-то важное, очень важное, но оно не дается, ускользает, колеблется, уходит. Пилот дрожит от холода и напряжения. Он снова взваливает на себя непосильный воз и тащит его по рытвинам путающегося сознания:

«Холодно... В кабине очень холодно. У меня все замерзло... замерзли руки... Да, руки. Чего-то у меня нет. Чего-то не хватает... не хватает на руках...»

«Перчатки!» – вспоминает он.

Он долго думает, что должен сделать с перчатками. Потом осторожно выпускает из левой руки штурвал, склоняется и начинает шарить по полу кабины. Ему неудобно, он боится неосторожно дернуть правой рукой штурвал и перевернуть машину, но упорно обыскивает пол. Наконец он находит под собой перчатку. Прижимая ее к бедру, он целую вечность пытается натянуть ее на одеревеневшие, пальцы. После нескольких неудачных попыток он справляется с этой задачей и начинает все сначала – теперь уже с правой рукой. Найдя и вторую перчатку, он откидывается на спинку сиденья и отдыхает.

Он чувствует покалывание в пальцах, перерастающее в боль. Но боль эта слабая и непонятная, она вызывает у пилота лишь мгновенное недоумение – это еще откуда? – и он тут же забывает о ней. Он уже привык к тому, что в его теле нет ни одной частички, которая не кричала бы о боли, и принимает боль в руках как нечто само собой разумеющееся. Зато сейчас он чувствует штурвал.

– Командир, как у вас дела? – слышит он голос штурмана.

– Ничего, лучше... – говорит он. – Штурман, почему мне ничего не докладывает стрелок? Я давно не слышу его.

– Со стрелком нет связи, командир...

– Так почему вы не свяжетесь?

– Я все время пытаюсь, командир...

– А... Ладно. Штурман... кем стрелок был до войны? – спрашивает пилот.

– Что-о?!

В голосе штурмана звучит изумление.

– Я спрашиваю, кем стрелок был до войны. Вы что, не понимаете?

– Не знаю, – растерянно говорит штурман. – Кажется, музыкантом. Или собирался им стать... А что?

– Ладно, – говорит пилот. – Ничего.

Он и сам не знает, почему это спросил. Может, потому, что это из того далекого, что называется жизнью...

## 20

Сергей Кузнецов никогда не собирался стать музыкантом. Он родился и жил в одной из глухих деревушек Гаринского района Свердловской области. Единственным музыкальным инструментом на всю деревню была балалайка старого Антипа, на которой сохранились две струны. Для третьей долго пытались найти где-нибудь кусок стальной проволоки, но так и не нашли.

Сергей Кузнецов не научился играть даже на балалайке. Но песни любил петь, может, поэтому штурман и решил, что он музыкант.

Он очень мало успел за свои девятнадцать лет. Окончил десять классов и влюбился в девушку. Он так и не посмел объясниться ей в любви. Решил, что сделает это, когда вернется с войны героем.

Стрелок-радист был маленького роста, никогда не занимался спортом и поэтому не отличался большой силой. У него были маленькие руки, которые он даже в драках с уличными мальчишками не пытался сжимать в кулаки – все равно таким кулачком не повергнуть противника. Да он и не был драчливым по характеру. Об этом говорили и его застенчивые голубые глаза, и смущенный вид, когда он попадал в компанию более самоуверенных и развязных сверстников, и дрожащий голос, когда разговаривал с начальством.

Уверенно он чувствовал себя только за рукоятками пулемета и телеграфным ключом. Тогда он становился сильным, хитрым, расчетливым, находчивым. Может, у его противников были и более мощные бицепсы, и более острые и нахальные глаза, но в воздухе до сих пор стрелок всегда побеждал их.

До сегодняшнего вылета война для стрелка была острым захватывающим приключением. Потому что он не успел понять всего ее ужаса. Еще вчера он был уверен, что Красная Армия со дня на день перейдет в наступление и безостановочно погонит врага на запад. Еще вчера он сожалел, что так и не успел заслужить ордена и ему нечем будет похвастаться перед односельчанами и перед девушкой.

Сейчас он не думал о наградах. Он увидел тысячи километров опустошенной земли, он побывал над логовом врага, он заглянул в лицо смерти. Он пережил страх, но в нем родилась ненависть. Война перестала быть приключением. Она превратилась в тяжелую, смертельно опасную работу, требующую всех сил, всего умения, всего напряжения.

А он, стрелок, сделал непростительную глупость. Он превратил свой пулемет в бесполезную игрушку.

– Командир! – зовет он.

Молчат наушники.

– Штурман! Товарищи капитаны!..

Молчание.

Он ведет рукой по шнуру переговорного устройства, трогает разъем. Обрывов нет, все в порядке. Обрыв где-то там, куда стрелку не добраться. Он дергает за трос пневмопочты, но и пневмопочта не работает. Трос легко выскальзывает из гнезда и падает на пол кабины.

Что же делать? Как предупредить командира и штурмана, что у него почти не осталось патронов?

А если – вражеский истребитель? Они будут надеяться на стрелка. Стрелок же не сможет ни отбиться, ни предупредить об опасности.

Стрелок с ненавистью смотрит на луну. Она сияет так, что на правом крыле самолета хоть заклепки считай. И на всем небе ни единого облачка, ни одной тучки.

Стрелок поворачивает голову и напряженно всматривается в северную часть неба. Если противник появится с юга, он вряд ли обнаружит бомбардировщик на темном фоне неба. Но если с севера...

Стрелок содрогается. Он отлично представляет, как выглядит их самолет на светлой части неба. Громадная черная машина, медленно ползущая на восток, – лучшую мишень трудно найти.

Какую же непростительную глупость он допустил! Как он мог так легкомысленно расстрелять боекомплект?! Так легко смириться с поражением?!

Стрелок до рези в глазах всматривается в колющий свет северных звезд. Именно среди них могут появиться движущиеся точки выхлопных огней самолета противника...

– Командир! – зовет он в тысячный раз и знает, что ответа не получит. – Штурман!.. Дышать становится трудно. В висках сильно стучит кровь. Холод леденит тело. Стрелок натягивает кислородную маску. Живительная струя обжигает губы...

Самолет дает ему жизнь. А он по собственной глупости приговорил его к смерти. Ведь ясно же – такой командир и такой штурман не могли допустить, чтобы их сбили. Они падали, уходя от прожекторов, от зениток, от истребителей. А он устроил панику и расстрелял боекомплект.

Хоть бы все обошлось. Хоть бы их не заметили истребители. Хоть бы...

Его лихорадочная мольба обрывается на полуслове. Справа, на юге, на фоне светлого неба он отчетливо видит силуэт самолета. Он еще далеко, сзади, но он догоняет их.

Пока он молил неизвестного бога о том, чтобы избежать встре-



чи с вражеским истребителем, глаза обнаружили чужой самолет, руки развернули пулемет в его сторону, а перекрестие прицела указало точку, куда надо стрелять, чтобы ударить наверняка.

Ах, если бы можно было посоветоваться с командиром... Что сейчас делать стрелку? Бить по самолету последними патронами? Подождать?

Стрелок медлит. Он знает, что попал бы – чужой самолет уже совсем рядом, до него едва ли двести метров, а он сбивал их и с четырехсот.

Стрелок сжимается в комок и ведет ствол пулемета – медленно, осторожно, чуть впереди вражеского самолета. Ждет.

«Проскочи... пройди мимо... не заметь...»

«Пожалуйста, иди своей дорогой... я ведь тебе не мешаю... пожалуйста...»

Самолет приближается. На его крыльях отчетливо видны аэронавигационные огни.

Истребитель. Это не транспортник, не бомбардировщик, это – истребитель.

«Ну, пожалуйста», – умоляет стрелок, глядя на самолет жалобными глазами.

Неужели заметит? Он должен пройти стороной. Неужели заметит?

Палец стрелка подергивается на гашетке, на лбу проступает пот, пот течет под комбинезоном. И сердце грохочет так, что удивительно, как его ударов не слышит немецкий летчик.

Самолеты поравнялись. Теперь стрелок уже совершенно точно знает, что это истребитель «Me-109», вооруженный пушками и пулеметами, и что если он сейчас опознает бомбардировщик, то никакое искусство стрелка не спасет их. Между вражеским истребителем и бомбардировщиком расстояние не больше ста метров. Единственное, что успеет стрелок, – дать одну очередь. Но нужно время, чтобы она сделала свое дело, чтобы начали ломаться шатуны и подшипники, а огонь как следует взялся за машину. А времени-то как раз и не будет. Немец успеет разнести бомбардировщик из пушек. На ста метрах он не промахнется.

«Ну, пожалуйста...» – просит стрелок.

И немец слушается его. Он проходит рядом, обгоняет израненную машину, и огонь от выхлопных патрубков, уменьшается, пока совсем не исчезает среди звезд.

Стрелок опускается на сиденье.

## 21

Штурман самолета – это мозг экипажа. В его обязанности входит сбор данных о скорости и направлении ветра, сносе машины, об облаках, воздушных потоках и многом другом. Все эти данные он должен проанализировать, сопоставить и выдать командиру в виде трех цифр: курса, высоты и скорости полета. Это все, что пилоту нужно, чтобы управлять машиной.

Штурман же с момента взлета и до посадки должен в любое мгновение знать местонахождение самолета, время полета до цели, расход горючего, его запас, вносить поправки в курс, скорость и высоту, иметь готовое решение на случай ухода на запасной аэродром из любой точки маршрута. Он должен привести самолет к цели в точно определенное время – ни секундой раньше, ни секундой позже, рассчитать высоту и скорость бомбометания, определить точку сброса и вывести в нее машину, а потом отбомбиться. После всех эволюций по выводу машины из зоны огня штурман обязан восстановить ориентировку и рассчитать данные на обратный маршрут.

За редкими исключениями у штурмана нет времени любоваться красотами природы. Красоты природы на штурманском языке именуются элементами полета. Вон то великолепнейшее озеро, вызвавшее бы крик восторга у любого путешественника, для штурмана – исходный пункт маршрута. Излучина тихой, охваченной рябиновым пожаром реки служит контрольным ориентиром. Разбушевавшаяся стихия грозовой тучи – препятствие на пути следования. Барашки кучевых облаков – это не барашки, это восходящие и нисходящие потоки, бол-танка, и штурман должен трезво оценить прочность крыльев своей машины, прежде чем дать пилоту курс для дальнейшего следования.

Анализ и расчет, расчет и анализ – вот красоты, которым поклонялся штурман Назаров.

Он никогда не спрашивал себя, нравится или не нравится ему его работа. Она была необходима, следовательно, он должен был выполнять ее с наибольшей тщательностью и добросовестностью. Его радовали не ощущения, испытываемые в полете, и не явления природы, которые он имел возможность наблюдать. Он одобрительно отзывался о полете, если удавалось провести машину по маршруту с точностью до градуса, выдержать время с точностью до секунды и сбросить бомбы с точностью до метра.

Ремесло наложило свой отпечаток и на его подход и оценке людей. Его не занимали, например, такие определения, как хороший или плохой, добрый или злой. Когда ему характеризовали человека подобным образом, он только морщился и пожимал плечами. Люди делились для него на две резко разграниченные категории: на тех, кто умел работать, и на тех, кто не умел. Если человек мог ровно и спокойно, не поддаваясь никаким эмоциям, делать свое дело, он заслуживал всяческого уважения. Если же штурман замечал за ним небрежность или недобросовестность, такой человек переставал для него существовать.

Способность логически мыслить, трезво оценивать обстановку и добросовестно выполнять свои обязанности – вот что превыше всего ставил штурман в человеке.

Но странное дело. С того момента, как пилот сообщил ему, что потерял зрение, все эти ценности в глазах штурмана начали стремительно и бесповоротно тускнеть. Не то чтобы он совершенно от них отказался, но он обнаружил и другие ценности, не менее, а, может быть, более существенные.

Штурман никогда не был в близких отношениях с капитаном Добрушем, тем не менее, испытывал к нему самое большое уважение, на какое только был способен. Хотя в полку о пилоте говорили разное – и хорошее и плохое, – штурман наметанным глазом довольно быстро обнаружил в нем в самой высокой концентрации все те качества, на которых строилось отношение Назарова к окружающим. Пилот Добруш был воплощением трезвого подхода к делу, расчетливости, добросовестности. Он умел работать.

Еще в первые дни пребывания его в полку штурман сказал себе: «Вот пилот, с которым я хотел бы летать». И когда Добруш

предложил ему полет на Кенигсберг, он не колебался ни секунды. Решение подсказали ему логика, трезвый расчет и здравый смысл.

Теперь эти безотказные инструменты не годились для оценки их действий. Следуя трезвому расчету, пилот после команды «Приготовиться к прыжку!» должен был дать команду «Прыгайте!»

Он не дал ее.

Следуя здравому смыслу, в создавшейся обстановке штурман мог прийти только к одному выводу: слепой пилот не в состоянии вести машину и он, штурман, должен как можно быстрее оставить самолет. Он не оставил его.

Следуя логике, задачу можно было решить только однозначно: бомбардировщик № 33 и его экипаж уже около часа тому назад прекратили свое существование.

Но они ушли от Кенигсберга и приближались к Белоруссии.

После того как пилот потерял зрение, полет строился на новых для штурмана законах и отношениях. Главным стало что-то другое, не поддающееся расчету.

Об этом свидетельствовала не только нераздельная общность, появившаяся между ним, штурманом, и пилотом, когда им не нужно было слов, чтобы понимать друг друга, не только ощущение причастности к чему-то величественному, рождающемуся на его глазах, но даже и то, что, несмотря на весь ужас их положения, штурман не испытывал ужаса.

Летая с майором Козловым, штурман никогда не чувствовал себя спокойно.

Уходя даже на самое легкое задание, он не был уверен, что вернется обратно.

Майор Козлов не умел держать машину на курсе, что вызывало у штурмана напряжение и нервозность. Но даже не это было самым неприятным. Стоило самолету попасть в зону огня, как с пилотом начинало твориться что-то необъяснимое. Он словно деревенел и лез вперед напропалую, строго по прямой, не обращая внимания ни на огонь зениток, ни на боевой порядок, ни на команды штурмана. Не умея держать точный курс в спокойной обстановке, тут он не отклонялся ни на градус, и только чудо спасало экипаж от бессмысленной гибели. Каждый раз, видя, как этот сумасшедший

лезет в самое пекло даже без малейших попыток защититься, штурман прощался с жизнью. Для того чтобы победить, одних чудес недостаточно, это-то штурман прекрасно понимал.

Он был уверен, что рано или поздно майор Козлов угробит и машину, и экипаж.

Штурман не был трусом. Он готов был пойти на любой риск, если это вызвано необходимостью. Но он хотел, чтобы люди, с которыми он работает, защищались до конца.

В полетах с майором Козловым штурмана никогда не покидало предчувствие беды. Ему казалось, все дело в том, что майор Козлов не умеет летать. Но сейчас он вдруг понял, что дело было и в нем, штурмане. В их экипаже не было того главного, без чего нельзя победить и о чем штурман начал догадываться лишь сейчас. Хотя, конечно, какое-то смутное беспокойство и неудовлетворенность тревожили его и раньше.

Это не было ясно осознанным пониманием, которое можно было бы выразить словами. Но для штурмана оно было почти осязаемым. Вот сейчас он, пожалуй, сумел бы помочь майору Козлову.

Когда родилось это чувство? Возможно, в тот момент, когда пилот спросил его о довоенной профессии стрелка. А может, еще раньше, когда он сказал: «Они вышибли мне глаза». Ведь даже тогда штурман не почувствовал дыхания смерти, как чувствовал ее в самых безобидных полетах с Козловым.

Так или иначе, рождением этого нового чувства штурман был обязан пилоту Добрушу. Между ним и миром возникали новые связи, наполнялось содержанием то, на что раньше штурман не обращал внимания.

Бесконечная ночь крепко держит в своих объятиях одинокую машину. Ночь сплетена из звезд, луны и гула моторов.

Штурману этого мало. И он с удивлением обнаруживает, что глаза его жадно осматривают землю, отыскивая признаки жилья, хоть маленькую светящуюся точку. Отыскивают не как поворотный пункт или пятно для визирования. Он хочет убедиться, что там есть человеческое тепло, хочет услышать сигнал сочувствия и ободрения... Ничего подобного с ним раньше не случалось.

– Командир, как вы себя чувствуете? – спрашивает он. – Вам

лучше?

– Да. Лучше, – доносится до него голос пилота.

«Ему действительно немного лучше, – думает штурман с облегчением. И тут же мрачнеет: – Надолго ли?»

– Где мы находимся? – спрашивает пилот.

– Скоро Белоруссия.

– Машина... в каком положении машина?

– Все нормально, – поспешно отвечает штурман. Даже слишком поспешно. – Не беспокойтесь, командир. Машина в порядке. Если вы можете прибавить немного газу...

– Ладно.

И штурман чувствует, как увеличивается тяга. Его прижимает к спинке сиденья, линейка ползет по планшету. Он придерживает ее.

Ох, как пустынна земля! Она словно вымерла. Ни единого огонька до самого горизонта, ни единого движения, ни единого следа человека. Только серые пятна лесов едва проступают сквозь ночь. Может, уже вся земля умерла, может, единственное, что от нее осталось, – это серые пятна лесов?

– Командир, поверните влево.

Правое крыло приподнимается.

– Достаточно.

Машина начинает выравниваться.

– Еще чуть... хорошо!

Теперь они пройдут севернее Гродно, дальше от его зениток и истребителей. И от облаков.

Штурман пристально вглядывается в небо. Слева растет облачная стена. Штурман хорошо видит причудливые фантастические очертания, такие нереальные в лунном свете.

Они красивы. Но это кучевые облака, и штурман оценивает их теперь как элемент полета. Они вызывают в нем глухое раздражение. Он не может допустить, чтобы самолет попал в болтанку, и на пилота свалилась дополнительная тяжесть. Нужно успеть проскочить их.

– Командир, прибавьте еще чуть газу...

Какая же она мучительно необъятная, эта ночь!

Руки и ноги не слушаются пилота. Чтобы сделать самое незначительное движение, приходится сосредоточивать все силы и все внимание. Сначала – чтобы понять, какой частью тела необходимо сделать это движение. А потом повторять как заклинание: «Я сжимаю пальцы. Теперь беру штурвал на себя. Нужно согнуть руки в локтях...»

И он сжимает пальцы. Сгибает руки в локтях. Тянет штурвал. Или давит ногой на педаль.

Но самое страшное – ни на что не давить и ничего не двигать.

Тогда из пилота постепенно уходит жизнь. Он медленно, но неотвратно умирает.

– Штурман...– говорит он.

– Да? – откликается тот.

– Я хотел спросить... да, как у вас с кислородом?

– Нормально, командир. Идет.

– А у стрелка?

– Командир, с ним все еще нет связи.

– Так когда же она будет?

– Я стараюсь, командир...

Со стрелком нет связи...

Все безнадежно сломалось.

...Командир истребительной эскадрильи майор Добруш был переведен в бомбардировочную авиацию с понижением в звании и должности. Причиной тому послужила гибель полковника Голубева, который инспектировал истребительный полк. У полковника Голубева было немало прекрасных качеств, необходимых военному человеку. Он был требователен не только по отношению к другим, но в равной степени и к себе самому. Если было нужно, он не боялся идти на смертельный риск, не боялся сесть в машину и наравне с рядовыми пилотами сражаться против врага.

И, надо сказать, он неплохо дрался. На его счету было два сбитых самолета противника, хотя инспектирующему вовсе не обязательно принимать личное участие в боях.

Но, к сожалению, у него имелся крупнейший недостаток, ко-

торый превращал в ничто все его достоинства: в роли инспектирующего, в роли человека, призванного давать рекомендации, он никуда не годился. Во-первых, он полагал, что совершенно точно знает, как нужно воевать, чтобы выиграть войну, поэтому любые возражения для него теряли смысл, еще не успев быть высказанными. Во-вторых, у него был странный взгляд на ведение боевых действий: Голубеву казалось, что летчики слишком осторожничают, боятся риска, и если подразделение несло большие потери – это было в глазах полковника доказательством того, что оно хорошо, честно сражалось.

При проверке результатов последних боев истребительного полка Голубева сразу же насторожило, что потери в эскадрилье майора Добруша значительно меньше, чем в двух других.

– Бойтесь вступать в бой? – спросил он Добруша.

– Нет, товарищ полковник.

– Почему плохо воюете?

– Мы хорошо воюем, – возразил тот.

Возражать не следовало. Именно об этом говорил предостерегающий взгляд командира полка. Об этом же говорила и вся обстановка первого года войны, когда всем хотелось во что бы то ни стало обнаружить конкретных виновников неудач на фронтах и наказать их, чтобы выправить положение. Если бы Добруш промолчал, возможно, все обошлось бы. Но ему было слишком обидно за эскадрилью, которая сбила самолетов противника больше других, понесла при этом минимальные потери. Обидно за товарищей, которых в награду именуют трусами.

Полковник Голубев прищурился.

– Вы утверждаете, что хорошо воюете? Почему же в вашей эскадрилье самые низкие потери?

– Именно поэтому.

– Нет! – сказал тот. – Потому что вы уклоняетесь от боя.

Майор Добруш положил перед ним сводку последних боев.

– Эскадрилья сбила самое большое количество самолетов! – сказал он.

Полковник даже не взглянул на сводку. Он ее и так знал наизусть.



– Если бы вы хорошо воевали, количество сбитых самолетов было бы еще больше. У вас самое боеспособное подразделение в полку. В вашей эскадрилье самолетов столько же, сколько в двух других, вместе взятых.

Майор Добруш побледнел.

– В том, что они позволили свести себя к одной эскадрилье, вина не моя, – отчеканил он.

Этого ему не следовало говорить. Это было несправедливо по отношению к товарищам, которым меньше повезло. Но он был слишком раздражен и не мог сдержаться.

Полковник Голубев окинул его недобрый взглядом.

– Видимо, они в первую очередь заботятся о том, чтобы нанести противнику как можно больший урон, а не о своей безопасности, – сухо сказал он. – Не в пример вам. Можете идти, мы разберемся.

Добруш круто повернулся.

Он не знал, о чем говорили после его ухода командир полка Петров и инспектор Голубев. Видимо, подполковник Петров пытался рассеять неблагоприятное впечатление о своем командире эскадрильи. Как бы там ни было, взыскания не последовало. Зато случилось худшее. Вечером командир полка вызвал к себе Добруша.

– Вот что, Василь Николаевич, – сказал он. – Завтра Голубев хочет слетать с твоей эскадрилей на задание в качестве ведущего, чтобы посмотреть, на что она годится. Ты пойдешь у него ведомым... – Он помялся и отвел глаза. – До сих пор я не возражал, что твоя эскадрилья ходила парами и на высотах, превышающих требуемые. Тем более, что эти новшества оправдывали себя. Но я думаю, ты догадываешься, как отнесется к нарушению инструкции инспектор... Он твердо взглянул в глаза Добруша. – Приказываю в этом полете действовать строго по инструкции. Идите тройками и на указанной высоте.

– Андрей Иванович, – попробовал возразить Добруш, – боюсь, что это может дорого обойтись эскадрилье...

Но Петров прервал его:

– Сам виноват, дорогой. Не нужно было лезть в бутылку, все и утряслось бы. А что я сейчас могу сделать?

Эскадрилья вылетела на барражирование. Полковник подвел ее к линии фронта на высоте двух тысяч метров.

Не успели истребители развернуться, как сверху на них свалилось десятка два «мессершмиттов».

Полковник Голубев был доволен: эскадрилья пришла на место вовремя, патрулировала на заданной высоте, от схватки не уклонялась и в неравном бою уничтожила три вражеских самолета.

Добруш вышел из машины разбитым. То, что эскадрилья уничтожила три вражеские машины, его не радовало. Ведь он потерял двух очень хороших летчиков!

Он отворачивался от оставшихся шести товарищей, которые бросали на него недоумевающие и тревожные взгляды.

Что он им мог сказать? Потерять за двадцать минут двух летчиков – это же катастрофа!

Он ничего не сказал и полковнику Голубеву. Промолчал даже тогда, когда тот, похлопав его по плечу, сказал:

– Вот так надо воевать, майор!

Майор Добруш твердо знал, что так воевать нельзя.

– Отличные ребята! – продолжал полковник, не замечая состояния комэска. – Орлы! С такими фашистов можно бить и бить... Э, да ты что?! – воскликнул он вдруг, увидев хмурое лицо Добруша. – Неужели перетрусил? Так и есть, на тебе лица нет! Вот черт, а дрался ты здорово, даже не подумал бы... Как ты врезал этому желтоносику! Блеск! Ну, ничего, еще отойдешь... Ну, ну, чего хмуришься? Может, из-за вчерашнего? – легонько толкнул он Добруша в плечо. – Признаю, я ошибся. Твои ребята дерутся как черти. Я с удовольствием слетаю с ними еще раз.

Майора мгновенно прошиб холодный пот.

– Еще... раз? – спросил он хрипло.

– Это – настоящее дело, – сказал полковник, глядя в небо. – Честное слово, вернусь из поездки и стану проситься на полк...

Майор Добруш ворвался в кабинет Петрова.

– Андрей Иванович, я потерял двух летчиков, но ему этого мало. Он хочет лететь еще раз... Ради Бога, сделайте что-нибудь! Я не могу допустить, чтобы эскадрилью расстреливали в угоду устаревшим инструкциям!..

– Судя по всему, инструкции скоро будут изменены, – сказал Петров. – Но пока...

– С кем же я буду воевать?!

Петров нахмурился.

– Хорошо. Я поговорю с ним.

Но разговор, видимо, ни к чему не привел. Не привел ни к чему и разговор Добруша с полковником. Выслушав майора, тот холодно сказал:

– Будете воевать так, как вам приказывают, а самостоятельность мне бросьте!

Полковник сел в машину.

На лбу Добруша залегла глубокая поперечная морщина.

Все повторилось, как и в первый раз. Не успела эскадрилья подойти к линии фронта, как сверху посыпались «мессершмитты».

Майор Добруш шел ведомым у полковника. Рядом с ним висел второй ведомый – сержант Климов, молоденький летчик, всего месяц назад пришедший в эскадрилью.

Хотя во все последовавшие события и вмешалась случайность – два немца атаковали одновременно и полковника, и сержанта Климова, – рука Добруша бессознательно направила самолет на немца, атакующего неопытного сержанта. Четыре пулемета «ишачка» полоснули по фюзеляжу «мессершмитга», и тот исчез во взрыве.

Одновременно исчез и полковник, сбитый вторым немцем.

Добруш дал команду перестроиться. Эскадрилья выиграла этот бой. Они потеряли одну машину, зато сбили шесть «мессершмиттов». Потому что у них был маневр, и появилась высота.

Об эшелонировании самолетов по высоте полковник Голубев не хотел и слышать. Он твердо помнил инструкцию о том, что истребительная авиация должна барражировать в пределах видимости пехоты для поднятия ее боевого духа.

Майор же Добруш был убежден в том, что боевой дух у пехоты никак не может подняться от того, что немцы безнаказанно сбивают на ее глазах советских летчиков. И он выстраивал перед боем эскадрилью этажеркой, загоняя ее последнее звено на высоту шести-семи тысяч метров. Как только немцы пытались атаковать идущие у земли одну-две машины, на них сверху, как горох, сыпались ис-

требители, заранее определившие цели, точно рассчитавшие удар и нападавшие тогда, когда их меньше всего ждали.

Немалую роль играло и распределение эскадрильи по парам, а не по тройкам, как было принято обычно.

Добруш часто вспоминал полковника Голубева, и на душе его становилось скверно от воспоминаний о том бое. Но он никогда не раскаивался в том, что бросился на помощь сержанту Климову. Эскадрилья должна была выиграть бой, и она его выиграла. И если у него потом нехорошо было на душе, если его преследовали и другие неприятности – какое это имело значение? Его личные неприятности, его переживания были пустяком по сравнению с той огромной бедой, которая обрушилась на страну. Чтобы ее уменьшить, он должен был выигрывать бои.

Вот и сейчас капитан Добруш пытается выиграть бой. Ни одно наставление, ни одна инструкция не говорят, как должен действовать полумертвый слепой пилот, находящийся в искалеченной машине за сотни километров от своего аэродрома.

– Штурман... в каком положении машина?

– Дайте небольшой крен влево... Так! Теперь нормально, командир.

– Высота?

– Пять двести.

– Где мы находимся?

– Скоро Лида.

Сознание у пилота мутится, но он старается обмануть смерть.

«Мне не следовало впутывать в эту историю Назарова, – думает он, чтобы забыть о боли и слепоте. – Жаль, что так получилось... и все-таки хорошо, что рядом со мной именно он. Надеюсь, с ним мы еще выберемся из этой передраги...»

«Мне нравилось летать даже в сорок лет, – думает он, – нравилось так же, как и тогда, когда я начинал. Даже, пожалуй, больше. Приятно держать штурвал в руках, когда машина тебе послушна. Приятно уходить в солнечное небо. Приятно возвращаться на землю, зная, что ты хорошо сделал свое дело».

«Многие уже в тридцать лет не испытывают от полета никакого удовольствия, хотя и любят рассказывать, как это хорошо – летать.

Они заменяют чувства словами, или пытаются воскресить их с помощью слов...»

«Небо и машина требуют честности. Мне повезло – я летал почти двадцать лет...»

Но то, о чем он пытался забыть, прорвалось сразу, прорвалось воплем, задушившим все остальные мысли: «Слепой! У тебя больше нет неба, нет машины, нет ничего. Ты слеп, слеп, слеп и больше никогда не почувствуешь, как мягко подбрасывает тебя на ладонях земля, когда самолет отрывается, не возьмешь в руки штурвал, не увидишь неба... Все кончено!»

Его лицо искажается под бинтами.

– Командир, вы что-то сказали? – спрашивает штурман. – Я не расслышал...

Пилот проглатывает стон.

– Ни... чего. Вы все еще не связались со стрелком?

– К сожалению, нет, командир. Но я обязательно что-нибудь придумаю.

## 23

Одинокий истерзанный самолет медленно ползет среди звезд на восток. Штурман то и дело заглядывает в окуляр визира, вертит лимб ветрочета, щелкает движком навигационной линейки, записывает в боржурнал цифры. Он рассчитывает скорость полета, угол сноса, расход горючего, время прохода через контрольные ориентиры.

Хотя какие это контрольные...

Каждые двадцать-тридцать секунд штурман настороженно осматривает небо, готовый в любой момент схватиться за пулемет, чтобы отразить атаку истребителей противника.

Назаров ни на секунду не забывает о том, что должен связаться со стрелком. При полете на высоте пяти тысяч метров у них не хватит горючего. Они должны подняться выше. Но, не предупредив стрелка, они не могут набрать нужную высоту, потому что не знают, надел ли тот кислородную маску. Со стрелком необходимо связаться и на тот случай, если потребуется отдать приказ оставить машину.

Штурману необходимо знать обстановку в заднем секторе.

Не преследуют ли их истребители противника? Может, необходимо изменить курс, скорость или высоту, чтобы избежать опасности? Не ранен ли стрелок, в порядке ли у него оружие, сможет ли он в случае нужды отразить атаку?

Все эти вопросы тяжелой ношей наваливаются на штурмана.

Он уже испробовал все мыслимые средства, чтобы связаться со стрелком, но безрезультатно. Осталось последнее.

Несколько секунд он смотрит на визир, потом со вздохом вытаскивает его из гнезда.

– Твоя очередь, дружок, – бормочет он.

Визир – единственный тяжелый металлический предмет в кабине штурмана, который можно использовать для задуманной им цели. Есть еще, правда, секстант, но к этому прибору штурман относится со слишком большим уважением. А, кроме того, расстаться с секстантом – это все равно, что потерять и его, штурманские, глаза. Без визира он еще как-нибудь обойдется, в крайнем случае определит снос машины с помощью бомбоприцела. А без секстанта не обойтись.

– Командир, машина идет с небольшим правым креном – говорит штурман. – Подравняйте немного...

– Понял.

Правое крыло приподнимается. Штурман окидывает внимательным взглядом небо, потом с сожалением смотрит на визир.

Размахнувшись, он сильно бьет им по шпангоуту раз, другой, третий...

– Тук... тук-тук... тук... – выстукивает он. Удары складываются в точки и тире, точки и тире превращаются в слова: «С-т-р-е-л-о-к, о-т-з-о-в-и-т-е-с-ь. С-т-р-е-л-о-к, е-с-л-и с-л-ы-ш-и-т-е, в-ы-с-т-р-е-л-и-т-е...»

– Командир, вы слышите мои удары? – спрашивает штурман, опуская визир.

– Нет.

– Послушайте еще.

И штурман начинает снова выстукивать морзянку: «Стрелок, наденьте кислородную маску. Наденьте маску. Если поняли, выстрелите...»

– Слышу слабые удары, – сообщает пилот. – Зачем вы стучите, штурман?..

– Пытаюсь связаться со стрелком.

– А... хорошо. В каком положении машина?

– Доверните вправо... стоп! Теперь хорошо, командир.

Штурман снова размахивается и бьет визиром по шпангоуту: «Стрелок... отзовитесь, стрелок... наденьте маску... выстрелите...» Дзинь! Стекло окуляра разлетается вдребезги.

– Прошу прощения, – бормочет штурман.

Он ценит вещи, с которыми работает. А сейчас ему приходится обращаться с ними так варварски...

## 24

Чужой самолет появляется неожиданно из темной части неба, он словно выпадает оттуда, и стрелок вполне мог пропустить этот момент.

Истребитель идет с потушенными сигнальными огнями. Значит, немец хочет остаться незамеченным. От кого он прячется?

«Если бы связаться с командиром, – думает стрелок, – если бы посоветоваться, спросить, что делать...»

В груди стрелка застывает тяжелый ледяной ком. Посоветоваться не с кем. А чужой самолет приближается все стремительней. Стрелок уже видит лунные блики на его плоскостях. Да, огней нет. Значит, немец или уже видит бомбардировщик, или знает, что тот неподалеку, и отыскивает его.

Если бы он еще шел с огнями. Тогда стрелок мог бы подождать. Тогда он мог бы попытаться пропустить немца. Тогда...

Стрелок имеет право на одну очень короткую и точную очередь. Если он не собьет вражеский самолет первой же очередью, это будет означать конец. Вражеский летчик станет осторожнее, начнет делать заходы один за другим и, в конце концов, вынудит расстрелять остатки боекомплекта. Или, если стрелок промахнется, сразу ударит из пушек и пулеметов, что ничуть не лучше.

«Пропустить? Стрелять?»

Эта мысль лихорадочно бьется в голове стрелка. Решение зави-

сит только от него. Вся ответственность лежит на нем. Ответственность за жизнь трех человек. Как все просто, когда рядом командир. Он всегда знает, что нужно делать...

Огни... Если бы истребитель шел с огнями...

Стрелять!

Тук... тук-тук... тук...

Стрелок уже давно слышит эти непонятно откуда идущие звуки, но ему не до них. Все его внимание приковано и приближающемуся самолету. Стрелок прикидывает угловое смещение истребителя, выносит прицел вперед и ждет, медленно поводя стволом пулемета. Он целится долго и тщательно, целится так, словно у него есть неограниченный запас времени. Он должен ударить наверняка...

Ду-ду-ду-ду!..

Стоп!

Стрелок ждет, не отрываясь от прицела. Ждет долгие три или четыре секунды.

Что-то взрывается в настигающем их самолете. Рядом с луной на мгновение вспыхивает солнце. И – болезненная темнота, особенно черная после взрыва...

Стрелок отодвигается от пулемета и дрожащими руками вытирает пот со лба. Лицо у него белое, как у мертвеца, а на губах застыла слабая улыбка. В эту короткую очередь он вложил все свои силы, все напряжение и теперь чувствует себя опустошенным. Он осматривает небо бессмысленным взглядом, еще не веря, что все кончилось.

Тук... тук-тук... тук...

Стрелок начинает приходить в себя и с недоумением осматривается. Опять эти звуки? Вот... снова: тук-тук...

Стрелок прислушивается. Что-нибудь с моторами? Или стучит поврежденная обшивка? Он выпрямляется, и удары прекращаются. «Показалось», – думает стрелок. Он тянется к пулемету, чтобы перезарядить его, и случайно прикасается головой к борту. Удары слышатся ясно и отчетливо: тук-тук-тук-тук... тук... тук...

Стрелок замирает. Да это же морзянка! Штурман! Да это же стучит штурман! Как он не догадался сразу!.. Штурман!..



Как он ждал хоть какого-нибудь сигнала, чтобы убедиться, что не забыт, что рядом находятся пилот и штурман...

Надо немедленно связаться со штурманом. Немедленно.

Стрелок склоняется и шарит рукой по полу кабины, ощупывает борта, рацию. И застывает.

Ему нечем подать сигнал штурману. У него нет ни одного предмета, которым он мог бы воспользоваться. Разве пистолетом, но выстрела штурман не услышит, а ударов – и подавно...

– Тук-тук-тук... «П-о-н-я-л... в-ы н-е р-а-н-е-н-ы... С-м-о-ж-е-т-е-л-и п-р-и н-е-о-б-х-о-д-и-м-о-с-т-и о-с-т-а-в-и-т-ь м-а-ш-и-н-у... Е-с-л-и с-м-о-ж-е-т-е... в-ы-с-т-р-е-л-и-т-е...»

Сможет ли он оставить машину? Нет, не сможет. Этого он, стрелок, сделать не сможет, потому что парашют у него изодран осколками снаряда. Он уже проверял. Парашют никуда не годится

А зачем оставлять машину? Какая в этом нужда? Что случилось?

Ах, если бы как-то подать сигнал штурману, узнать, что там, впереди, долго ли им еще лететь до аэродрома... Если бы предупредить, что у него почти не осталось патронов...

Он снова осматривает кабину. Ничего. Тук-тук...

Стрелок застывает, склонившись к борту. «П-о-н-я-л. М-а-ш-и-н-у... о-с-т-а-в-и-т-ь... н-е с-м-о-ж-е-т-е... В-с-е... Н-а-б-и-р-а-е-м в-ы-с-о-т-у...»

Удары прекращаются. Стрелок чувствует, как приподнимается нос самолета. Он усиливает подачу кислорода в маску...

## 25

Руки, ноги, спина – все одеревенело. Мысли путаются. Самолет раскачивается из стороны в сторону, сваливается то на одно, то на другое крыло. Он то пикирует, то, вздыбившись, лезет в небо почти вертикально.

Каким-то краешком сознания пилот понимает, что это невозможно, невысказано, пытается убедить себя, что машина идет нормально, но все его старания ни к чему не ведут. Моторы пронзительно воют на одной высокой ноте, раздирая сознание. Вой с

каждой секундой становится все выше и оглушительней. И пилот знает, почему это происходит: машина идет вверх колесами. Сейчас начнется раскрутка винтов, потом полетят плоскости, и на землю рухнет груда обломков.

В какой момент он допустил, чтобы машина перевернулась, и как это произошло? Почему молчат штурман со стрелком? Неужели он уснул за штурвалом и не уследил за машиной?

Но думать об этом некогда. Пилот выворачивает штурвал влево и всем телом налегает на левую педаль. Пока самолет еще держится, пока не начали отламываться крылья, надо попробовать вывести его в нормальное положение, спасти экипаж...

Быстрее! Он уже слышит, как рвется обшивка и лопаются заклепки... Быстрее!

Пилот делает отчаянные усилия, чтобы спасти самолет...

Рывок машины бросает штурмана на борт кабины, пол вырывается из-под ног. Штурман хватается за скобу сиденья и повисает над прицелом в нелепой позе.

Только что все было спокойно. Ровно работали моторы, небо чистое, внизу проплывали лесные массивы, в которых вряд ли могла находиться зенитная артиллерия. Штурман рассчитал набор высоты и только собирался сделать запись в боржурнале, как вдруг – на тебе.

Он барахтается на сиденье, пытаясь отцепить привязные ремни. Неужели на что-то наткнулись? Отказал один из моторов? Отвалилось крыло?

– Командир! – зовет он.

Самолет почти лежит на крыле, нос его опускается к земле, еще мгновение, и машина перевернется.

– Командир! Штурвал вправо, правой ноги! Дайте правый крен, командир!..

Машина также резко и неожиданно кренится на правое крыло.

– Стоп! Командир, стоп! Левый крен!..

Еще один такой рывок, и незачем будет производить расчеты...

– Чуть вправо! Стоп, командир!

Вот это свистопляска...

– Штурман... – доносится до него хриплый стон.

– Я вас слышу, командир. В чем дело? Что случилось, командир?

– Штурман, в каком положении машина?

– Сейчас – в нормальном. Но секунду назад мы едва не перевернулись. Что случилось?

– Штурман... вы уверены, что машина сейчас действительно в нормальном положении? – настойчиво спрашивает пилот.

Штурман оглядывается.

– Да, командир. Совершенно уверен.

– Вы видите горизонт?

– Да.

– Хорошо видите?

– Очень хорошо, командир. Но в чем дело?

– Дело в том... мне кажется, что машина идет в перевернутом положении...

– Нет, командир. Машина идет нормально. Вы слышите? Нормально!

Штурман слышит тяжелое дыхание пилота. И его голос:

– Почему же тогда так воют моторы?

– Нет, командир. Моторы работают нормально. Держите так, как держите. Машина в нормальном положении.

– Ладно, штурман...

– Вот и хорошо. Хорошо, командир...

Он прикладывает ко лбу и щекам платочек, вытирает проступившие капли пота. Потом говорит:

– Уф, Василь Николаевич... Пожалуйста, не надо так больше. Ведь вы чуть не перевернули машину...

– Простите, штурман...

– Ничего. Командир, я связался со стрелком. У него все в порядке, можно набирать высоту. Возьмите штурвал на себя... еще... достаточно! Держите так, командир!

Штурман качает головой. Какого же дурака он сваял! Ведь он должен был об этом помнить. Даже вполне здоровые пилоты во время ночных полетов или полетов по приборам часто теряют пространственную ориентировку. А тут – слепой пилот, которому в миллион раз труднее...

– Ты мне не нравишься, дружок, – неодобрительно бормочет

себе штурман. – В этом случае ты оказался растяпой. Будь внимательнее, иначе плохо кончишь...

Он дает пилоту поправку в курс и внимательно приглядывается к земле. Скоро должен быть Минск.

## 26

Сколько времени они летят? Час, два, неделю, вечность?

Добруш не знает этого. Но он помнит, что должен долететь до Белоруссии. Все рано или поздно возвращаются туда, откуда вышли. И он вернется. Он вернется и скажет дому, саду, аистам на старой липе:

– Дабрыдзень.

Над Белоруссией капитан Добруш прикажет экипажу оставить машину.

Моторы работают уверенно, ровно, без перебоев. Это удивительно, но пилот сейчас ничему не способен удивляться. Он принимает все как должное. Раз моторы хорошо работают, значит, так и нужно. Незачем о них думать. И незачем думать обо всем остальном, что не относится к полету или, что не мешает.

В кабине свистит ледяной поток. Руки и ноги пилота окоченели, на бинтах образовалась ледяная корка. Холод проникает под куртку. Но машина хорошо держит режим, это самое главное. Может, они и выкарабкаются. Вот только управление...

Сейчас пилот боится сделать даже одно лишнее движение штурвалом или педалями. Он не верит своим ощущениям и застыл в каменной позе. Если бы можно было хоть как-то сориентироваться или поработать управлением, ему стало бы легче...

Машина по-прежнему идет как-то странно, переваливаясь с крыла на крыло. Пилоту стоит невероятных усилий удержаться от соблазна выровнять самолет. И самое страшное, что провалы в сознании случаются все чаще, все чаще пилот ловит себя на том, что медленно возвращается из какой-то вязкой пустоты, и с трудом вспоминает, где находится и что делает.

Если бы хоть маленький клочок света, хоть на секунду...

Пилот пытается представить свет и не может. Он со страхом чувствует, что забыл все цвета. Он не может представить зелень.

Он не помнит, какого цвета небо. Он отчетливо представляет лишь один цвет – чернильно-черный. Трава, лица людей – все черное. Он задыхается.

- Штурман... вы связались со стрелком?
- Да, командир. Связался. Я вам уже говорил.
- Сможет он оставить машину?
- Нет.
- Что с ним?
- Не знаю. Видимо, что-то с парашютом. Или заклинило люк...
- Так...

И снова пилот как во сне. Он слышит команды штурмана и выполняет их, но он не понимает их смысла. Руки и ноги сами делают то, что привыкли делать в течение многих лет. Сознание в этом не участвует. Если бы хоть немножко света... Хоть чуть-чуть...

Какая-то очень важная мысль пробивается и не может пробиться сквозь полубред. Пилот напрягает всю волю, пытаясь удержать ее, но она ускользает, теряется...

Нет, он не имеет права потерять сознание. Прежде он должен вспомнить... потому что это очень важно, это самое главное, что у него осталось...

- Штурман...
- Да, командир?
- Штурман... я должен... я хотел...
- Осторожнее, командир! Дайте крен вправо... достаточно! Что вы хотели сказать?

Да, да, штурман прав, он хотел что-то сказать... что-то очень важное... но он не может вспомнить...

- Командир, подходим к Минску.
- Да, да, – бормочет пилот, – хорошо. Только...
- И вдруг в его мозгу, словно молния, вспыхивает воспоминание.
- Штурман... Скажите ей... скажите, что я хочу сына. Вы слышите, штурман?

- Кому, командир? – спрашивает Назаров с недоумением.
- Ах, да... Ладно.

Пилот смолкает. Слышно только его тяжелое дыхание. Штурман пытается понять, в чем дело, потом говорит:

– Командир, вы должны сделать это сами.

Сознание возвращается к пилоту.

– Да. Ладно.

Его охватывает страстное желание во что бы то ни стало сейчас увидеть женщину, которая была так добра с ним. Услышать ее голос, потрогать волосы. Мысли проясняются. Он не имеет права сдаваться. Он должен выдержать до конца. Если он увидит ее, все будет хорошо. Тогда ничего не страшно.

Он забывает о боли, слепоте, холоде.

– Штурман, стрелок в маске?

– Да, командир.

– Какая высота?

– Семь девятьсот.

– Идем с набором?

– Да.

– Какая скорость?

– Триста пятьдесят путевая.

– Хватит горючего до аэродрома?

– Если наберем еще хотя бы тысячу метров. И скорость...

– Рассчитайте наивыгоднейший режим.

– Есть, командир. Минуточку, командир.

Через несколько секунд штурман сообщает:

– Убавьте скорость на тридцать километров.

– Уменьшаю. Следите.

Пилот берет на себя секторы газа. Он сдвигает их сначала на миллиметр, потом больше, еще больше...

– Стоп! – говорит штурман. – Хорошо. Мы немного проиграем во времени, но горючего теперь хватит. Через одиннадцать минут наберем высоту. Как вы себя чувствуете? Вам лучше?

– Да. Лучше, – отрывисто говорит пилот. – Следите за курсом.

...Капитану Добрушу не удалось поспать перед вылетом, как он рассчитывал. Вернее, он не захотел ложиться, хотя и мог бы это сделать. Его неудержимо потянуло к Анне.

Она была в землянке одна. Увидев капитана, она поднялась.

– Я знала, что вы придете, – сказала она.

Он и не подозревал, что с ней будет так хорошо и просто. Они не говорили ни о прошлом, ни о будущем, им было достаточно того, что они вместе и им хорошо. Когда он уходил, она сказала:

– Пожалуйста, возвращайся...

Ему во что бы то ни стало нужно вернуться к ней.

Правый мотор начинает давать перебои. До пилота то и дело доносится зловещее чихание задыхающихся цилиндров. Ну что ж... пора. И пилот и мотор выработали все свои ресурсы. И если пилот еще действует, одержимый стремлением сохранить связь с ускользающим от него миром, то у мотора нет никаких целей, ради которых ему стоило бы доводить себя до саморазрушения.

– Штурман.... какая высота? – спрашивает пилот.

– Восемь триста.

– Сколько мы можем терять, чтобы все же хватило горючего?

– Метров пятьсот... не больше. На семи тысячах ветер на двадцать километров слабее.

– Ладно. Правый мотор начинает давать перебои, придется уменьшить тягу. Последите за курсом.

– Хорошо... командир.

Голос штурмана едва заметно вздрагивает. Он отлично понимает, что это значит – перебои. Перебои обычно стремительно развиваются в полный отказ мотора. А ему очень не хочется, чтобы это случилось сейчас, где-то в центре оккупированной Белоруссии, после всего, что они выдержали, когда пилот почувствовал себя бодрее, и когда выяснилось, что стрелок не сможет оставить машину. И когда он, штурман, сделал то, о чем в нормальных условиях не посмел бы даже и подумать, – произвел расчет на посадку самолета слепым пилотом.

Конечно, это невероятно сложно. Малейший промах – и самолет превратится в груду обломков.

Но, с другой стороны, бомб у них нет. Он, штурман, рассчитает подход к полосе так, что в баках останется горючего только на пробег, тогда взрыв или пожар им не грозит. Покалечатся, если самолет скапотирует... ну что ж, к этому не привыкать. А может, им

удастся посадить машину. Он, штурман, рассчитает подход к полосе предельно точно. Он станет глазами пилота. Почему бы не случиться чуду? Почему бы им не сесть? Они заслужили это.

Но отказ мотора разом перечеркнет все расчеты. Пилот уменьшает обороты мотора, и машина начинает разворачиваться вправо.

– Дайте левой ноги, командир. Снимите нагрузку триммером...

Пилот компенсирует уменьшение тяги рулем поворота. Скорость снижается. Машина начинает терять высоту...

## 28

Небо на востоке понемногу светлеет. Гаснут звезды. Луна скатывается за подернутый сиреневой дымкой горизонт.

Штурман напряженно всматривается в землю и, наконец, облегченно вздыхает – Днепр. Теперь осталось совсем немного. Только бы удачно пересечь линию фронта – и они дома.

Правый мотор работает на предельно низких оборотах. Штурман то и дело поглядывает на него и уговаривает:

– Ну-ну, дорогой... потерпи еще немного. Подержись.

Из-за уменьшения скорости они непростительно запаздывают. Рассвет неумолимо надвигается. И это очень скверно.

Рассвет – это зенитная артиллерия. Рассвет – это истребители противника.

– Командир, может, рискнем прибавить обороты? – спрашивает штурман. – Начинает светать.

– Нет.

Что ж, Добруш прав. Не стоит рисковать сейчас, когда нет прямой угрозы. Последний рывок мотора может потребоваться для более серьезного дела.

Впереди, внизу, в полумраке, на далекой земле вспыхивают огоньки. С каждой секундой они видны все отчетливее. Линия вспышек вытянулась поперек курса, с севера на юг. Она вздрагивает, пульсирует.

С восточной стороны навстречу самолету то и дело взлетают стаи хвостатых комет и там, где они падают на землю, несколько секунд бушует пламя.



– Подходим к линии фронта, – говорит штурман.

– Понял.

Пилот прибавляет обороты правому мотору.

– Дайте правой ноги, командир...

Скорость увеличивается.

Небо стремительно светлеет. Штурман берется за рукоятки пулемета.

Они подходят к полыхающему внизу валу. Далеко справа в воздухе подпрыгивает огненный мячик, второй взрывается прямо по курсу, третий разлетается над головой штурмана. Началось...

– Командир, противозенитный маневр! Правой ноги!..

Самолет ускользает от взрыва.

–левой! Штурвал чуть от себя.

Хлоп-хлоп-хлоп... трах!

Ничего, ничего... еще несколько секунд...

Машина, виляя из стороны в сторону, несется среди взрывов.

– Правой ноги!..левой! Правой! Вниз, командир, вниз!..

И вдруг наступает тишина. Перед самолетом чистое небо, без единого дымка. Линия фронта осталась сзади. Все.

– Все, командир. Проскочили. Доверните немного влево... Хорошо!

Но не успевает штурман отдышаться, как впереди появляются два «мессершмитта», идущие с востока.

– Командир, навстречу идут два «мессершмитта», – торопливо предупреждает штурман. – Нам не разминуться.

– Далеко?

– Да... нет! Близко!

– Выше, ниже?

– Ниже.

Секундное молчание. И ровный голос пилота:

– Ладно. Постреляйте по ним из своего пугача...

Действительно. А что им еще остается? Тут уж все от Бога и от случая. Ни отвернуть, ни скрыться на своем тихоходе они не смогут. Штурман, угрюмо глядя на стремительно приближающегося врага, склоняется к пулемету.

И вдруг он чуть не вскрикивает. Какая удача! Как же он сразу

не понял? Истребители выскочили из облачности. Поэтому-то они и появились так неожиданно. Их надо отпугнуть всего на десять-пятнадцать секунд, и экипаж спасен. А ну-ка...

Он припадает к прицелу и дает длинную отчетливо видимую веерообразную очередь. Он знает, что на такой дистанции не попадет, да и не старается попасть. Ему нужно всего лишь на несколько секунд ошеломить противника.

Пулеметная трасса вспарывает небо между истребителями. «Мессершмитты» шарахаются в стороны.

Ну, ладно. Сейчас они поняли, кто перед ними, и начнут разворачиваться для атаки, но дело сделано. Перед бомбардировщиком свободный путь к облачности. Облака, правда, реденькие, но это и лучше. В плотных облаках они не смогли бы вести машину.

Истребители проносятся мимо и исчезают в задней полусфере.

– Командир, прибавьте газу!

Моторы взывают на самых высоких оборотах. Только бы они не отказали...

Истребители появляются в поле зрения стрелка настолько неожиданно, что в первый момент он не может сообразить, что это за самолеты и откуда они взялись.

Секунду он в растерянности смотрит на них, потом резко поворачивает пулемет. Истребители заходят для атаки. Вот они закончили маневр и устремляются на стрелка. Они растут на глазах, зловеще нависая над хвостом бомбардировщика.

Ш-ших!

Пульсирующая очередь снарядов проносится над самой головой стрелка. В ответ стрелок нажимает гашетку пулемета:

– Р-рых!

И все. Пулемет смолкает.

Немецкий ведущий взмывает вверх. Но второй истребитель делает доворот, и на его крыльях начинают биться язычки пламени. Немец пустил в ход все свое бортовое оружие, и белые плети подбираются все ближе к стрелку. Теперь уж стрелок ничего не может сделать...

И вдруг все меняется. Разом, мгновенно «мессершмитты» исчезают, словно растворяются в молоке. Словно их и не было никогда. Словно их атака была всего лишь дурным сном.

Стрелок протирает глаза, глядится и вдруг начинает истерически, взхлеб смеяться. Ушли!..

Бомбардировщик выскакивает из облачности прямо на громадный багровый солнечный диск. Штурман шурит глаза.

– Командир, подходим к аэродрому. Что вы намерены делать?

– Садиться.

Штурман судорожно стискивает зубы и проглатывает внезапно перехвативший горло ком. Надо быть Пилотом, чтобы так просто и буднично решиться на то, над чем штурман бился от самого Кенигсберга.

– Спасибо, Василь Николаевич.

– У вас готовы расчеты?

– Да.

– Командуйте заход.

Штурман смотрит на землю.

– Через десять секунд начинаем левый разворот, – говорит он.

– Внимание! Разворот!

Машина делает круг над аэродромом и точно выходит на посадочную полосу. Полоса какая-то странная – вся в пятнах, словно залатанная.

– Командир, выпустите шасси... закрылки... Дайте чуть штурвал от себя... – командует штурман.

Он с удивлением приглядывается к аэродрому. Да неужели это их аэродром?! Все вокруг изрыто громадными воронками, стоянка усеяна обломками самолетов. Сколько же их осталось? Семь... нет – восемь машин. Всего восемь!

Теперь штурман понимает, что произошло. Налет вражеской авиации. Возможно, одновременно был произведен налет и на соседний полк, с которым они должны были идти на Кенигсберг...

Так вот что это за пятна на взлетной полосе – только что засыпанные воронки. Несмотря ни на что, товарищи ждут их и сделали все возможное, чтобы они смогли сесть...

– Идем точно, высота триста, – говорит штурман командиру. – Впереди – посадочные знаки.

– Высота двести... Чуть-чуть поверните вправо. Достаточно. Хорошо, командир.

– Высота сто... Идем точно. Полоса хорошо видна, все чисто.

Чувства Добруша напряжены до предела. Голос штурмана... разве это нужно пилоту, чтобы посадить машину? Он должен сам видеть полосу. Сам!

– Высота семьдесят...

Хоть на мгновение. Только на одно мгновение...

– Пятьдесят...

Пилот снимает руку со штурвала. Секунда, и бинты летят на пол кабины.

– Десять. Возьмите штурвал чуть на себя...

Только на мгновение...

– Пять...

Пилот открывает глаза. Снаряд во второй раз взрывается в кабине. Мир становится еще чернее.

– Два...

Если бы штурман увидел сейчас лицо пилота, он подумал бы, что тот сошел с ума. Пилот улыбался. Боль стала невыносимой.

Этот полет он сделал от начала до конца, сложил по кирпичику, как каменщик складывает здание...

– Один. Самолет касается земли. Рев моторов обрывается, словно обрезанный. Слышен стук амортизаторов.

Но Добруш уже ничего не слышит. Он выпускает штурвал из рук и повисает на привязных ремнях. В его меркнувшем сознании проносится зеленое поле аэродрома, ватные облака, голубое небо...

Тело пилота вздрагивает, руки приподнимаются, будто стремясь дотянуться до штурвала, и падают... Сердце смолкает.

Ө СВЯЗЯХ

Уродливое,  
Грязное,  
Не наше –  
Ему давно пора прошедшим стать...  
Вот надо в институт попасть Наташе –  
И сам папаша едет хлопотать.  
А ты... Ты вспомнил грохот, комья грязи  
И разбомбленный начисто кювет...  
Ты только раз  
Использовал все связи –  
Чтобы попасть на фронт  
В шестнадцать лет.

\* \* \*

Он – это я,  
но сорок лет назад.  
Он – это я.  
Но он в шинелисерой.  
Вбегаёт в лес осенний или в сад,  
Пропахший дымным порохом и серой.  
Белеет бинт, рука висит как плеть.  
К десантной барже  
он бежит по сходням.  
Откуда право у него глядеть  
Так пристально в глаза мои  
Сегодня?











через смерти, через ужасы,  
что бы ни было, пройдем!

Кое-что от нас зависело,  
от молоденьких ребят.  
«Ну, давай ... твою в дивизию!  
Жми вперед!» – орал комбат.

Все, что было – было ранее:  
зрела рожь, сирень цвела;  
комсомольские собрания,  
справки ... личные дела...

«Лейтенант, не прячясь за спину!» –  
вновь комбат от гнева бел.  
Лес, еще недавно заспанный,  
от росы и пуль звенел.

Полдень сталью ошарашивал,  
бил по лицам суховей.  
И никто тогда не спрашивал,  
кто – татарин, кто – еврей...

## 2

Когда я вернулся с войны  
среди прочих иных,  
когда я вернулся с войны,  
а война продолжалась,  
не всем было ясно –  
с чего это парень притих?  
А в сердце моем разливалась  
безмерная жалость...  
Иду, опершись на костыль,  
то ль в кино, то ль в кабак;  
темно, даже здесь, под луной –

под огромною лампой.  
До боли мне жалко  
замерзших в проулках собак,  
особенно, если они с перебитою лапой.

3

Облака покатались –  
 удержи-ка, стреножь!  
 Вот упал пехотинец  
 на примятую рожь.  
 Над пробитой пилоткой  
 ветер выл нараспев.  
 Что он в жизни короткой,  
 тот солдатик, успел?  
 Сколько ж их – думать страшно! –  
 кто среди черных полей  
 с пулей встретился раньше,  
 чем с любовью своей.

4

Нет, не узнать никак заранее,  
 никак не уберечься тут:  
 они придут – воспоминания,  
 за горло схватят и сожмут...  
 Траншея вьется меж осоками,  
 вновь артналет, опять беда.  
 Столбами серыми, высокими  
 взлетает волжская вода.  
 О, как мне тяжело этим вечером,  
 когда гляжу я, сам не свой,  
 на фотографию разведчиков,  
 где я –  
 единственно живой.

## Берлин, май сорок пятого

Тогда, в мае сорок пятого, многим из нас чуть-чуть перевалило за двадцать, а сегодня...

Сегодня нашей Победе уже пятьдесят, и мы, фронтовики-победители, идем на праздник-торжество с седыми шевелюрами (если они у кого-то еще сохранились) и с внуками.

Неужели уже 50? Не хочется верить... Как быстро утекли годы! Может быть, так произошло оттого, что были они, годы послевоенные, натужными и неустроенными. Мы спешили разгрести разруху, лихорадочно клали кирпичи, возводили, пытались даже время обогнать, словом, мчались вдогонку жар-птице, которая вот-вот должна одарить нас чем-то светлым, желанным. Но так и не достигли то лучезарное будущее, а догнали свою старость.

Жаль, однако, время не остановить. Только память может его притормозить, размотать ленту прожитой жизни назад...

А для чего? Ответ прост: чтоб новые поколения прикоснулись к нашему прошлому; чтоб доброе и славное, а оно все-таки было, не потонуло в архивных анналах; чтобы юноши девяностых приняли от нас и несли дальше эстафету мужества. Вот чего нам хочется!

Итак, надеясь на память, берусь за перо. А если она вдруг станет пробуксовывать, что тогда? И опять же есть выход: я ведь журналист-литератор, и давнишний – пятьдесят лет служил газете, а в войну был военным корреспондентом, с войсками отступал, плутал по лесам и болотам тверской земли, мерз в окопах Сталинграда, а потом от самой Волги протопал до берлинской Шпрее и у рейхстага просалютовал из своего трофейного «парабеллума» в честь Победы. Белофлагий Берлин был тогда оглушен нашей пальбой – стрелял весь 1-й Белорусский фронт, говорили, что и маршал Жуков тоже салютовал.

Так вот, поскольку я человек пишущий, то у меня постоянно при себе записные книжки. И почти все, что видел и пережил, строками легло в мои фронтовые блокноты. Вот они-то и выручат память, если

она в каком-то месте даст сбой, помогут воскресить забытое. А если и записные книжки окажутся беспомощными (мало ли, ведь и им досталось от непогоды и окопной слякоти), тогда выручат друзья-однополчане. Сниму трубку и позвоню любому из живых, скажем, Степану Неустроеву, – да, тому самому комбату, который на последнем рубеже войны ворвался со своим батальоном в рейхстаг и доконал там почти двухтысячный гарнизон фашистов, – и спрошу: скажи-ка, друг, а какая погода была тогда в Берлине в то утро 2 мая, когда немцы с поднятыми руками выходили из подземелья рейхстага?

Жаль только, что приходится общаться с полковником в отставке Неустроевым по телефону. Было бы куда лучше, если бы жил в Екатеринбурге, ведь уралец он, отсюда на войну ушел и вернулся сюда после войны, прожил несколько лет, затем подался к морю, чтоб водой целебной да солнцем южным раны свои успокоить. Редко теперь навещает, а ведь скучает по родной Талице, которая в Сухоложском районе, да и по Березовску, где жил и работал. Как-то позвонил он мне и попросил: «Поезжай-ка в Талицу, погляди на нее и напиши мне обо всем, что увидел». Исполнил я просьбу Степана, поехал. Добрался до Сухого Лога, там как-то остановился, чтоб уточнить маршруты и спросил у пожилой женщины: далеко ли до Талицы?

– Поди верст тридцать будет, – ответила и собралась было идти дальше, но вдруг, повернувшись и спросила: – А вы к кому в гости едете? Может, к Неустроеву, который до Берлину дошел и их главный дом взял? Так Неустроева там нету, живет, кажись, у Черного моря... А дом-то тот, который он взял, как-то по-чудному зовут...

– Рейхстаг.

– Во-во! Подумать только, и это Андреев сынок, Степан, наш талицкий, взял их рестаг... Добрый был малец, смысленный...

А что, в точку попала женщина: был в детстве смысленным и в войну воевал с головой. В памяти воскресает утро 30 апреля. Капитан Неустроев стоит у полуподвального окна «дома Гиммлера», которым накануне овладели наши. Комбат напружинен, его взор устремлен в то здание, которое массивной серой глыбой основательно расположилось на Кёнигспляц (Королевской площади). Из всех его окон-амбразур пока молчаливо торчали стволы пулеметов. Комбат знал, оттого и сердце учащенно стучало, что вражьих стволы

заговорят огнем, когда батальон вынырнет на площадь, чтобы рвануть к рейхстагу.

Так оно и случилось...

Не собираюсь дальше подробно рассказывать о том, что происходило на обугленной и изодранной снарядами и минами Королевской площади, ибо об этом много написано. Скажу лишь, что батальон достиг рейхстага во второй половине дня. Почему же так по-черепашьи двигались роты? Ведь от «дома Гимmlера» до рейхстага всего-то чуть больше трехсот метров. Представить трудно, что такое расстояние удалось преодолеть передовой роте, которой командовал старшина Сьянов, через шесть часов. Шесть часов ползли по площади наши солдаты – уму непостижимо!

Я это видел своими глазами, наблюдая из «дома Гимmlера», стены которого колотились от снарядов, посылаемых немецкими батареями. Командир полка, коренастый и низкорослый полковник Зинченко, нервничал. «Ну скорее, скорее!» – шептал он, наблюдая в стереотрубу. А они, солдаты батальона Неустроева, головы не могли поднять. Разнокалиберный огонь пригвоздил их к асфальту. Зинченко обращается к артиллеристам: «Ударьте еще разок по этому каземату!». И прикрытая орудийным огнем, рота Сьянова продвигается еще метров на десять...

Что же Неустроев? Как он действовал в этой сложнейшей ситуации? Кто-то из штабистов-наблюдателей клял его: ну чего топчет-ся на месте, бросок надо делать, бросок!

Неустроев не слышал этих возгласов, но спиной чувял нелестные слова в свой адрес. Однако поступал по своему разумению. Чтоб сделать бросок, надо оторваться от земли и подняться в рост. Этого-то и ждали фашисты. Тут они смертоносной косой прошли бы по батальону. Нет, комбат не пошел на такое, он решил не терять людей на площади, ему нужен был сильный батальон для решающего боя внутри рейхстага. И он внушил командирам рот: вгрызаться в землю, если даже под животом асфальт, и ползти так, чтобы ни одна фрицева пуля никого не зацепила. И бойцы ползли, используя для прикрытия каждый маломальский бугорок или воронку. Полз и комбат, и замполит лейтенант Берест, и заместитель по строевой капитан Ярунев, и начальник штаба старший лейтенант Гусев – все на-

целились на рейхстаг. А он, этот каземат, без устали поливал огнем. И если уж совсем немого было двигаться, батальон залегал...

Нынче, когда пишут о войне, иные знатоки-умники обязательно пытаются кого-то лягнуть, черной краской мазнуть, утверждая, что наши, мол, безрассудно лезли на немецкие позиции, таким нахрапом, что командиры не щадили людей. А вот я свидетель обратного: прежде чем идти в наступление, каждый командир думал о людях и строил свой план атаки так, чтобы потери были самыми минимальными. Вот и Неустроев так поступал. Он ведь не лез напролом, не кидался вперед очертя голову, а мастерски использовал истерзанную и изрытую Королевскую площадь, все ее воронки, канавы и выбоины, чтобы укрыть батальон от вражьего огня.

Припоминаю одну из бесед командующего войсками 3-й ударной армии генерала Василия Ивановича Кузнецова с бойцами одного из стрелковых полков. Было это перед форсированием Одера. Речь зашла о предстоящем наступлении на Берлин. Один боец в запале сказал: «Умрем, но в Берлин придем!». А командарм взглянул на солдата и спросил: «Если умрете, то кто же в Берлин придет? Нет, товарищи, умирать нам не надо, а вот в германскую столицу мы с вами все должны прийти...»

И 3-я ударная действительно пришла в Берлин.

Итак, хотя и очень медленно, но батальон все ближе и ближе подбирался к рейхстагу. А впереди его двигался, как бы плыл, красный флаг...

В этом месте я собираюсь рассказать о человеке, имя которого, к сожалению, мало кто знает. Ну спросите любого: кто водрузил красное знамя над рейхстагом, вам назовут Михаила Егорова и Мелитона Кантария. Все верно. Но...

Называю связного капитана Неустроева – младшего сержанта Петра Пятницкого. Он первым выскочил через окно из подвала «дома Гимmlера» и устремился к рейхстагу. На ходу развернул красный флаг. Огонь колотил площадь, а Пятницкий, словно непробиваемый, с трепещущим флагом что есть сил бежал и бежал. Когда бежать не мог, полз, но знамя не опускал на землю, а держал его одной рукой высоко над головой. И получалось, что оно вроде само двигалось по площади.

Все видели флаг Пятницкого – и те, кто полз к рейхстагу, и те, которые на КП полка находились. Петр чудом прорезался сквозь адский огонь. Солдаты двигались следом за знаменосцем. Когда он вскочил на первую ступеньку гранитной лестницы главного входа в рейхстаг, «Ура!» прокатилось по Королевской площади.

Фашисты усилили пальбу. Били минометы и орудия. Не было спасения и от пуль. Батальон снова залег.

Пятницкий ничего этого не видел. Он уже бежал вверх по лестнице. Вот и видна дверь главного входа в здание. Она открыта настежь. Надо проскочить внутрь и укрепить стяг над главным входом. Надо...

Из черного дверного проема полоснуло огнем. Обожгло грудь Пятницкого. Он зашатался. Подкосились ноги. В глазах помутнело – все вокруг поплыло. Знаменосец упал на ребристые ступени лестницы. Упал и флаг.

К мертвому знаменосцу бросился командир отделения Петр Щербина. Он увидел окровавленную грудь друга и руки, вцепившиеся в древко флага. Щербина поднял флаг и укрепил его на одной из шести колонн перед входом в рейхстаг.

Еще раз подчеркиваю: у нас один самый святой флаг – Знамя Победы. Это так. Но надо знать и помнить, что в рейхстаг двигались десятки знамен. Их несли многие, кто шел на этот последний штурм. Даже фотокорреспондент нашей армейской газеты «Фронт-овик» старший лейтенант Владимир Гребнев, который рвался в рейхстаг, чтобы запечатлеть бой внутри здания, но ему на это не дали разрешения, тоже имел при себе кусок красной материи – авось пригодится для флага!

В моих записях есть такой диалог, услышанный за Одером в 756-м стрелковом полку, том самом полку, в составе которого был и батальон Неустроева.

– Товарищ старшина, – хитровато улыбается боец Солодовников, – отпустите в Кинешму. Мигом доставлю тюк красного сатина.

Старшина не сомневался в оборотистости Солодовникова: завмагом был когда-то в Кинешме.

– Сколь времени надо на эту операцию?

– Туда – сутки, обратно – сутки.



– Скорый ты парень. До твоей Кинешмы за пять суток не до-топать.

– А мне, надеюсь, самолетик дадут.

– Ишь чего захотел – самолетик! А ты на своих двоих разве научился топать?

– У меня моторесурсы на исходе. Только до Берлина хватит...

Шутки шутками, а красную материю старшина все-таки добыл. Солодовников помог: в Кинешме не был, но раздобыл отрезик. Спросили: «Где взял?» Ответил коротко и ясно: «Трофеи наших войск». Короче говоря, в пути от Одера до Берлина многие обзавелись красным материалом, но не всем суждено было осуществить мечту. И все же 30 апреля, в канун Первомая, в разных местах рейхстага появилось немало знамен. А вечером на крышу рейхстага забрались разведчики из 756-го полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария и водрузили там на куполе Знамя Победы.

Да, разведчики-знаменосцы блестяще справились с задачей. Это так. Однако есть надобность подчеркнуть, что в этой удачной операции проявились командирская воля и предусмотрительность комбата Неустроева. Егоров и Кантария – парни смелые и отчаянные, – появившись с флагом в рейхстаге, готовы были не медля стремглав подниматься на крышу. Их порыв чуть-чуть охладил Неустроев. Он знал, что лестничные марши меж этажами насквозь простреливаются врагом, значит, надо осторожно и с умом подниматься вверх. И комбат подобрал группу бойцов-автоматчиков, которой поставил задачу: прикрыть знаменосцев и надежно проложить им дорогу. А во главе группы был поставлен Алексей Берест. Неустроев сказал ему: «Знамя – дело политическое. Кому как не тебе, Лёша, возглавить его. Пробивайся-ка на крышу и подбери там для нашего знамени самую подходящую точку. Понял?»

Неустроевский комиссар все понял и так организовал отражение немецких атак на пути продвижения вверх по лестничным маршам Егорова и Кантария, что их не тронула ни одна пуля. Знаменосцы, поднявшись на крышу, увидели громадную статую – всадника на коне с протянутой вперед рукой. На нем и укрепили знамя. Получилось вроде здорово: всадник с красным стягом. Бересту не понравилась такая картина: фриц с нашим знаменем – не годится! Посмотрел лейтенант

вокруг и определил, что надо взбираться на купол, именно там самое подходящее место для Знамени Победы. Так и сделали знаменосцы: поднялись еще метров на тридцать вверх. Нелегко далась им эта высота, пришлось продвигаться по порушенным ребрам каркаса купола, да и фашисты били из пулеметов аж от Бранденбургских ворот.

Операция завершилась поздно вечером. Берест, спустившись вместе со знаменосцами, доложил комбату, что Знамя Победы укреплено надежно, ремнями, и простоит сотни лет!

Воинский подвиг Егорова и Кантария был отмечен Золотыми Звездами Героев Советского Союза. А Береста обошла награда. Представляли к званию Героя, но не присвоили. Говорили, что какой-то высокий чин самолично отложил в сторону его наградной лист: мол, со знаменем на крышу направлялись двое, а Берест – третий, значит, лишний. Вот такая логика...

Михаил Егоров однажды, уже после войны, сказал мне: «Обидно за Алексея Прокопьевича. Я готов отдать ему свою Звезду... Храбрый человек! Если бы не он, кто знает, как бы мы с Мелитоном на ту надрейхстаговскую верхотуру забрались бы...»

И не только одного Береста обошли. Пятницкого тоже. Разве он не достоин самой высокой награды? А ведь его – первого знаменосца – ничем не отметили и до сих пор никак не увековечили его имя.

Кое-кто сегодня пытается сеять сомнения: а водружалось ли вообще в ходе штурма рейхстага Знамя Победы? И даже утверждают, что оно было поднято над рейхстагом лишь 2 мая, уже после капитуляции немцев. Я скажу так, как об этом говорят ныне здравствующие участники тех боев. Зачем наводить тень на плетень? Все произошло в ходе боев батальона Неустроева внутри рейхстага.

Есть и иные кривотолки: вот, мол, один знаменосец русский, а другой – грузин, значит, военное начальство это сделало в угоду Сталину. Ничего подобного: ни командир 150-й стрелковой дивизии генерал Шатилов, ни командир полка Зинченко, ни командарм Кузнецов никакого отношения не имели к назначению знаменосцев. А дело было вот как. Комполка Зинченко приказал командиру полковой разведки капитану Василию Кондрашову выделить двух разведчиков для водружения знамени. Капитан выстроил перед полковником своих разведчиков, мол, все смельчаки, выбирайте!

Зинченко сам не стал этого делать, а повторил приказание: нужны только двое! И тогда Кондрашов назвал Егорова и Кантария. Почему их? Ну, видимо, хотя бы потому, что в боях на улицах Берлина они отличились сноровкой, умением ловко проникать в труднодоступные места, которых в большом городе предостаточно. Да и друзьями они были закадычными, еще с Польши шли плечом к плечу, часто отправлялись в разведку на пару. Вот и вся правда!

Интересная, на мой взгляд, и существенная деталь: тогда, в мае 45-го, нам, участникам и свидетелям того поистине исторического события, к которому мы шли почти долгих четыре года, и в голову не приходила мысль о национальной принадлежности наших парней-знаменосцев. Мы от души радовались факту – нашему знамени с серпом и молотом и звездой над их рейхстагом, мы восхищались подвигом отважных разведчиков. Сегодня же вдруг кто-то пытается святое и правое дело очернить, обляпать грязью. Напрасно!

Чтобы до конца все было ясно, видимо, следует прояснить историю возникновения Знамени Победы. В моем фронтовом архиве сохранился великолепный документ того времени: листовка-обращение военного совета 1-го Белорусского фронта к бойцам, сержантам, офицерам и генералам. Она напечатана на розовой бумаге. Сам маршал Жуков подписал ее. В этом обращении есть такие строки: «Боевые друзья! Наша Родина и весь советский народ приказали войскам нашего фронта разбить противника на ближайших подступах к Берлину, захватить столицу фашистской Германии – Берлин и водрузить над нею Знамя Победы!»

Вот откуда взялось Знамя Победы! А то ведь гадали: как же закончится война, какой будет ее последняя точка? И сразу стало ясно: Знамя Победы – вот заключительный аккорд Великой Отечественной.

Мысль о знамени пришлась по душе командованию 3-й ударной армии. Военный совет армии распорядился поднять его именно над рейхстагом. А кто это должен был сделать? Та дивизия, которая первой подойдет к рейхстагу и овладеет этим зданием. Но дивизий в армии девять. Вот и подготовили девять знамен.

И каждое пронумеровали. Знамя, которое 21 апреля, в тот самый день, когда воины 3-й ударной завязали бои на окраине Берлина, попало в 150-ю дивизию, было помечено цифрой «5». Ну, а дивизи-

зия через несколько дней передала знамя в 756-й стрелковый полк, поскольку он вплотную подошел к рейхстагу и начал его штурм.

Сам комдив постоянно связывался с полковником Зинченко и непременно спрашивал: где знамя?

– У Неустроева, – отвечал комполка. – Пробивается на крышу...

Однако возвратимся на Королевскую площадь. Перед входом в рейхстаг уже реет наш красный флаг. Рота Сьянова вот-вот ворвется в здание. А на правом фланге худо: вторая рота никак не может подняться в атаку. К ней кинулся лейтенант Берест и помог бойцам одолеть страх. Рота вместе с замполитом батальона ринулась вперед.

Рейхстаг вмиг поглотил батальон. Площадь опустела, стала недвижимой. Только что она шевелилась, жила – и враз никого. Жутковато стало на КП полка: что там, за толщенными стенами? Полковник Зинченко побледнел, и лицо как-то сразу вытянулось, и желваки на щеках задвигались. Молчит и нервничает. Шутка ли, целый батальон скрылся с глаз, словно ухнул в пропасть. В рейхстаге больше пятисот комнат – можно и заплутать... Кто-то, стоявший позади полковника, сострил:

– Заседает Неустроев... В парламент же попал... Зинченко обернулся, но остряка ветром сдуло.

– Кто про парламент вспомнил?

Никто не ответил полковнику. Чертыхнулся Зинченко и тут же распорядился: протянуть провод в рейхстаг! Связисты бросились на площадь.

А что же все-таки происходило в рейхстаге? Этого никто на КП не знал. Только Неустроев мог бы доложить полковнику обстановку, а он там, в серой каменной глыбе. Но если честно говорить, то и комбат толком пока еще ничего не смог бы сказать командиру полка.

Рейхстаг встретил Неустроева не по-парламентски – кромешной теменью (окна замурованы, электричества нет) и автоматной дробью. Мрак окутал весь батальон. В такой склеп Неустроев попал впервые. Как тут воевать?

– А ну ломани кто-нибудь окно! – крикнул комбат.

Солдаты прикладами ударили по кирпичам – и да здравствует свет! Ну, а затем началась война, о которой Неустроев, гостивший у меня недавно, сказал так: «Страшно вспомнить... Не хочю и во сне

такое увидеть... Давай не будем об этом».

Ну что ж, не будем. Скажу только, что всю предмайскую ночь и весь праздничный день рейхстаг так грохотал, что даже его толщенные стены колотились и крошились. И начался пожар, и поползло пламя по этажам, по стенам, по стеллажам, по сафьяновым диванам и креслам... Огонь цеплял и людей... Вот такая война – на два фронта: с фашистами и с пожаром...

Я не выдержал и спросил Неустроева: а все-таки, как же воевать в пламени, может, лучше было бы на время вывести из рейхстага батальон?

– Ты что, оставить фрицам рейхстаг?! Особенно в момент, когда над ним развевалось Знамя Победы! Задача оставалась прежней: ни шагу назад! Я бегал из роты в роту, чтоб подбодрить людей, изнуренных до крайности. Многих не узнать было: лица сажей да копотью покрыты, а одежда превратилась в обгоревшие лохмотья. У меня у самого руки усеяли пунцовые волдыри. Мне казалось, что вот-вот упаду. Но бойцы смотрели на меня. Я обязан был выстоять. И мы еще злей продолжали сражаться...

Еще одно имя героя последнего боя я обязан назвать, тем более, что и его мало кто знает. Это – Николай Самсонов. На войну, как и Неустроев, ушел из Свердловского пехотного училища.

Так вот, старшему лейтенанту Самсонову (однофамильцу знаменитого комбата Константина Самсонова, который тоже штурмовал рейхстаг) было приказано во главе роты проникнуть в рейхстаг и потушить там пожар. Кроме этого, Самсонов назначен был дежурным по рейхстагу. Да-да, дежурным! Никому больше не доводилось быть в такой роли – Самсонов единственный!

Трудно было пробиваться роте через Королевскую площадь. Редели ее ряды. Раненых подбирали санитары и возвращали обратно за Шпрее. Но многие, особенно легкораненые, в тыл наотрез отказывались отправляться, рвались в рейхстаг.

Рота, ворвавшись в здание, сразу же накинулась на огонь. Спросите, чем тушили? Почти голыми руками. Ни брендспойтов, ни огнетушителей не было. Тушили огонь всем, что попадалось на глаза. А глаза дымом да пеплом слепило. Часто солдаты глушили огонь своей одеждой. И пожар все-таки был остановлен.

Кстати сказать, после того боя Самсонов как-то исчез из поля зрения. О нем просто забыли, и он не подавал голоса. Ведя поиск героев штурма Берлина, я наткнулся на имя дежурного по рейхстагу – где же он? Неустроев пожимал плечами: неужели погиб? Но, как говорят, кто ищет, тот находит. И нашелся Самсонов. Мы его искали за тридевять земель от Урала, а он преспокойно жил себе все послевоенные годы и сейчас живет на Первомайской улице в Свердловске-Екатеринбурге. Жил и помалкивал.

И сейчас несловоохотлив Николай Васильевич. Скромный он человек, живет тихо, спокойно. Другой на его месте не раз бы голос подал: мол, знаете, кто рейхстаг спас от сожжения... – И верно, не дал дотла сгореть ни людям, ни германскому строению! Но Самсонов не приучен стучать себе в грудь. Была война – воевал, как все. В пешем строю тысячи верст протопал. Да что и говорить, отведаль командир-пехотинец всякой беды. До сих пор по ночам ноют рубцы на теле – отметины войны.

– Воевали, как могли, – сказал как-то мне Николай Васильевич.

– Силенка была, ведь все мы молоды были и ответственность имели.

Вот именно – ответственность! Верное слово. В нем заключено многое – и героизм, и мужество, и смелость. Подумать только: до Победы было «четыре шага», а до смерти – и того меньше, но никто не думал о смерти, Победой жили все – командующий и солдат, комбат Неустроев и дежурный по рейхстагу Самсонов...

Итак, Победа была рядом, здесь, в рейхстаге. Батальон всей своей силой, всеми огневыми средствами навалился на врага. Трещали стены комнат, рушились потолки – нигде фашистам не было спасения. И они не выдержали натиска и нырнули в подzemелье. В рейхстаге подвалы глубооченные. Забрались туда и притихли.

Вдруг откуда-то потянуло приятным запахом щей. Точно – наши русские щи. Из-за колонны показался командир хозвзвода лейтенант Власкин. Неустроев удивился:

– Ты, Власкин, как сюда пробрался?

– По-пластунски да перебежками, товарищ капитан. Щи и каша в целости доставлены.

И, кажется, только сейчас вспомнил комбат о Первомае.

– Братцы, – обратился Неустроев ко всем, кто был в этом огромном зале на первом этаже рейхстага. – С праздником вас, с Первомаем! «Ура!» наполнило зал.

– А нельзя ли чарочку по случаю праздника? – донеслось до Неустроева.

– Лейтенант Власкин, что скажешь? – комбат хитровато посмотрел на командира хозвзвода.

– Будет! – громко, чтоб все слышали, произнес Власкин.

Потом несколько праздничных слов сказал Берест.

– Нет, вы только подумайте, где нам довелось сегодня встретить Первомай. Наша армия пришла в Берлин. Это же здорово! Друзья мои, запомните этот час. Все запомните: и этот зал германского парламента, и лейтенанта Власкина – кормильца нашего, и своего комбата в обгорелом ватнике. Запомните поименно всех, кто пришел в рейхстаг, кто не дошел до него... Победа рядом. Она здесь, в этом здании. Мы ее должны добыть именно сегодня, в наш первомайский праздник...

Давно солдаты так не били в свои огрубевшие ладони – в охотку аплодировали.

– Спасибо, Алеша, – Неустроев пожал руку Бересту. – Ты говорил, а у меня шел мороз по коже. Где ты только такие душевные слова берешь? Спасибо, комиссар!

Что и говорить, повезло Неустроеву на замполита: словом был силен и делом крепок. Вечером 1 Мая, когда вдруг из подземелья вынырнул белый флаг, снова потребовался Берест. Немцы запросили переговоры, но с условием: готовы их вести только с генералом или полковником, видно, думали, что в рейхстаг ворвалась целая советская дивизия. Неустроев, хитровато прищулив глаза, взглянул на Береста.

– Ну-ка, Леша, скидывай свой ватник и живо брейся. Будешь полковником...

– Степан Андреевич, я все-таки лейтенант. И стал, между прочим, совсем недавно! – стал отказываться Берест.

– А разве полковником не сможешь? Твои, брат, плечи любое звание выдержат! – подбодрил Неустроев.

Бересту понравилась идея комбата. Он тут же приступил к делу:

побрился, почистился. Откуда-то появилась трофейная кожаная куртка, которая удачно легла на могучие плечи «полковника». Когда все было готово к переговорам, у самого спуска в подвал раздался звонкий голос начальника штаба батальона, чтоб немцы слышали: «Товарищ полковник, гарнизон рейхстага...» Мол, знайте, нас тут много.

По ступенькам спустились вниз втроем: высокорослый и широкоплечий Берест, его «адъютант» – низенький, щупленький Неустроев и молодой боец Ваня Прыгунов, кое-как говоривший по-немецки. Перед входом в подвал Берест вдруг попросил комбата снять телогрейку, одетую поверх кителя.

– Зачем?

– Пусть фрицы ордена видят и знают, с кем имеют дело.

И верно, когда появились в расположении врага, фашисты частенько посматривали на грудь низкорослого адъютанта, видимо, гадали: а сколько же орденов у самого полковника, ежели у адъютанта – пять...

И все-таки на риск пошли комбат с замполитом: оставили батальон и прямо зверю в пасть шагнули. Добровольно, без чьей-либо подсказки...

– Оправдан ли был такой рискованный шаг? – спросил я однажды Неустроева.

– Риск, говоришь? – Степан Андреевич улыбнулся. – Да, риск. Но без риска нет победы. Я все тогда продумал: фашисты прижаты к стенке, значит, их песенка спета, но, приглашая нас на переговоры, будут, конечно, виллять, выпрашивать выгодную ситуацию. На этот случай я должен был быть рядом с Берестом. Я ведь командир, и мне принимать решение. Вот и рискнул спуститься в их логово...

И еще была причина, о которой Неустроев умолчал: он никогда не взваливал тяжелую ношу на чужие плечи, не страшился опасности, ибо знал, что солдаты не должны видеть в своем командире труса. Так жил, так воевал!

Переговоры были краткими. Правда, фашисты пытались затеять торг: согласны сложить оружие, но только в том случае, если русские выведут свои войска из рейхстага, мол, им, немцам, как-то не очень хотелось бы проходить через боевые порядки разъяренных советских подразделений. Неустроев дернул за рукав Береста и рез-



ко произнес: «Дудки!». Берест понял комбата. Он сурово взглянул в глаза немцу-полковнику и басовито отрубил:

– Если не сложите оружие, будете уничтожены. Капитулируете – гарантируем жизнь. И никаких условий. Рейхстаг в наших руках!

Повернулись и зашагали по лестнице наверх.

– Холодом обдало спину, – вспоминал Неустроев тот миг. – Казалось, что вот-вот фрицы разрядят свои автоматы, и прощай, жизнь...

Было это в 4 часа уже 2 мая. В рейхстаге стояла тишина: фашисты в подземелье рядились, как им быть. Ну, а наши готовились к новому штурму. И только в начале седьмого из подвала вышел немецкий офицер с белым флагом и сообщил, что их генерал – начальник гарнизона войск рейхстага – отдал приказ о сдаче в плен.

Из подземелья группами поползли немцы. Они еле переставляли ноги, понуро, опустив головы, шли к выходу из рейхстага и складывали в общую кучу оружие – автоматы, пистолеты, пулеметы, гранаты...

Неустроев, стоя рядом с Берестом, произнес:

– Поздравляю, товарищ полковник!

– С победой, товарищ капитан! – пробасил Берест.

Сдался рейхстаг, пала резиденция Гитлера – имперская канцелярия, капитулировал весь Берлин.

А где же самый главный бандит – Гитлер? Вот вопрос, который волновал многих. Неужто улизнул? И поползли слухи: будто он, переодевшись в дамское платье, пробрался к Бранденбургским воротам, а оттуда на спортивном самолете какая-то летчица-фанатичка подняла фюрера ввысь. Другие же утверждали, что Гитлер в подземелье скрывается, только вот в каком – никто не знал: то ли в рейхстаге, то ли в бункере, что под имперской канцелярией. Словом, всем нужен был Гитлер, чтоб учинить суд и расправиться. И мы, корреспонденты, тоже пустились в поиск: авось наткнемся на фюрера – будет о чем писать!

Были и курьезы, о которых с улыбкой вспоминаю...

– Сюда. Иди скорей, – слышу голос нашего фотокора Гребнева.

Но скорей никак нельзя – в рейхстаге нет света, да и препятствий на каждом шагу уйма: то на поваленный диван натыкаешься, то перевернутый шкаф не дает прохода. Но все же кое-как пролезаю сквозь завалы и добираюсь до Гребнева. А он щелкает аппаратом и хохочет. Перед ним солдат с портретом Гитлера в правой руке, а

слева – боже мой! – вроде сам фюрер.

– Похож? – спрашивает Гребнев.

Присматриваюсь к немцу: похож – и челка, и усики...

– Это я его взял, – радуется боец. – Говорю ему: «Ты – Гитлер!» – А он отнекивается, не признается, гад... Вот я и портрет прихватил, чтоб сравнили... Он!.. Не сомневайтесь... Сейчас к комбату доставлю!

Да, и такое было. Однако ж настоящий Гитлер никак не попадался на глаза. Но мы, не теряя надежды обнаружить его след, отправились в бункер фюрера.

Подземная резиденция Гитлера поразила множеством помещений и благоустройством. На шестнадцатиметровой глубине было все – дорогие ковры, картины, сервизы, стильная мебель, роскошные кабинеты, конференц-залы, телефонный узел, и даже отдельная комната для фюрерской овчарки, словом, много разного попадалось на глаза, но Гитлера след простыл.

И все же удача к нам пришла: натолкнулись на Геббельса. Этот момент Гребнев тут же запечатлел на пленку. У трупа Геббельса наши офицеры ведут допрос пленного фашистского адмирала Фосса.

Адмирал – один из приближенных Гитлера – много знал и был словоохотлив. Он сообщил, в частности, что фюрера нет в живых и рассказал подробнейшим образом о его последних днях. Когда война ворвалась на улицы Берлина, Гитлер вконец скис, обрюзг, голова стала болтаться, руки дрожали, даже голос изменился – в горле булькало. Правда, эта развалина 29 апреля учинила еще и свадьбу: Гитлер решил уйти из жизни не холостяком, а законным мужем киноактрисы Евы Браун. Окружение фюрера поразились причуде своего шефа: русские снаряды рвутся над бункером... и вдруг бракосочетание!

Всего одни сутки прошли после свадебного «пиршества», и в имперской подземной канцелярии глухо грохнул выстрел: Гитлер принял яд, а затем, для верности, послал себе пулю в рот. До этого фюрер самолично накормил отравой овчарку.

Приняла ядовитую пилюлю и Ева Браун. Офицеры-эсэсовцы кинулись в комнату Гитлера и, быстренько укутав трупы коврами, поволокли наверх – в сад имперской канцелярии. Могилы не надо было копать: кругом воронки – следы нашей артиллерии. Выбрали

ту, которая поглубже, и положили молодоженов – Адольфа и Еву – рядышком. Потом плеснули на них бензином и подожгли. По саду пополз смрадный дым...

Сказанное немцем-адмиралом вскоре подтвердилось. Наши разведчики нашли воронку-могилу, а в ней и останки фюрера. Он основательно обгорел, целой осталась только челюсть, которая и позволила достоверно установить, что это был Гитлер. Тут же лежал и почерневший скелет его супруги. А поодаль, тоже в воронке, покоилась овчарка.

Геббельс последовал примеру фюрера. На рассвете 2 мая он закончил с собой. Его тоже подожгли, но он не сторел, только одежду поглотил огонь. Фосс показал, что от многочисленной семьи Геббельса никого не осталось. Жуткую историю рассказал адмирал: жена Геббельса с помощью врача-эсэсовца умертвила шестерых своих малолетних детей. Девчонки кричали, плакали и пытались убежать. Но мать, закрыв комнату на ключ, ловила их и силой подвела к врачу, который втыкал детям шприц с ядом.

Я видел этих мертвых детей. Они лежали на длинном столе в белых ночных рубашках. Какая мать смогла бы такое сотворить? Только фашистское чудовище способно было на подобное палачество.

Адмирал сообщил деталь: умертвив детей, Магда Геббельс вышла в коридор и попросила у охранника сигарету. Затянувшись дымом, похлопала его по плечу, посмотрелась в зеркало и, повернувшись, ушла в комнату. Там и сама приняла яд...

Вот так ушли из жизни фашисты-палачи. Одни травились, другие – разбегались кто куда. Сбежал Геринг, скрылся Гиммлер, спрятался Риббентроп. Но всех настигла кара. Возмездие свершилось!

А чем же жил в майские дни Берлин? Как он воспринял капитуляцию? Чем заняты наши войска? Нас, корреспондентов, все это очень интересовало. И мы с рассвета до темна были на ногах.

Поражала тишина. Мы отвыкли от нее. Идешь по Берлину, и кажется, что вот-вот снова начнется пальба, тогда придется падать на асфальт и ползти по-пластунски.

Нет, не надо ползти. Можно идти смело во весь рост. Берлин полощется в белых флагах – капитуляция!

Однако не везде можно пройти. Мешают рвы, завалы, рухнувшие дома – следы только что утихших боев. Стоят обгорелые само-

ходки, танки, орудия с уткнувшимися в землю стволами...

И вдруг видим своих. Подходим. Танкисты оживленно разговаривают с девушками:

– Кто вы? – спрашиваем их.

– Невольницы, – отвечает голубоглазая.

Невольницы? Слово какое страшное. Ну да, это же их угоняли фашисты из Белоруссии, Украины, из-под Смоленска, Ржева, Великих Лук... Угоняли в рабство.

– Были невольницами, – поправляет вторая девушка. – Теперь вот на свободе. Знакомимся. Девушки называют себя: Вера Загура, Надя Сушко, Фрося Григорчук.

Пишу эти строки, а на память приходит совсем недавний разговор с молодым человеком, между прочим, литератором. Он такое сказал, что и повторять не хочется, но осмелюсь. «А может, лучше бы было проиграть войну. Тогда сталинизму пришел бы конец...» Так вот и выпалил. Я, конечно, возмутился, но, успокоившись, рассказал про сожженные города и опустошенные села, про виселицы, которыми фашисты усеяли нашу землю, про Майданек и Хатынь. Не вспомнил только про невольниц. Увидел бы он, умник, легко отдающий врагу Родину, этих рабынь, услышал бы их рассказы о неволе, о растоптанной юности, об издевательствах и насилиях хозяев-фашистов над ними. За малую оплошность догола раздевали юных девчонок и стегали ремнями, запирали в холодный карцер... Это не я придумал. Вера Загура и Надя Сушко рассказали.

– Не будем лихое вспоминать, – остановила подруг Фрося Григорчук. – Спасибо за то, что вы пришли в этот проклятый Берлин и освободили нас. Век вас не забудем...

Девушки успокоились и попросили указать, как лучше пройти к рейхстагу, хотят увидеть Знамя Победы. Три года не видели наших красных флагов. На прощанье они пожимают руки танкистам, благодарят. Фотокор Гребнев щелкает «лейкой», а я прошу сержанта написать несколько строк для газеты.

– Бумаги не имею, – отвечает.

Подаю свой блокнот.

Сержант пристраивается у танка и пишет: «Я русский, зовут меня Иван. Никогда я так не гордился своим именем, как теперь.

«Иван в Берлине!» – здорово звучит. Сержант Иван Беликин.»

– Годится? – спрашивает.

– Порядок, – отвечаю. – Обязательно напечатаем.

Прощаемся с танкистами и выходим на Александерплац. Здесь дымит наша походная кухня, а к ней со всех углов площади идут люди – с тарелками, термосами... Это же немцы. Точно. Подходим и мы вплотную к кухне. Глазам своим не верим: наш повар наливает в немецкие посудыны русские щи. Заметив нас, повар крикнул: «Кормлю берлинское население!.. Комдив приказал». Вот оно как! А ведь Геббельс, охочий до словоблудия, обращаясь по радио к берлинцам, страдал, запугивал, говорил, что русские, если войдут в город, всех передавят. Как всегда, врал этот фашист-болтун. Вон что делают русские: не дают немцам умереть с голоду – делятся своим пайком.

И спасают от беды. Фотокор Гребнев запечатлел одну из многих сцен: наш сержант-медик прямо на улице оказывает помощь раненому немцу. До сих пор хранится в моем фронтовом блокноте фамилия этого санинструктора – Кузьмин Н.А. Может, откликнется, если жив и прочитает...

В те майские дни рядом с ликованием соседствовала и скорбь. Мы радовались победной тишине и оплакивали павших товарищей. Из рейхстага, из берлинской подземки, из «дома Гимmlера» – отовсюду, где прошли бои, выносили убитых. Их было очень много. Хоронили в разных точках города. Это потом появится Трептов-парк с монументами Памяти, куда всех павших снесут на вечный покой. Вспоминаю своего коллегу – журналиста Вадима Белова, редактора дивизионной газеты. Прошел всю войну, был в труднейших переплетях, но уцелел. А в Берлине у Моабитской тюрьмы его настиг вражеский фаустпатрон – и не стало Вадима. Остался навеки на чужой стороне.

Да, война всем кромсала жизнь. Берлинцам тоже досталось. Многие остались без крова, без одежды и воды. Мы видели людей, понуро разгребавших завалы. Кто-то навзрыд плакал, а иные вслух благодарили Господа: наконец-то все стихло, и нет больше пальбы.

А мы, как могли, отмечали Победу. По берлинским улицам неслись русские песни, по брусчатке стучали солдатские каблуки – шла удалая пляска. У Бранденбургских ворот боец-победитель на гармо-ни наигрывал трогательный мотив про скромный синий платочек...

Так началось утро 9 мая 1945-го – утро нашей Победы.  
**Александр МАУРОВ**

## Миг атаки

Для меня война – не миф, не «тема» –  
В душу пулей всажено бывшее.  
Не вместить ни в песни, ни в поэмы  
Миг – всего лишь миг! – на поле боя.

...Ты бежишь вперед.  
В упор – стреляют.  
Друг твой рядом спотыкнулся, замер.

Все проходит.  
Раны заживают.  
Но тот миг всю жизнь перед глазами.

## Возвращение

Вдали блестит полоска плеса,  
За ней – прибрежный косогор.  
Вагон качает, и колеса  
Ведут ритмичный перебор.  
Леса, леса...  
Старушка ива  
Грустит над сонною водой.  
Печальный край.  
Он не красивый,  
Но он мне дорог – он же мой!

Итак, я на родине... Желтая тропка,

Пожухлые листья легонько шуршат.  
Отсюда ушел я мальчишкою робким  
И вот, через годы, вернулся назад.  
Из всех механизмов я знал автомат,  
Понятней других было слово «тревога»,  
И даже домой я пришел как солдат,  
Готовый, хоть с места, пуститься в дорогу.  
Задумчивый ястреб парит в высоте...

А где-то бьют волны о берег скалистый.  
Но разве сравнится чужой красоте  
С веселой землячкой – березкой пушистой!  
Шумит, белобрысая, вот, наяву,  
И галки над нею галдят, как дерутся.

Так хочется носом уткнуться в траву,  
Друзей помянуть, что уже не вернуться.

Поселок, согласиться надо,  
Разросся – узнаю с трудом.  
Иду тропинкой вдоль ограды  
И упираюсь в отчий дом.  
Присел, придвинулся к воротам,  
Окном уставился в забор...

С авоськой из-за поворота  
Мать семенит в родимый двор.  
Узнала.  
Руки протянула.  
Застыли возле двух рябин.  
– Пришел...– заплакала, прильнула.  
– Ну, здравствуй, мама!  
– Здравствуй, сын...

И боль, и радость я изведал,  
Не лез от жизни за плетень,  
Так верьте мне: со дня Победы

Второй по счастью – этот день!  
Обычай свят: с дороги бриться –  
И в баню с веничком шагай.  
– Служивый, можешь простудиться,  
Дуй на полок – здесь сущий рай!..

Мать дома распрямила спину,  
Так много радостных хлопот!  
И пахнет детством от малины,  
Что обступила огород.  
А тут гроза собралась к ночи,  
И гром над крышей – грох да грох...  
Мне мама:

– Ты не спишь, сыночек?  
Не страшно?..  
– Мне-то?.. Я как бог!

...Душа все там, где горы, тучи  
И где Россия – за спиной.  
Успел узнать я – так, на случай, –  
Военкомат – подать рукой.

\* \* \*

Кричал я по ночам:  
– Земля на румбе!  
И воплем этим бабушку будил.  
Она крестилась.  
Я же плыл с Колумбом  
И по тайге с Арсеньевым бродил.  
Без устали скитался по планете,  
Смотрел на звездопад с высоких гор...  
Любил я просыпаться на рассвете —  
По ягоды ходить в сосновый бор.



В нем шла война индейцев. Ох и злая!  
Соседский Мишка, по прозванию Сыч,  
Петушки перья в волосы втыкая,  
Визгливо издавал победный клич.  
Но детство кончилось.  
Я вырос и уехал.  
Под Минском на войне убит сосед.  
Забыты детства шумные потехи,  
И бабушки моей давно уж нет.  
Сбылись мечты: я побывал в тех странах,  
В которые и верилось с трудом.  
Но в жизни все устроено так странно:  
Вчера мне снился Мишка, старый дом...

## Командировка

Вагонная дверь открывается туго,  
Как будто разбухла.  
И дождичек льет.  
В мозгу словно вспышка –  
здесь родина друга.  
Я даже споткнулся, а вдруг подойдет?  
Стою, озираюсь...  
Зонты и букеты.  
Пылает в неоне огромный вокзал.  
Дружище мой верный, ну что же ты, где ты?  
И адрес родни твоей я потерял...  
Какой ты – я вижу.  
Я многое помню:  
Мы вместе держались в армейском седле.  
Рассудок мне шепчет:  
«А ты поспокойней.  
Твой друг был убит в чужедальной земле,  
Погиб он в веселом преддверии мая,

До мира, казалось, достанешь рукой...  
Не наши березки над ним полыхают,  
Не ветер с тайги навевает покой».   
Вздыхнул я, достал папиросы и спички,  
Шагнул в темноту – что торчать на виду?  
Приходят, уходят в туман электрички,  
А я все стою и чего-то все жду...

## Санюги первого срока

В обеденный перерыв на полевой стан прибежала учетчица соседней бригады Галинка Савельева – девчонка донельзя веснушчатая, голенастая. На язык невоздержанная. А Михаил Денисович Курносов только что плотно подзакусил, постелил возле трактора пахнущий керосином ватник и решил подремать полчасика. Рядом сидел его младший сын Петр, прицепщик, поддерживал затылок ладонями, отыскивая взглядом весело звеневших жаворонков под облаками.

Галинка умерила резвую рысцу, поздоровалась, протянула Михаилу Денисовичу извещение на посылку:

– Вот здесь, дядь Миш, распишитесь...

Курносов достал из кармана куртки карандаш, Попробовал его на ногте. Пожал плечами, пробормотал:

– Что еще за посылка...

– Из Западной Германии, – почему-то понизив голос, сообщила Галинка. – Родственники у вас там, дядь Миш?

Девчонка аж пританцовывала от любопытства. Курносов посмотрел на нее пристально, усмехнулся едва заметно. Шепнул как бы по секрету:

– Ихний канцлер кумом доводится!..

Галинка улыбнулась понимающе, стрельнула глазами в Петра и затараторила:

– Мало ли, что. Я, дядь Миш, читала недавно: один рабочий наследство из Америки получил от какого-то усопшего фабриканта. – Перевела дух. – Только он, дядь Миш, отказался от этих больших

денег. Честному советскому труженику не нужны наследства, нажитые нечестным трудом пауков-эксплуататоров. И я со своей стороны так вам, дядь Миш, посоветую: если...

– А я все думал-думал: с кем бы это мне посоветоваться? – Курносов вдавил в землю окурок, встал, посмотрел на солнце. – По коням, Петька! К концу смены нам еще во-о-он до той лесопосадки вспахать требуется.

За час-другой новость облетела весь совхоз. Обросла такими подробностями о заграничном родстве тракториста Курносова, что он почти не удивился, когда встретил возле своего дома участкового уполномоченного, а во дворе увидел с десятков любопытствующих мальчишек. Старшина милиции поприветствовал земляка, пробормотал что-то о погоде, потом сообщил, словно бы между прочим:

– Почта в восемь закрывается!

Курносов остановился, вздохнул укоризненно:

– Мальчишки – понятно. А тебе, друг ситцевый, какое дело до заграничных посылок? В пай метишь или как?

Старшина одернул китель, заморгал растерянно:

– Да нет, я... просто...

– Будь здоров!

Не замечая мальчишек, Курносов прошел в дом.

– Собери-ка, мать, пожевать...

Хлеб показался Михаилу Денисовичу пресным. Щи – пересоленными. Расковыряв вилкой котлету, он решительно отодвинул тарелку и пошел на почту. Там он получил аккуратный фанерный ящичек, осмотрел ярлыки со штемпелями. Озадаченно поскреб в затылке сквозь фуражку, спросил у заведующей:

– А что вот это не по-нашему написано?

– Тоже адреса. Сверху – ваш, снизу – обратный.

– Мне, значит, – окончательно уверился Курносов. – Ка Шульц. Хм! Что за Кашульц?..

Дома Михаил Денисович прошел на веранду, поставил ящичек на стол, не спеша размял сигарету. Заблудившаяся пчела ползала по наличнику, жужжала басовито. Открыл окно, закурил. Неведомый К. Шульц не выплывал из глубин памяти: много воды утекло за послевоенные десятилетия.

Наконец жена отыскала клещи. Длинные тонкие гвозди вылезали туго, со скрипом. Завернутое в рифленую бумагу содержимое Курносов не спешил разворачивать, сразу взялся за письмо. Буквы крупные, печатные.

«Дорогой камерад сержант Михаил Денисович! Ваша страна подписала новый договор о сокращении вооружения и охране мира.

Поздравляю вас, геноссе сержант, и приветствую вас. Адрес узнал в Москве.

Почтительно прошу принять в подарок сделанную моими руками эту принадлежность туалета. Писать помогает сын, он учит ваш язык. Вы не совсем забыли, что я есть, камерад?

Меня зовут Карл. Помните Ивана?»

Задубевшее, исхлестанное ветрами и годами лицо Курносова просияло, морщины разгладились. Он откинулся на спинку стула, захохотал раскатисто:

– И вспомнил же, шельма!..

На веранду выглянула встревоженная жена. Михаил Денисович вытер повлажневшие глаза, улыбнулся растроганно:

– Полюбуйся, мать, какую мне «принадлежность туалета» из-за границы прислали...

В рифленую бумагу были завернуты сапоги. Мягкие, аккуратные, хромовые. Луч заходящего солнца скользнул по голенищам, отразился на потолке матовым зайчиком.

Михаил Денисович прошелся по веранде. Он подтянулся, помолодел, стал похожим на того бравого сержанта, который снисходительно посматривал на него со стены. За солдатскими спинами сеерет побитая осколками, исписанная штыками колонна рейхстага. Где-то на этой стене расписался и он, сержант Михаил Курносов...

...В Берлине уже вторые сутки идут уличные бои. Погода установилась жаркая – дышать нечем. Сквозь едкий дым и пыль едва пробивается солнце, и кажется оно неестественно красным, раздувшимся, будто аэростат. Губы трескаются от зноя, от жажды, от еды всухомятку. Кухни – во втором эшелоне. Вода – во флягах.

Взвод стрелковой роты только что отбил еще один дом. Побросав оружие, для чего-то сняв каски, из подъезда выходят эсэсовцы

с поднятыми вздрагивающими руками. Русский человек отходчив: смотрит он на недавних врагов – жалких, перепуганных, – посмеивается снисходительно.

– А что, братья-славяне? Смирный фашист, когда ему хвост прищемят?

– Так-то оно так, да только...

Командир взвода отрядил автоматчиков для отправки пленных на сборный пункт, прислушался к затихающей перестрелке в развалинах соседнего квартала, разрешил сделать перекур. Кто-то вынес из дома кресло – массивное, с резной высокой спинкой, с тонкими позолоченными ножками. Солдаты, усаживаясь в него, перематывали портянки, морщились. Еще по весне многие прельстились добротностью немецких сапог, побросали ботинки, не подумав.

Легкомыслие обошлось дорого: сапоги не изнашивались, ноги в них прели и стирались в кровь.

Солдаты с завистью поглядывали на своего отделенного:

Через своего знакомого старшину Курносов ухитрился получить на складе хромовые сапожки первого срока носки. Легкие, мягкие, красивые, они подчеркивали молодцеватость владельца.

Мимо дома, распыляя траками гусениц кирпичи и щебень, прошла тридцатьчетверка. Из ее пушки выметнулся ярко-фиолетовый факел, грохнул выстрел. Откуда-то посыпались со звоном чудом уцелевшие стекла. Машина словно бы присела, рванулась вперед, и башня ее стала разворачиваться. Кто-то позавидовал:

– Малина танкистам – сиди да постреливай!.. Всю жизнь босиком воевать можно.

Внезапно из подвала в дальнем углу двора ударил немецкий автомат. Лейтенант выпорхнул из кресла, скомандовал срывающимся на тенор баском:

– Ложись!

Взметнулись цепочкой фонтанчики пыли, от спинки кресла отлетела щепка.

– В дом, все в дом! – торопливо распорядился лейтенант. – Со второго этажа с этим недобитком побеседуем...

Под каменным прикрытием второго этажа разозленные солдаты остыли: возле продолговатого окна подвала, похожего на амбра-

зуру, плакал, метался от страха ребенок лет шести.

– Че-ерт... Чего только на войне не увидишь! – Откуда он взялся-то?..

Гулкая дробь из подвала срезала перебежавшего двор посыльного второй роты. Ефрейтор взмахнул руками, будто потягиваясь, запрокинулся навзничь.

– Пробраться на улицу, подсказать танкистам. – хмуро предложил солдат в одном сапоге.

– Крепко соображаешь. А пацан?

– А что – пацан? Пацан лет через двадцать тоже «хайль» заорет.

– Мальчонка-то при чем!

Солдат вскипел:

– А вон мой земляк Гошка посреди двора улегся – он при чем? Эта тварь подвальная еще кого-то уложит – крови не нагледелись? А танк – один снаряд, и – пишите письма. Попробуй так-то...

– Почему бы и не попробовать... – Курносов щелчком отшвырнул стреляную автоматную гильзу, проследил за ее полетом задумчиво. – Разрешите, лейтенант?

...Сначала он полз. Очередь трассирующих пуль, словно предупреждение, разорвала пропыленный воздух над каской. Курносов затаил дыхание, замер: заметили – не заметили?.. Впереди захныкал мальчишка – тоненько, жалко. Не отрывая головы от земли, сержант глянул вперед одним глазом. Прикинул: еще несколько метров, и он окажется в мертвом пространстве. Все тело собралось привычно, превратилось в тугой сгусток мускулов.

Дуло вражеского автомата задрожало. Прыжок, другой, и сержант возле окна. Словно на гадоку, наступил он на прыгающий черный ствол, придавил его к нижнему выступу. Секунда – и в подвал полетела граната. А долей секунды раньше левую ногу сержанта обожгло двумя пулями.

Когда подбежали товарищи, Курносов, прислоняясь к стене, смотрел сосредоточенно, как чужая земля жадно впитывает яркие капли его крови. Он попробовал шутить:

– Сапоги попортил, мерзавец... Где я теперь такие достану? Хромовые, первого срока...

В медсанбат Курносова доставили на трофейной генеральской шинели. Заодно и мальчишку прихватили: не оставлять же его в пекле! Диковатые глазенки мальчугана быстро оттаяли, на другой день он уже выучил несколько слов по-русски, смешно коверкал их. Особенно забавляло его, когда сержант доставал из-под койки сапог, ковырял ногтем круглые пулевые дырки, сокрушался, потешая товарищей по палате:

– Какую обувь попортил, мерзавец! Ребята, кто по-фрицевски кумекает? Переведите этому сопляку, какой убыток ради него гвардии сержант Михаил Денисович Курносов несет... Как, говоришь, кличут-то тебя, крестник? Имя, спрашиваю, как?

– Карл, – каркающее сообщил мальчик. – Их бин Карл.

– Ну вот, заладил: кар, кар... Окрещу тебя, парень, по-нашенски временно – Иваном. Вот подскажи, Иван, могу ли я в таких сапогах на парад пойти? Нет, ясное дело.

Мальчик выглядывал из подушек, будто галчонок из гнезда, крутил головой и ждал с нетерпением, когда кто-нибудь переведет ему слова веселого русского солдата.

А через несколько дней Курносов отпросился из медсанбата, они с Карлом-Иваном расстались...

А там и война кончилась.

...Михаил Денисович примерил сапоги, прошелся по веранде.

Потом снял обновку, посмотрел за окно задумчиво. Силуэты вишенки стали густыми, сочными, будто деревца враз подросли, придвинулись к дому. Легкий ветерок принес запах нагретой за день молодой зелени, звуки баяна от речушки.

– Свет включить?..

Михаил Денисович рассеянно посмотрел на жену и, словно умываясь, провел по щекам ладонями. Еще раз полюбовался подарком, вздохнул:

– Хороши сапоги, да только не по мне уж. Нога не та, в туфлях привык... Пусть Петька носит, парню в армию идти по осени. А теперь вот что, мать, дай-ка мне бумаги да раздобудь конверт по красивше...

22 ИЮНЯ 1941

Казалось, было холодно цветам  
И от росы они слегка поблекли.  
Зарю, что шла по травам и кустам,  
Обшарили немецкие бинокли.  
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  
И пограничник протянул к ним руки,  
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  
Влезали в танки, закрывали люки.  
Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось.  
Кто знал, что между миром и войной  
Всего каких-то пять минут осталось!  
Я о другом не пел бы ни о чем,  
А славил бы всю жизнь свою дорогу,  
Когда б армейским скромным трубачом  
Я эти пять минут трубил тревогу.  
От Афгана до Чечни...



# ОТ АФГАНА ДО ЧЕЧНИ...

Вадим ДУЛЕПОВ

\* \* \*

пули – дуры, как синицы.  
гонит кровь весёлый страх.  
жизнь моя – золотые спицы  
в неизвестно чьих руках.

есть минуты вдохновенья –  
встать,  
бежать,  
к земле припасть.  
смерть дразнить живым движеньем –  
больше, чем азарт и страсть.

нитка тянется за ниткой,  
за петлёй идет петля...  
ты сегодня неубитый –  
стало быть, оставлен для

иного, что важнее,

что ещё не решено.  
желтогрудые синицы  
крошат камень на пшено.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЕЙТЕНАНТА

и послали дальше кушки.  
и в цепи – всего полвзвода.  
здесь неслышавшим кукушки  
снится русская природа.

снятся поле и опушка,  
горький травный запах ветра.  
здесь молчание кукушки –  
только сон, а не примета.

городские-молодые...  
лейтенант, солдату ровня,  
искупай грехи чужие,  
как велели, малой кровью.

роту на! твори карьеру.  
устанавливай отцовство.  
в батальоне офицеров  
некомплект. есть путь для роста.

бывший ротный, паша, ранен,  
в забыты кровавит губы.  
комиссуют, видно, парня.  
если жив, конечно, будет.

лейтенант! бери удачу,  
раз такое вышло лихо.  
по тебе никто не плачет,

только – мать тоскует тихо.  
не спешится что-то сыну.  
он уже учён, чтоб рваться.  
чин-то будет. как без чина!  
выйдет ли вот разобраться:

сколько будет трижды двадцать?  
сколькой крови правда стоит?  
как же так случилось, братцы,  
что душа культёю ноет?

...мясо вывернутой раны –  
словно мартовская пашня. ...  
молча подняли стаканы:  
он же лучшим был, наш пашка!

кровь черна, а честь – червлёна.  
можно всё! бесчестья кроме.  
эх, война, твои законы  
тяжелее беззаконья.

мы когда-нибудь вернёмся.  
хватит воли, хватит силы.  
хватит духу – разберёмся,  
что за родина нам снилась.

ранняя, скупая проседь –  
исполнение приметы.  
эх, война, твои вопросы  
тяжелее, чем ответы.

.....

снятся сны в далёкой дали,  
сны немые, про россию.  
не про ту – какую знали.

а про ту – какой простили.

## РУССКИЙ БОР НИКОЛА

шли по трапу навстречу судьбе и заменикам,  
из китового чрева борта – на прозрачную, ясную стынъ  
лейтенанты-мальчишки, майоры-папаши и женщины,  
а у каждой из женщин в союзе – долги да при бабушке сын.

паспортами рябили в глазах коменданта, позёвывал  
комендант и командною жестью едва дребезжал,  
и песчаной позёмкой, как сутки назад ещё – снежной позёмкою,  
отходили налево, кто раньше сюда не летал.

я – направо, в фуражке с дурацким багряным околышем,  
стыдно вспыхнувшим вдруг на бесцветном, тягучем ветру.  
и лежали у сердца жетон офицерский с николюю,  
что, угодник, женою положен был ночью, украдкой – на вдруг.

не заметил, смолчал, на прощанье такое не выскажешь:  
скольких лучших спаситель не спас, тут какой-то святой  
охранить меня должен в стране этой проклятой, выжженной –  
стариковской, картонной, почти невесомой рукой.

слышь-ко, дедушка, стар ты, поди, для заступника, будь ты  
даже моложе, и то – больно каторжен труд.  
вон нас сколько на этой земле собралось, божьих путников.  
может, тех, кто слабее, вперёд защитишь,  
может, я – как-нибудь...

я-то знаю, что ждан и любим, и любимую выпрошен  
у судьбы ли, у бога ли – страстной, отважной мольбой.  
охрани, николай, прежде тех, кто в войну эту выброшен

одиночеством, случая прихотью барской, нуждой. охрани пре-  
жде тех, кого ждёт эта мука –

заветное выстрадать,  
тех, кого не отчаянно ждут, или вовсе не ждут –  
от подрыва слепого, болезни смертельной, от выстрела

охрани их, никола... а я – как-нибудь...

задохнулась душа долгим перечнем вычетов.

русский дом, русский дым снеговой,

узкий краешек русского дня

я несу – с образком рядом – тайно крещённым язычником,  
свою веру нехитрую строго и честно храня.

## ШАХИД

короче, я его убил.

дремало в райской неге лето.

а он бежал что было сил

меж тополей, в полсотне метров.

ударился в плечо приклад.

упало в судороге тело.

его душа легко взлетела,

душе положено взлетать.

прощай, отчаянный шахид,

отныне ты – навек мой крестник.

я скоро буду... предстоит

тебе отличный шанс для мести.

ты затаишься у тропы,

протоптанной к вратам эдема,

припав к прикладу акаэма,

мгновенья будешь торопить.

расплатой радостно дыша,

нажмёшь на спуск.

и я узнаю,

что помнит вечная душа,  
не добежавшая до рая.

## пятьдесят девятое декабря

вот я и дома – снова на войне,  
среди роскошной азиатской грязи.  
дождь пахнет гарью, и ржавеют язвы –  
пробоины на брошенной броне.

опять январь стирает смысл имён.  
по адресам кварталов и предместий,  
разыскивая сгинувших без вести,  
блуждает смерть – безумный почтальон.

тускнеет бледной полосой рассвет –  
лоскут бинта – в крови, гноище, бурый.  
и смотрит близкий двадцать дикий век  
из-под прикрытых красноватых век  
убийцей-смертником, что обкурился дури...

\* \* \*

листаю канцелярские страницы,  
перебираю перечень имён.  
здесь писарь, видя повод отличиться,  
штабную скорбной музой осенён,

явил полёт казённого старанья,  
равняя командиров и солдат  
не по заслугам прежним и призваньям,  
а по ранжиру тайных смертных дат.

погибших список... этого майора  
я знал на той, другой войне, где он  
молчал всё больше – не до разговоров,  
пока война... теперь в броне сожжён.

отлично помню этого старлея.  
сухой такой, из мускулов и жил.  
он на вокзале ранен и дострелен,  
и лишь по фиксе позже узнан был.

подобие семейного альбома...  
в нём все – друг с другом запросто, на ты.  
в нём для друзей и просто так знакомых  
всегда готовы чистые листы.

под сенью звёзд иль византийской птицы –  
какая разница, где полегла семья!  
здесь все – родня мне.  
а война всё длится.  
а дома вырастают сыновья.

## Березка

Компания была тесной. Мужской. Потому и разговоры крутились вокруг войны, политики, женщин. О последних, к слову, говорили не ради них самих, а по отношению к первым двум темам: войне и политике.

Засиделись, как это бывает у давно не встречавшихся друзей, далеко за полночь.

Я – холостяк. Они – женатые люди. А посему, для порядка, пошли звонить их благоверным: объяснять, где задержались в такое время.

Юра Яковлев отчитался успешно, без нервных потрясений. То ли супруга уже привыкла к его поздним возвращениям, то ли у них в семье – домострой...

Сергею Игнатенко – не повезло. Пока мы с Юрой переминались с ноги на ногу, прицеливаясь, в какой «комок» податься за очередной порцией «брынцаловки», Сергей что-то смиренно объяснял, извергающей на него праведный гнев, телефонной трубке.

Он стоял к нам спиной – большой, с трудом помещающийся в будке, но даже по спине чувствовалось, насколько ему неудобно. Он запинаясь, оправдывался, словно нашкодивший школьник.

За годы нашего знакомства я не раз бывал у него дома и знал нрав его «половины».

Людку – хрупкую, рыжеволосую женщину с большущими, на пол лица голубыми «брызгами», как ласково именовал их Сергей, можно было с полным основанием назвать обычной офицерской женой.

В восемнадцать вышла замуж за свежееиспеченного лейтенанта-мотострелка. В двадцать – родила ему сына. Вместе с ним сменила тринадцать гарнизонов. Профессии не имела. И задачи у нее не было, кроме, как – ждать, встречать и провожать мужа да вос-



питывать сына, которому доводилось «папку» видеть чаще на фотографии, чем воочию. И хотя, как большинство офицерских жен, она про свои странствия говорила красиво: «Мы служили...» – ей за эту «службу» звезд и наград не давали, а трудностей хватило сполна... Может, потому и нервишки у нее к сорока годам распатались, и характер заметно испортился. Редкое застолье у Игнатенко проходило гладко. То она придерется, что Сергей лишнюю рюмку выпил, то начнет выговаривать, что ей внимания недостаточно уделяет... Начнет с простого упрека, потом закипятится, разгневается. Лицо покраснеет, а пресловутые «брызги», напротив, небесную окраску утратят, сделаются бесцветными, пронзительными...

Вспомнил я это – не удержался:

– Как ты терпишь все это, брат? Людка тебя поедом ест, а ты еще и оправдываешься...

Сказал и тут же пожалел: как-то не по-мужски получилось. Да и кто вообще имеет право в отношения супругов встревать?.. А Сергей возьми да улыбнись в ответ:

– Не ест меня Людка, а поливает...

– Это точно, поливает. Да еще как... – поддакнул Юра.

– Эх, ничего вы, братцы, не знаете. Тут история давняя... Так и быть, расскажу... Берите пузырь. Людка индугенцию еще на пару часов выдала... – снова улыбнулся Сергей.

Мы купили водку. Вернулись в дом. Расположились на, уже обжитой нами кухне. Опрокинули по стопке, и Сергей начал рассказ.

– В Афган меня откомандировали неожиданно, вместо «отказника». Редко, но встречались и такие. Сначала при беседе с кадровиками дает согласие на спецкомандировку, а потом, перед самой заменой – в кусты.

Я служил тогда комбатом в Мукачево, в Закарпатье. Был конец мая, по местным меркам, уже лето... Вдруг, звонок из штаба дивизии: «Готовьтесь, поедете на юг». Что такое «юг», тогда, в восьмидесятом, уже все прекрасно знали: значит, «за речку» и дальше Кушки. Ну, а «готовьтесь» – это так, для успокоения: через три дня должен быть уже в Ташкенте, в штабе ТуркВО. Три дня на все. И должность сдать, и семейные дела уладить. На службе отнеслись с пониманием: сдачу батальона быстро провернул. А дома, Людка,

понятно, в слезы... Как ее утешить? Не знаю, как...

Поехал в ближайший лесок, вырыл березку полутораметровую, привез в гарнизон, к нашему дому, выкопал яму у крыльца и туда ее, белоствольную, посадил. Соседи в голос: «Поздно уже деревья сажать. Не приживется!» – А я Людке тихо, на ушко говорю: «Хочешь, чтобы я вернулся, смотри за деревом. Завянет, значит, и мне – крышка...»

Так вот и простились. Улетел я в Ташкент, оттуда – в Афган. Командовал горно-пехотным батальоном. Вы знаете, что это такое. Из рейдов, практически, не вылезал. Бывали, впрочем, ситуации и пострашней...

Однажды приходит ко мне советник ХАД (военной контрразведки) и говорит:

– Алексейч, необходимо провести встречу между руководителями банд нашей и соседней провинции Ташкурган. В Айбаке и Дарайзинданском ущелье с «духами» договоренность достигнута. Если сумеем свести саманганских и ташкурганских «бабаев», будем контролировать всю ситуацию в нашей части Афганистана. Условия встречи определяют «духи». Место – Ташкурган. Соберутся все главари банд. Гарантом безопасности они хотят, чтобы выступил ты. И больше никого... Сам понимаешь, риск большой. Поэтому решать тебе, как скажешь, так и будет.

Надо сказать, что мой батальон был единственной боевой единицей, способной повлиять на ситуацию в провинции. Поэтому условие «духов» мне было понятно.

Однако, чтобы пойти на участие в переговорах, я должен был доложить по инстанции командиру полка, рапортом, как положено, дождаться его резолюции, а потом уж рисковать... Но времени для этого не было: выезжать надо было завтра утром.

– Я поеду. Каковы гарантии для меня?

– Гарантий для тебя нет никаких. А условия такие: губернатор провинции дает «УАЗик» с афганскими номерами. Ты – за рулем, но для страховки можешь взять с собой одного бойца, желательно, таджикской национальности...

Так я и сделал. Взял с собой преданного солдата-таджика по имени Телло (что в переводе – «золотце»). Понимал, что втягиваю

парня в смертельную авантюру, поэтому сказал:

– Ты можешь отказаться – мы едем на опасное дело.

– Я поеду.

Рано утром к нашему КПП подогнали «УАЗик». Я сел за руль. В «собачник» забрался Телло. У него радиостанция для связи (хотя действует она километров на восемь-десять, а мы к «духам» выдвигаемся на двенадцать, так что, случись что, все равно нас никто не услышит).

– Телло, у нас с этого момента одна жизнь на двоих. Ты язык «духововский» знаешь, я нет. Если услышишь, что-нибудь подозрительное, покашлий несколько раз.

– Я все понял, командир.

Подъехали к месту, которое назначили хадовские советники. Из дома вышли три бородатых «духа» с автоматами. Мы поздоровались по-афгански:

– Хубости-чатурости. Харасты-бахарасты. Так они говорят, прикладывая руку к сердцу. Переводится это довольно длинно: «Как твой дом, как твоя жена, как твои дети...»

Я в знак миролюбия поднял правую руку. Они уселись в машину: двое на заднее сиденье, а один рядом со мной. Поехали. У меня на душе кошки скребут: а может, эта встреча просто засада?

Доехали до нашего последнего блокпоста, а дальше уже «духовская» территория.

Чтобы вам было понятно, объясню. Ташкурган расположен на границе гор и пустыни на площади около восьмидесяти квадратных километров. Этакий огромный оазис с шахским дворцом посередине. Наших поблизости нет, за исключением пограничников, но они, как правило, в перестрелки не ввязываются. Одним словом, надеяться не на кого.

Ну, вот, заезжаем мы в Ташкурган. Виляем по улочкам. Сидящий рядом бородач показывает рукой: направо, налево. А я стараюсь запомнить маршрут, чтобы не заблудиться, если придется вырваться с боем. Наконец, бородач поднимает руку:

– Саиз! (Здесь).

Я останавливаю машину на небольшой площади, но двигатель не глушу. Смотрю, к нам шагают человек двадцать, все бородатые и все

вооружены. Наш «дух», который сидел за штурмана, вышел из машины, о чем-то с ними переговорил и делает мне знак выйти. Я вышел.

Бородачи осмотрели меня с головы до ног и подняли правые руки, в знак того, что принимают меня, как гаранта. Оставшиеся афганцы, что ехали с нами, тоже вышли и вместе с хозяевами удалились в дом.

Я вернулся в машину и потихоньку озираюсь. Вижу моджахедов за дувалами с оружием на изготовку. Говорю Телло:

– Приготовь гранаты. Если начнется бой, нам отсюда не уйти. Будем драться, сколько сможем. Но и их побольше с собой заберем!

– Хорошо, командир.

Сколько времени прошло, не скажу. В таких ситуациях у времени особый счет. Вдруг из-за дувала выходит к нам «бабай»:

– Уезжайте, переговоры закончатся в час. К этому времени и приедете.

Я медленно разворачиваю машину, спиной чувствуя, у скольких «духов» мы на мушке, и начинаю выезжать. Причем, знаю: есть территория, контролируемая нами, есть та, которую контролируют они, но есть и просто «беспредельщики», которым один Аллах судья. Если нарвемся на таких, нам – крышка!

Но пронесло. Выехали из кишлака, добрались до блокпоста. Пообедали. Ротный спрашивает:

– Как вас вытаскивать, если?..

Что ему сказать? Ташкурган не смогла взять дивизия вместе с маневренной группой погранцов и десантурой... Куда тут с ротой соваться!

Короче, в половине первого поехали назад. Дорога уже знакомая. Но пулю-то все равно ждешь: откуда прилетит? У машины, хоть и афганские номера, но за рулем – русский (блондина от брюнета любой бача отличит).

Подъехали. Встали. Справа, слева наблюдаем присутствие «духов» и ощущаем их неподдельный интерес к нам.

Проходит полчаса, а парламентары не показываются. Проходит еще двадцать минут – никого. А мы по-прежнему на мушке. У меня мысли всякие: «Может, переговоры не состоялись. Может, наших «бабаев» уже убрали. Теперь наш черед...»

В половине третьего вышел из-за стены какой-то старик и напрямиком к машине. Ситуацию отслеживаю, словно кадры в кино. Подходит он и кидает мне на колени скрученную записку. Я разворачиваю ее, а там цифры: «15.00». Понимаю, что надо подождать еще полчаса. Напряженность нарастает...

В 15.05 появляется толпа бородачей, и я вижу, что среди них нет приехавших со мной.

– Готовься, Телло...

– Я готов.

Они подходят к машине окружают, оживленно переговариваются. Я спрашиваю солдата:

– В их словах, есть угроза?

– Пока нет, командир...

– Тогда, подождем...

Наконец, из-за незнакомцев вынырнули парламентары. Опять длительное прощание с хозяевами. Потом «бабаи» садятся в машину.

– Телло, спроси: мы – в безопасности?

Тот перевел вопрос, а потом ответ:

– Они утверждают, что в безопасности.

– Это гарантировано?

– Да.

Я вырулил на обратный курс. Доставил бородачат туда, куда они пожелали и – в свой гарнизон. А там уже ждут представители ГРУ и КГБ:

– Как прошли переговоры?

– Не знаю. Я просто живой вернулся...

Сергея сделал паузу. Потом сказал:

– Поверите или нет, но рядом со смертью был два года: изо дня в день. Навидался всякого: и в засады попадал, и из окружения прорывался. Но одно скажу, в каких бы переделках не оказывался, не маму, не Бога, а Людку свою в такие моменты вспоминал. Ей молился: «Если ты мне сейчас не поможешь, то – никто не спасет»... И вот, прошел всю войну без единой царапины и даже заразы никакой – болезни, в тех местах распространенной – не подхватил.

Короче, цел и невредим остался.

Вернулся в Мукачево, как и уезжал, в самом начале лета. Под-

хожу к ДОСу, к дому офицерского состава, и, первое, что увидел, березку мою. А она, ребята, аж под второй этаж вымахала...

Потом соседи рассказывали, как Люда деревце это выхаживала. По три раза на дню поливала, от пацанов, футбол гонявших, грудью заслоняла, словно с подружкой с березкой разговаривала...

С той поры и повелось – зашумит Людка, забранит меня за что-нибудь, а я сам себе говорю: это она меня, как ту березку, поливает. Значит, любит еще, волнуется, жизнь мою бережет.

Сергей умолк. Мы, не сговариваясь, подняли чарки. Выпили. Без тоста. Просто так. И мужики, как-то вдруг засобирались. Мол, время позднее, пора и честь знать.

Я проводил их до перекрестка. Поймали такси. Ребята укатили. А я побрел в сторону дома, где меня никто не ждал.

## Потерянный ураган

Командира взвода разминирования старшего лейтенанта Колкова вызвали к комбату прямо из офицерской столовой. Случай – небывалый.

Армейская пословица гласит: «Война войной, а обед – по порядку!» По традиции, отнимать одну из солдатских радостей – не принято. Их и так в Афгане немного: сон, баня и еда... И, если уж Игнатенко выдернул Вадима из-за стола, не дав даже дохлебать первое блюдо – изрядно надоевший суп из сухой картошки с тушенкой, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

У входа в командирскую палатку Колков привычным движением одернул «афганку», провел пятерней по выгоревшим, давно не стриженным волосам и, придав своему лицу уставное выражение, откинул полог.

– Проходи, садись, – не дослушав рапорт, предложил Игнатенко. У майора был зверский вид. И только глаза, синие, не утратившие своего природного блеска, говорили, что недоброе впечатление о майоре – обманчиво.

Колков знал комбата уже больше года. И, если по казенным

меркам, каждый день, проведенный здесь, приравнивается к трем, можно смело считать: съел вместе с ним не один пуд соли.

– Худые новости, взводный, – мрачно сказал Игнатенко. Он ткнул пальцем в карту района ответственности, распятую перед ним на столе двумя банками консервов и обрезком снарядной гильзы, заменившим пепельницу:

– По дороге на Тулак два дня назад пропала реактивная установка «Ураган». В ней – двое наших: лейтенант Иванов и водитель... Здесь, а может, и вот здесь, – палец комбата передвинулся, по карте, – неизвестно. Пятнадцатый блокпост они прошли, на шестнадцатом не появились. По карте смотреть, километров двадцать будет. Потерянная машина – из артбригады армейского подчинения, выделена нам для поддержки... Экспериментальный образец! Артиллеристы «чесали» дорогу и окрестности сами – боялись докладывать наверх: за такую пропажу голову снимут!

– Выходит, не нашли... – заметил Колков.

– Комдив грома и молнии мечет, – продолжал майор, – радиостанцию, как печку, раскалил. Полчаса драл меня за то, что в нашей зоне это случилось... Говорит, что хочешь, делай, а «Ураган» найди! Нельзя, чтоб секретная техника «духам» досталась! В общем, так: придется тебе с разведчиками сходить, посмотреть, куда эта экспериментальная «хреновина» подевалась...

Колков хотел напомнить майору, что завтра должен выехать в один из кишлаков на разминирование, но передумал: начальству виднее, кому куда ехать, а исполнителю – все одно, что огонь, что полымя... Спросил деловито:

– Когда выход?

– Свяжись с Лукояновым. Он все знает, под его началом и пойдешь. Да, прихвати с собой ребят посмышленей. Ну, сапер, с богом!

Выйдя от комбата, «озадаченный» Колков направился к палатке разведчиков. С капитаном Лукояновым – командиром разведроты, у Вадима дружба давняя, подкрепленная не только личной симпатией, но и служебной необходимостью. Без сапера разведчикам в горах – дело гиблое. Но и сапер без прикрытия – легкая добыча для «духовских» снайперов. Валерка Лукоянов или попросту – Лю-

лек, как беззлбно окрестили его сослуживцы, и Вадим Колков пол-Афганистана вместе проехали на броне, а вторую половину протопали на своих двоих. «Сработались!» – так это называют в Союзе, а здесь и определения-то подходящего не подберешь: «своевались», что ли?

...Люлек сразу начал изливать душу.

– Ты погляди, Вадик, какой дурдом! – потрясая перед носом отпускным билетом, разорялся царь и бог полковой разведки. – Я же со вчерашнего дня в отпуске! Сегодня «вертушка» на Кабул уходит... Уже жене и дочке «бакшиш» упаковал – вчера, как волк, по дуканам рыскал... Думал: послезавтра дома буду... А тут эта машина чертова! «Батя» как с цепи сорвался: подай ему «Ураган»! А все остальное – потом: ордена, отпуска, манна небесная... Ну, вылитый дурдом!

Колков понимающе кивнул – не повезло – и, не дожидаясь приглашения, присел на краешек самодельного топчана, покрытого солдатским одеялом.

– А потом, ты же знаешь заповедь, – понизил голос Лукоянов, – нельзя на дело идти, когда ты уже душой не здесь. Помнишь Ваську Смородинова из третьей мотострелковой? Во! Полез в горы уже с предписаньем в кармане – заменщик в модуле ждал, водка на «отходную» затарена была... А он решил в благородство сыграть... Привезли со звездой во лбу – станешь тут суеверным!

Вадим эту историю знал. Что тут скажешь? Каждому – свое.

– Слушай, а может, мне «заболеть»? Начмед освобожденье сварганит... Обидно ведь: завтра был бы в Союзе...

Колков пожал плечами: Люлька можно понять и даже простить за мысли малодушные. Он свой отпуск честно заслужил. Не отсиживался по штабам, как некоторые...

– Ладно, что тут базарить, – неожиданно остыл капитан. – Первым делом, первым делом – самолеты... Собирай своих архаровцев. Через час выходим. До темноты надо успеть добраться до пятнадцатого блокпоста. Там оставим «броню», а сами рейдик по окрестным пригоркам произведем!

Что такое «рейдик» по-лукояновски и какие это «пригорки», Колкову объяснять не надо. Лукоянов не признает никаких запретов, действует всегда на свой страх и риск. Из времени суток предпочитает ночь. Для маршрута выбирает самые неприступные



скалы. В полку шутят, что каждый солдат в разведротe уже давно выполнил норматив мастера спорта СССР по альпинизму! И шутка эта недалеко от истины. Зато и воюет разведрота без потерь и возвращается всегда с трофеями. Царандоевцы рассказывают, что за голову Люлька «бородатые» кучу афганей обещают. А вот комполка даже к ордену его представить не хочет: уж больно «залетный» этот капитан, непредсказуемый, и поддаться – не дурак...

– Ну, что ж, рейдик, так рейдик, – Вадим поднялся. У самого выхода спросил:

– Ты Иванова, лейтенанта, который пропал, случайно, не знаешь? Что за мужик?

– Нет, лично не знаком. Он только по замене прибыл, выпускник артиллерийского училища.

– Значит, прямо с корабля на бал! Совсем наши полководцы из ума выжили... Кто ж пацана необстрелянного сразу в рейд посылает?

– А тебя самого не так, что ли?

– Я – дело другое...

\* \* \*

В первый рейд Вадим Колков на самом деле попал, не успев выйти из вертолета. Ступив на землю, на которой ему предстояло служить, удивился, что не спешит к нему с распростертыми объятиями заменщик, как пообещали в отделе кадров дивизии. Встречный солдат, у которого спросил, как найти комбата, торопливо объяснив, умчался, даже не задав офицеру традиционный вопрос: «Как там, в Союзе?»

Майора Игнатенко он отыскал в парке боевых машин. Тот уже собирался «оседлать» бэтээр, отдавая какие-то распоряжения дежурному. Колков представился.

Суровое лицо комбата оживилось:

– Вот это подарок! Вы, Колков, как нельзя более кстати. Сейчас же отправляйтесь в третью роту – поедете старшим машины. А чemoданчик свой можете у дежурного по парку, оставить: будет в целости и сохранности... Вернемся, познакомимся поближе, а сейчас – некогда!

Вадим не успел задать Игнатенко вопрос, как ему ехать в рейд без оружия и экипировки, как тот ловко, словно обезьяна, вскарабкался на броню и бронетранспортер, подняв облако едкой пыли, покатил к выходу. Колкову ничего не осталось, как, сдав дежурному на хранение свой нехитрый багаж, отправиться на поиски третьей роты.

Лейтенант, исполняющий обязанности ротного, со щеголеватыми вздернутыми усиками, в инструктаже, как и комбат, был краток:

– Едем на перехват каравана! По данным разведки, он будет проходить по нашей зоне. Пойдем на максимально возможной скорости. В движении необходимо строго держать дистанцию, идти колея в колею, следить за сигналами старшего колонны. Главное – никакой самодеятельности! Водитель машины Шорохов – парень опытный, в случае чего, подскажет. А сейчас – по машинам! Твой КамАЗ вон там!

В кабине Вадим попытался завязать разговор с Шороховым. Широкоплечий загорелый сержант оказался немногословен. Колков понял только, что батальон подняли по тревоге несколько часов назад, офицеров в роте не хватает, а его, Колкова, заменщик, недавно угодил в госпиталь: подхватил то ли тиф, то ли лихорадку... Что же касается самого Шорохова, то он родом с Алтая, скоро на «дембель». Служба здесь ему не то чтобы нравится, но жить можно. Комбат у них толковый – попусту солдата в пекло не пошлет...

На этом красноречие Шорохова иссякло. Он надолго умолк, очевидно, считая, что и так выложил перед незнакомым офицером слишком много.

Сам Колков от быстрой смены событий и всего того, что он узнал, пребывал в некой прострации. Еще неделю назад он служил на Урале в гвардейской части, в воскресенье бегал на танцы в гарнизонный офицерский клуб. И вдруг – спешное оформление документов. Объяснили: вместо какого-то «отказника». Семейного офицера без подготовки не пошлешь: то у него жилья нет, то ребенок в садик не устроен. А Колков – холостой, с ним никаких проблем. Так стремительно и очутился в Афганистане...

Вадим смотрел в окно КамАЗа и не мог поверить, что все это происходит с ним. Что он едет по незнакомой земле. Что в любой миг может просвистеть пуля – и ничего больше для него не будет:

ни неба, ни солнца, ни прошлого, ни будущего...

К настоящему Вадима вернул Шорохов:

– Товарищ старший лейтенант, Чертова пята!

Колонна в облаке пыли втягивалась на просторное плато, напоминающее коровье копыто. Вскоре пылевая завеса стала такой густой, что Шорохов включил стеклоочистители и фары.

– Дурное место, – сказал он, напряженно глядя вперёд. – Здесь всегда что-то случается...

– Что случается? – встрепнулся старший лейтенант. Шорохов не ответил. Впереди идущий бронетранспортер так резко затормозил, что только реакция сержанта спасла КамАЗ от столкновения.

– Ну, началось! – напряженно сказал водитель.

За стеклами кабины творилось и впрямь что-то невообразимое. То облако пыли, которое Вадим поначалу принял за шлейф от машин, не осело и тогда, когда колонна остановилась. Колков попытался, опустить боковое стекло и выглянуть наружу.

– Не открывайте! Это – афганец, – остановил сержант. – Здесь он часто бывает. Раз проскочить не успели, теперь будем ждать, пока не закончится.

Тем временем в кабине стало совсем темно. Колкову, впервые попавшему в песчаную бурю, показалось, что ветер, как живое существо, стонет, воеет, царапает по кабине тысячью когтистых лап, швыряет в стекла охапками песка, каменной крошки, раскачивает машину, как игрушку...

Афганец стих так же внезапно, как и начался. Взору старшего лейтенанта предстала экзотическая картина: увязшие по ступицы колес бэтэры и машины, покрытые красно-бурым налетом, стали похожи на доисторических чудовищ.

Еще некоторое время экипажи не подавали признаков жизни, словно всех унес с собой ураган. Первым человеком, появившимся перед КамАЗом, был Игнатенко. По колено проваливаясь в песок, комбат медленно продвигался вдоль колонны, энергичными жестами призывая подчиненных быстрее разгрести заносы. Поравнявшись с Колковым, он поднял руку с часами, давая понять, что они опаздывают.

...Что еще запомнил Вадим из того первого рейда? Не найдя караван, который словно растворился в завихрениях афганца, колон-

на понуро возвращалась в гарнизон. Когда проходили мимо одного кишлака, серыми дувалами прилепившегося к склону хребта, случилось еще одно происшествие, потрясшее Колкова. Солдаты мотострелковой роты, шедшей впереди саперов, начали расстреливать всякую живность, попадавшую в поле зрения. Вадим видел, как полегло около десятка верблюдов, как заматались и бросились врассыпную перепуганные бараны, а один ягненок, потерявший мать, остался на месте, не зная, куда бежать... Снова заработал пулемет, ягненок, как-то неестественно подпрыгнул и завалился набок.

– Зачем это они? – спросил Колков.

– Со злости, что караван не взяли, а может, так просто, чтоб поприкалываться, – объяснил Шорохов.

– Что ж офицеры их не удержат? Это же... Они же, как фашисты..

– Попробуйте, удержите. Это вам – не Союз!

Потом Вадим обратил внимание, что номера стрелявших бронетранспортеров замазаны грязью, чтобы нельзя было определить, кто стрелял! Значит, все-таки боятся...

...Ночью, уже на подходе к гарнизону, колонну обстреляли моджахеды. Обстреляли там, где, по утверждению Шорохова, с местными всегда были добрососедские отношения, и наши машины нападению никогда не подвергались. От пуль, к счастью, никто не пострадал. Правда, в борту своего КамАЗа Вадим обнаружил три маленькие аккуратные дырочки, безобидные на вид...

Возможно, это был обычный обстрел, совершенный какой-нибудь чужой бандой, но в сознании Колкова он почему-то соединился с убийством животных и с застигнувшим их на плато афганцем.

\*\*\*

...Разведчики Лукоянова прочесывали ущелье уже вторые сутки. Никаких следов потерянного «Урагана», никаких отвечлений дороги, узкой серебристой лентой петляющей по гигантскому каменному коридору. Короче – нулевой вариант.

К полудню лавиной навалилась усталость. Даже видавшие виды солдаты разведроты не выдерживали темпа, заданного их неукротимым капитаном. Про саперов Колкова и говорить нечего. Ва-

диму уже несколько часов приходилось тащить на себе часть амуниции рядового Кочнева – длинноногого, словно цапля, солдата. Второй подчиненный старшего лейтенанта – ефрейтор Мерзликин топал сейчас в авангарде рядом с проводником и ротным.

Привал устроили, взобравшись на высокую скалу. Так безопаснее.

Присев на круглый камень рядом с Люльком, Колков с наслаждением вытянул натруженные ноги:

– Какие планы, главком? Долго еще блукать думаешь?

– Какие тут планы... Надо на связь с «большой землей» выходить: может, у них что нового... – чувствовалось, что Люлек зол на весь мир. – Говорил же я тебе: не будет толку от этой командировки! Без настроения иду... Только отпуск мне обосрали... Эй, связь! Запроси «первого», как у него...

Через несколько минут связист доложил:

– «Первый» на связи, товарищ капитан!

Люлек тут же завладел гарнитурой:

– Первый, первый, я – тринадцатый. Докладываю: у меня – пусто. Нахожусь в шестнадцатом квадрате у отметки семьсот двадцать восемь. Какие будут указания?..

Это «какие будут указания» из его уст звучало примерно как отречение от престола коронованной особы. Впрочем, помимо признания в собственном бессилии, в словах капитана был и упрек пославшим роту без надлежащей подготовки в район, напичканный бандами и минными полями...

Наблюдая за ним, Вадим пытался угадать, как протекают переговоры с ЦБУ. По тому, как разгладились и снова собрались морщинки на переносице Люлька, догадался: разговор с «первым» облегчения капитану не принес. Но обстановку, похоже, все-таки прояснил.

– Нашли железяку пропавшую! – возвращая наушники и микрофон связисту, сообщил капитан. – Без нас с тобой, Вадик, нашли, верст за тридцать отсюда... Вертолетчики обнаружили. А вот теперь опять мы потребовались: не могут обойтись без разведки! Приказано нам ждать «вертушку» здесь. Полетим на место – там и разберемся во всем. А роту Борька поведет к дороге. Так что радуйся, старик: Аллах в лице комдива лаптям твоим дает сегодня пере-

дышку, посылает за тобой железную птицу... Слышал анекдот про чукчу: «...железная птица летит – экспедисья называеся...», – Люлек нерадостно хохотнул и направился к сидящему в окружении солдат замполиту – старшему лейтенанту Борису Закатаеву.

Через четверть часа большая часть роты начала спуск вниз. На вершине остались Лукоянов с отделением разведчиков да Колков со своими саперами – больше Ми-8 в условиях высокогорья не поднимет.

...«Вертушка», поблескивая выпуклыми стеклами, зависла над ними, словно гигантская стрекоза. Лопасти несущего винта бешено молотили разреженный воздух, будто задались целью сдуть людей со скалы.

Борттехник по одному втянул их в салон. Командир вертолета обернулся в отсек: все ли в норме? – и, получив утвердительный знак Лукоянова, сдвинул рукоятку «шаг-газ». Знакомая вершина за иллюминатором быстро поплыла назад, уменьшаясь в размерах.

Вадим с деланным безразличием уставился в окно. Летать вертолетами он не любил: постоянная вибрация, уши словно ватой набиты. Опять же, в полете не покидало назойливое ощущение, что он у кого-то на прицеле... Но к вертолетчикам он питал самое глубокое уважение. Хотя, кто их в Афгане не уважает? Разве что «духи»? Да и те за каждого сбитого вертолетчика златые горы сулят... Тоже признак уважения, своеобразный, конечно.

Ободряя себя аргументом, что лучше плохо лететь, чем хорошо карабкаться по скалам, Вадим попытался сориентироваться на местности.

Ми-8 скользил над хребтом, окаймляющим ущелье так низко, что, казалось, шасси его вот-вот зацепятся за какую-нибудь вершину. Внизу, то, появляясь, то, исчезая под скалами, юлила дорожная лента. Черными скелетами громоздились на обочинах останки сожженных «наливников» и «бурбухаек» – афганских грузовых фурунгов. Чем выше в горы забиралось шоссе, тем чаще среди расстрелянной и подорванной техники попадались танки и бэтээры. Вадим видел, что война не обошла стороной и афганские селения, изредка проплывавшие под вертолетом. Разрушенные дувалы, завалившийся минарет, раскуроченные воронками от ракет квадраты крепостных полей, на которых даже в страду не заметно дехкан.

Еще год назад эта картина заставила бы его содрогнуться.

А сейчас... Неужели так ожесточилась душа, что следы войны не воспринимаются как что-то ужасное?

Вертолет сделал крен влево и, перевалив через хребет, пошел на снижение.

– Вот он, наш «Ураган», загорает, смотри! – Лукоянов прижался носом к стеклу иллюминатора и стал похож на мальчишку.

Вадим уже и сам разглядел сиротливо лежащий на покатом склоне неподалеку от небольшого кишлака объект их поисков – злосчастный «Ураган». Машина застыла колесами вверх, что действительно делало ее чем-то напоминающей отпускницу на пляже. Только вот место для отдыха было неудачное: дикие горы вокруг, недружелюбного вида кишлак...

Сделав несколько кругов над поверженной машиной и не заметив ничего подозрительного, приземлились, не выключая двигателя, метрах в ста от «Урагана».

Когда разведчики и саперы покинули борт, вертолет, натужно гудя, ушел в сторону заката, торопясь вернуться на аэродром до темноты.

– Ну что, Вадик, – сказал капитан, – теперь твое слово! Посмотри, что с машиной. Если заминирована, не возись, лучше взорвем! А мы по округе побродим, в деревеньку наведаемся. Может, об экипаже узнаем... На все у нас с тобой пара часов. А там пойдем к дороге. «Первый» обещал «броню» послать... Ну, давай, трудись! Да смотри, поосторожней! Я за тебя отвечаю...

– С какой это стати грозу душманов на лирику потянуло? – беззлобно огрызнулся Вадим. – Ты лучше за своими суперменами поглядывай, чтобы пальбу не открывали, а то мы и так «вертушкой» всех местных всполошили.

– Ну, пока, – оставив двух автоматчиков для прикрытия саперов, Люлек с разведчиками направился к кишлаку по руслу пересохшего арыка.

Вадим отправил Кочнева проверить, нет ли мин на склоне вокруг «Урагана», а сам вместе с Мерзликиным направился к кабине. Двигался не спеша, словно рентгеном, ощупывая взглядом каждую пядь каменистого грунта. Мерзликин шел поодаль, таща на плече миноискатель и щуп, от которых среди этих камней толку мало... Здесь, как пел

Высоцкий, надеяться надо только «на зоркость глаза и цепкость рук».

У машины Вадим сделал знак ефрейтору остановиться, а сам стал продвигаться к кабине, время от времени замирая на месте и внимательно разглядывая «Ураган». Поверхностный осмотр удивил: несмотря на неестественное положение, машина почти не пострадала, ни пулевых пробоин, ни вмятин, даже остекление кабины – в целости и сохранности. Дверцы не деформированы. По всей видимости, их можно без труда открыть. Но делать этого он не стал: дверцы – излюбленный прием душманских минеров. Присев возле одной на корточки, он удовлетворенно прищелкнул языком: так и есть – растяжка. Тонкая, как струна, стальная проволока, прикрепленная изнутри к дверной ручке, другим своим концом пряталась в дальнем углу кабины под кучей ветоши. Что там: мина, фугас? Все равно. Прimitив, грубая работа, рассчитанная на дилетанта. Торопились «духи»: ловушка получилась неудачной. Хотя подрывники моджахедов и так изобретательностью не блещут: ставят мины, словно по заранее полученной инструкции, прямолинейно, однообразно. Если и попадетсЯ какая-то закавыка, считай, наемники-профессионалы поработали... Но сегодня разминирование его не волнует. Задача прямо противоположная: осмотреть «Ураган» и, убедившись, что машина не разграблена, подготовить к уничтожению!

Подозвав Мерзликина, поставил диагноз:

– Растяжка. Будем взрывать! Тащи ПТМ...

Пока возились с установкой противотанковой мины, возвратилась группа Лукоянова. Разведчики привели с собой старика, вылитого Хоттабыча: седая борода, турбан, длинная холщовая рубаха, шаровары. Только тувель с загнутыми носками нет – старик бос.

– Наши герои-разведчики «языка» взяли! – съехидничал Вадим.

– Что с машиной? – не удосужился обидеться капитан.

– Цела. Но заминирована: мина или фугас на растяжке. Мы в довесок ПТМ установили... Рванет, стоит только в кабину сунуться! Так что готовы хоть сейчас взрывать, хоть «душкам» в подарок оставить. Как прикажете, товарищ начальник...

– Добро! – кивнул Люлек и наконец-то прореагировал на колкость Вадима. – Старик, что с нами – кадр ценный! Аксакал. По его



словам, он – единственный взрослый мужчина в кишлаке, остальных моджахеды угнали в горы...

– Так зачем вы его притащили? – спросил Колков, продолжая разглядывать старого афганца, который стоял безучастный, точно идол.

– А затем, что он говорит... Одним словом, слышал пальбу здесь несколько дней назад. И еще – видел, как душманы увели каких-то людей в горы... Уразумел? Старик – свидетель (и, может, единственный) того, что приключилось с «Ураганом». Правильно я понял, золотце? – повернулся Лукоянов к одному из разведчиков, таджику по имени Телло.

Солдат заговорил со стариком. Каменная маска на лице аксакала дрогнула, и он ответил голосом скрипучим, как несмазанная арба.

– Там выше по склону стреляли чужие люди, – перевел Телло.

– Что ж, посмотрим...

– А не засада это, Валера?

– Засада – не засада, а лейтенанта с солдатом нам искать! – Люльку и самому не хотелось лезть в горы по одному лишь утверждению незнакомого старика, но задачу надо выполнять: Иванова с водителем, кроме них, разыскивать никто не будет.

– Товарищ капитан, товарищ старший лейтенант! – неожиданно раздался голос Кочнева. – Там, там... – солдат не мог подобрать нужных слов.

– Где там? Да говори же разборчиво, боец, что ты кашу жуешь! – по способности возвращать младшим по званию присутствие духа с Лукояновым вряд ли кто-то мог сравниться.

– Я нашел... руку нашел... человеческую... – сделав несколько судорожных глотательных движений, выдавил сапер.

– Человеческую?.. А какие еще бывают? – усмехнулся Лукоянов и добавил строго. – Ладно, показывай!

Капитан и Колков зашагали вслед за Кочневым вверх по склону. Тот, все еще путано рассказал, что, проверяя по приказу старшего лейтенанта окрестности, обнаружил обрубок чьей-то руки.

Место, на которое привел сапер, оказалось небольшой пологой площадкой, с вытоптанной травой. Среди мелких камней тускло поблескивали латунные гильзы. Лукоянов поднял одну:

– От АКМСа...

Кочнев остановился на краю площадки – здесь.

Офицеры увидели скрюченную кисть, которая, словно живая, притаилась сбоку от рыжего валуна. Палящее солнце сделало уже свое дело: от обрубка исходил тяжелый запах, вокруг роились мухи.

Лукоянов склонился над страшной находкой, вынул из ножен финку и с ее помощью перевернул кисть. Между мертвыми пальцами оказалась зажатой какая-то бумага. Люлек осторожно подцепил и извлек ее. Разглядел, прочитал вслух: «Вещевой аттестат. Выдан лейтенанту Иванову...» – резко бросил Кочневу, у которого, как у девушки, мелко подрагивали короткие белесые ресницы:

– Старика – ко мне! Живо!

Когда угловатый солдат убежал, попенял Вадиму:

– Рассопливился твой сапер, тошно смотреть!

– Не обтерся еще: второй раз на выходе, – вступился Колков и перевел разговор на другое. – Думаешь: врет дед?

– Не знаю... Сам видишь: бой был здесь. И кисть, похоже, Иванова, того самого. Гранатой оторвало... И чего это он аттестат в руке держал? Вот она, жизнь-житуха! Аттестат сдать вещевикам не успел... А сейчас он ему без надобности.

– Может, рано хоронишь?

– Может, и рано... – согласился Люлек.

...Старик, которого привели Кочнев и Телло, ничего нового не сообщил. На все вопросы капитана, которые старательно переводил таджик, отвечал одно и то же: бой был здесь, потом моджахеды ушли в горы и увели с собой «шурави» – больше он ничего не знает.

Поняв, что большего не добиться, Лукоянов поручил Телло охранять старика, а сам разбил отряд на две части: одна, во главе с Колковым, будет обследовать склон горы у подножия; другая, под командой капитана, продолжит поиски ближе к вершине. Встретиться договорились через час возле «Урагана».

...Экипаж нашел Вадим. Пробираясь по ложбине, поросшей чахлой травой, он обратил внимание, что земля в одном конце отличается по цвету. Такое бывает на месте установки мины...

Щупом стал сантиметр за сантиметром проверять подозрительное место. Щуп беспрепятственно уходил вглубь.

Вместе с Кочневым осторожно разгребли землю руками. Когда убрали верхний слой, в нос ударил знакомый сладковатый запах. Солдата вырвало. Дальше Колков работал один. Вскоре неглубокая могила была разрыта...

Сверху, оскалившись, лежал труп черноволосого солдата, под ним тело лейтенанта. С помощью подоспевших разведчиков Колков извлек из ямы останки погибших и уложил их на плащ-палатку. Тело Иванова было изуродовано взрывом гранаты до неузнаваемости: вместо лица – бесформенное месиво, живот вспорот, правая рука без кисти. От обмундирования уцелели только обрывки защитной рубашки с измазанными кровью и землей лейтенантскими погонами. Ташмирзоев, напротив, без единой царапины. Если бы не пулевая пробоина в затылке, трудно было бы определить, от чего он погиб.

Тела отнесли к «Урагану» и стали ждать возвращения Лукоянова. Люлек появился точно в условленное время. Потный, раздосадованный бесполезным брожением по горам, капитан, осмотрев убитых, стал еще мрачнее. Зло зыркнул на старика:

– Обмануть хотел «божий одуванчик»! Ну, пеняй на себя... – и уже Вадиму: – Пора сниматься. Там, за перевалом, тропа. Я посмотрел, пройти можно до самой дороги. Дело мы сделали: ребят наши... Ты говоришь, «Ураган» начинил надежно?

– Нормально... Если от ПТМ «духовский сувенир» сдетонирует, от установки ничего не останется... А что будем со стариком делать?

Люлек помолчал, что-то обдумывая, потом крикнул переводчику:

– Золотце, деда сюда! – и когда те приблизились, приказал. – Вяжи его!

Солдат замялся, поглядывая на Колкова.

– Что ты задумал, Валера? – спросил старлей.

– Подстраховаться хочу, чтобы нас на обратном пути «борода-тые» не продырявили... Как? Об этом пусть у тебя голова не болит... Старик – моя забота. А ты забирай команду и дуй на перевал. Мы с Телло вас догоним.

– А может, зря? Отпусти старика с миром. Ну, какой он «дух»? – попытался урезонить Вадим.

Но Лукоянова уже «понесло»:

– Послушай, Вадик!– ощерился он. – Кто здесь командует: я или ты? Я... Мне и решать, что зря, а что не зря! А ты – делай, что сказано!

Таким Люлька Колков еще не видел. Он хотел ответить столь же резко, но только покачал головой.

Уже выйдя на тропу, Вадим оглянулся: капитан и таджик ремнями привязывали стоящего на коленях старика к дверце «Урагана». Лица аксакала не было видно, но Колкову показалось, что он молится...

...Ротный и Телло догнали отряд на седловине перевала, когда Колков приказал сделать пятиминутный привал. Люлек подошел к Вадиму и протянул руку:

– Прости, погорячился... Что-то нашло! Понимаешь: одно к одному...

– Понимаю, – сказал Колков.

Лукоянов продолжал:

– Деду я шанс дал, если дергаться не будет...

Договорить он не успел. Внизу, там, где остался «Ураган», глухо, как новогодняя хлопушка, сработала ПТМ. Почти сразу, сливаясь с первым взрывом, раздался второй, более мощный. Лукоянов отвел глаза:

– Не послушался старик... Что ж, оно и к лучшему. Теперь можно смело докладывать, что «Ураган» уничтожен... Коли, Вадик, дырку для ордена – я сам буду твоего комбата просить, чтоб представил.

...Одолели перевал и спустились к дороге без происшествий. «Броня» – два бэтэра лукояновской роты – ждала их в заданном квадрате. Старший бронегруппы – Закатаев обрадовался им, но улыбка сошла, как только увидел, какую ношу они несут.

Пока грузили тела погибших в десантное отделение, Лукоянов связался с комдивом, доложил о результатах рейда. Выбрался из люка довольный, сообщил:

– «Батя» всем объявил благодарность. Возвращаемся на базу!

Назад ехали в сумерках. Лукоянов с Закатаевым на первом бэтэре, Колков – на втором. Ехать рядом с Люльком не хотелось...

Из головы у старшего лейтенанта все не шел старик, казненный у «Урагана». Смерть старого афганца заставила по-иному увидеть, нет, не Лукоянова, а себя самого. Эта смерть еще раз вернула

его к давнему расстрелу животных в его первом рейде, такому же бессмысленному и жестокому.

Возможно, Лукоянов и прав, не дав старику уйти к своим и тем самым обезопасив отход отряда. Возможно, все содеянное, можно назвать военной необходимостью и забыть... Но почему он не помешал убийству, не остановил Люлька? Неужели оттого, что год назад, не решился удержать солдат, стрелявших в беззащитную скотину?..

Колков оглянулся на разведчиков, облепивших броню: кто напряженно вглядывался в темнеющие вокруг горы, кто пытался дремать, прицепившись к поручням брючным ремнем. Столкнулся взглядом с Телло. Таджик, сумрачный и нахохленный, как грач, отвернулся. «Тоже переживает, – понял Вадим. – Интересно, что чувствует сейчас Люлек?»

А Лукоянов думал об отпуске, о доме. О том, что хорошо бы уже завтра улететь попугным вертолетом в Кабул..

Очевидно, замечтавшись, он произнес слово «улететь» вслух, да так громко, что встрепенулся сидящий рядом замполит. Закатаеву всю дорогу не давал покоя один вопрос: как очутился «Ураган» по ту сторону гор? И слово, сорвавшееся с уст Лукоянова, он отнес к тому, что волновало его.

– Ты думаешь по воздуху он туда перелетел? – перекикивая рев движка, спросил он ротного.

– Кто перелетел? – не сразу «включился» Люлек.

– Ну, «Ураган», этот... Просто мистика какая-то... Мы же вместе весь хребет излазили. Нигде ни прохода, ни перевала. Не могло же его туда ветром занести?

– Ветром-то, конечно, не могло. А вот мне рассказывали, что однажды в Панджшере «духи» танк в горы утащили. Обмотали веревками, как египтяне глыбу, и вместе с экипажем подняли.

– И что потом?

– Финал один, – Лукоянов кивнул в сторону десантного отделения, – только там и этого не осталось... Сбросили танк в пропасть. Груда металлолома – и все.

Закатаев недоверчиво переспросил:

– А ты, командир, не заливаешь насчет танка? Как такую машину в горы на веревках?

Лукоянов дернул плечом. Не веришь – твое дело: за что купил, за то и продаю.

Долго ехали молча, а когда скалы, окружавшие дорогу, начали расступаться, открывая плато, похожее на копыто, Люлек, словно продолжая прерванный разговор, сказал:

– Чужие мы здесь. Чужие, комиссар. И людям, и скалам, и ветру даже... Оттого и понять многого не можем. И друг друга перестаем понимать!

Закатаев покосился: что-то непохоже на ротного? Никак голову напекло? А солнце здесь и впрямь – безжалостное. Того и гляди, крыша поедет...

## Баллада о сыновьях

На завалинке старуха,  
С нею – дед.  
На двоих почти им  
Двести лет.  
У старухи на коленях –  
Кот клубком.  
И сидят старуха с дедом  
Ря-  
дыш-  
ком.  
А в избе герань  
Алеет на окне,  
Фотографии теснятся  
На стене.  
Все солдаты,  
Все похожие с лица...  
Восемь было их у мамы  
И отца.

Три войны прошел старик –  
И сам живой.  
А вот дети не вернулись  
домой –  
С той последней,  
Самой страшной, мировой.

У избушки – две березы,  
Два ствола.  
Облетела, посыпалась  
Листва.  
Все глядит на них  
Старуха,  
Смотрит дед:  
Два ствола стоят живые –  
Листьев нет.

## Евро университеты

Он не был от рождения солдатом  
И не сказать, что был таким уж смелым...  
Он изучал латынь по медсанбатам,  
А геометрию – по секторам обстрела.

На сапоги наматывая тропы,  
Вжимаясь животом в сухие травы,  
Познал он географию Европы,  
С ботаникой смешав её по праву.

Пусть чёрный ворон над окопом каркал,  
Он выучить сумел законы света...  
Он победил, он встал над Трештов-парком,  
Хоть сам и не успел узнать об этом.

# Ноединок

(РАССКАЗ ПОПУТЧИКА)

Не по пьянке или капризу,  
Не подверженный наркоте,  
Ветеран расстрелял телевизор  
Из испытанного ТэТэ.

Приструнить подлецов не властен,  
Но, хотя бы в своём доме,  
Память прошлого рвать на части  
Не позволит он никому.

И надел он пиджак парадный,  
Где три ордена Славы – в ряд,  
И прицелился аккуратно  
В изрекающий ложь квадрат.

Всей неправде бросая вызов,  
Сделал он всё, что сделать смог:  
Восемь выстрелов – в телевизор,  
И последнюю пулю – в висок.

# Атака

От бруствера рукою оттолкнулся –  
И тут был остановлен пулей злой.  
Еще команде вслед солдат качнулся –  
И рухнул навзничь в свой окоп сырой.  
А цепь сомкнулась.



Цепь вперед катилась  
Полк шел на штурм, хрипя свое:  
«У-ра-а!»  
Под пулями к окопу торопилась  
Ненужная солдату медсестра.  
Он остывал уже.  
Все глуше, глуше  
Шум боя долетал издалека...  
Припал к земле солдат –  
так, словно слушал,  
Как сам идет на штурм в цепи полка.

## Рябовой

Ах, как земля неровна...  
Неровности земляцы  
Любить заставила война,  
Чтоб мог солдат укрыться.

Любая ямка, бугорок –  
Спасение от пули.  
И, крепко заучив урок,  
Солдат живым остаться смог  
В сорок втором, в июле.

Вжимался плотно в землю он,  
Мечтая слиться с нею.  
И был Победой награждён –  
Стирал портянки в Шпрее.

И вот – землёй навеки стал,  
Привнёс в родной суглинок  
Своих осколков драгметалл,

Полученный в Берлине.  
Да прах, что прорастёт травой,  
Да память, что нетленна...  
Итог, как будто рядовой,  
В судьбе обыкновенной.

## Урок

Победный день оркестров гром венчал...  
Мальчишкою, в истоптанных сандалях,  
Я по отцовским фронтовым медалям  
Устройство всей Европы изучал.

Чтоб лет, так скажем, через пятьдесят  
Оставить в назидание потомкам  
Империи распавшейся осколки,  
Что на чужих медалях заблестят...

## Тамага

В гостинице, сидя на кровати  
железной,  
Пили мы спирт – говорят, полезный.  
Его называют у нас «гидрашкой»,  
Выпьешь – и по спине мурашки!  
Старлей молодой  
Был у нас тамадой.  
Он из Афгана  
Вернулся недавно.  
Мы все вопросы:  
– Как там, за речкой?

Спирт разливает, в ответ – ни словечка.  
Мы пристаем:  
– Расскажи про войну! –  
Скрипнул протез, разорвал тишину.  
...В гостинице, сидя на кровати  
железной,  
Пили мы спирт – говорят, полезный.  
Старлей молодой  
Был у нас тамадой.

## В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В новогоднюю ночь,  
утопая в грязи по колено,  
По ущелью старлей брел со взводом,  
судьбу проклиная.  
Вспоминал, как в землянке тепло,  
как в печурке поленья,  
Полыхают,  
о доме далеко напоминая.  
Как стоит в уголке саксаул,  
именуемый елкой,  
И наполнены кружки друзей  
обжигающим чаем...  
Как поют под гитару  
хорошие песни о долге,  
И России, которую здесь защищают...  
Вел свой взвод по ущелью  
старлей, перемазанный в глине,  
Спотыкаясь, скользя, чертыхаясь,  
мечтая о том,  
Чтоб никто из ребят  
не наткнулся случайно на мину  
И в году наступившем –

живым возвратился в свой дом.  
А когда диск Луны  
показался над горною кручей,  
И залег на вершине,  
изготовившись к бою, отряд,  
Далеко под Москвой  
мать старлея, бессоннице мучаясь,  
К елке – внуку –  
«от папъ»  
положила тайком шоколад.

## Однокашник

Мы вместе поступали в академию:  
Я и Валерка – однокашник мой.  
Я поступил – по жуткому везению,  
Он возвращаться должен был домой.  
Обидно! Зарубила медкомиссия.  
Хронический бронхит нашли врачи.  
Валерка спорил:  
– Это же невысказано!  
Что за болезнь? Не знаю. Не лечил...  
Вот если б оторвало руку, ногу –  
Тогда согласен, я не строевой! –  
Не убедил...  
– Присядем на дорогу, –  
Сказал мне друг, поникнув головой.  
Я утешал, хотел помочь словами:  
– Приедешь через годик – повезет...  
Когда он год назад служил в Баграме,  
Бронхит его никто не брал в расчет.

## Носледнее право

Пошел в атаку батальон,  
Поднятый красною ракетой,  
Чтобы отбить у «духов» склон:  
Там – пять ребят, на склоне этом.

Мы знали, что друзьям не встать  
Уже вовеки с желтой глины.  
Но их тела врагу отдать  
На растерзанье не могли мы.

Как права их могли лишить  
С землей своей родною слиться?  
Землею стать и вечно быть –  
России горькою частицей.

\* \* \*

Недобрая ратная слава,  
Неясная сердцу тоска...  
Насытилась кровью держава –  
С Кавказа уходят войска.

Без почестей, проводов, песен.  
И – каски пониже на лоб...  
Их путь между скалами тесен  
И страшен, и тяжек, как гроб.

Ждут дома и жены, и мамы.  
Истории ждет приговор.  
Кольшется знамя ислама  
На фоне разгневанных гор....

Накажут, конечно же, правых.  
Неправых – награды найдут  
И станет циничней держава  
На тех, что до дома дойдут.

\* \* \*

Небо, как десантная тельняшка,  
Скинутая пропотевшим Богом,  
Сушится на трубах заводских...  
Старая нательная рубашка,  
Без души она – почти убога,  
Как убог без вдохновенья стих

Грязные военные итоги  
Заполощет пьяная страна,  
Сатанея в предвкушение новых...  
Тельник застирал солдат безногий,  
С той поры, как бросила жена,  
И душа черна, как туз пиковый.

А завод за окнами героя,  
Где он до призыва токарил, –  
Красный, наподобие Кремля, –  
Не дымит. Его в три дня закроют.  
Он солдату трубы подарил  
Для просушки нижнего белья.

...Голубые, белые полосы  
Все на свете видевшей рубахи,  
И бельишко прочее – до кучи,  
Старые солдатские обноски  
Ветер раздувает, словно флаги...  
И плывет Россия, словно туча.

В край, где отраженье небосвода  
Кажется реальнее, чем вера,  
И в созвездье самых сладких снов  
Голубое с белым входит в моду,  
И пронзает раненое тело  
Ко всему живущему любовь.

\* \* \*

От войны, как от сумы,  
Отпираться нечего.  
Вспышки выстрелов из тьмы,  
Грозной, изувеченной.

А в окопах – стынь и кровь...  
И рулетка крутится.  
Будут завтра дом, любовь,  
Если жить получится.

Будут завтра ордена –  
Плата за увечия.  
И забудет нас страна –  
Удивляться нечего.

Только нам не позабыть,  
Нам кошмаром мучиться,  
Помнить, как хотелось жить,  
Если жить – получится.

В каждом миге тишины  
Взрывы отражаются.  
Полстраны пришло с войны,  
Полстраны сражается...



Ждала с войны,  
а он вернулся  
совсем не тем,  
кого ждала...

Стонал во сне.  
Потом проснулся  
и попросил,  
чтоб налила.

Пил в одиночку,  
взгляд тяжелый  
уоставив в темное окно.  
Потом повел сынишку в школу –

Уже поднялся все равно.  
Вернулся к вечеру.  
Голодный.  
Пил в одиночку.  
Лег.  
Уснул.  
Пиджак –  
в карман рукав свободный –  
она повесила на стул.

Достала письма из комода –  
Те, что он ей с войны писал, –  
и тихо плакала на кухне,  
что дождалась,  
да не того...



# Офицерский роман

*Сергею Аксененко*

Офицерский роман –  
от рожденья –  
с Россией...

У возлюбленной этой – особая статья!  
Раньше женщин таких –  
под венец увозили

И могли без остатка всю душу отдать!  
А теперь –  
что кивать на вчерашние дали –

Неужели не можем влюбляться навек?..  
Наш с Россией роман,  
как эпоха,  
скандален...

Но – глаза,  
но – слеза,  
но – березы,  
но – снег...

Мы летим во весь дух,  
мы готовы разбиться,

Смысл того, что вокруг, понимая едва...  
Но роман наш не может никак прекратиться:  
Если Армия – есть, и Россия – жива.

Пусть пророчат ветра,  
как слепые витии,

Что смогу позабыть дорогое лицо...

Офицерский роман –  
до конца и –  
с Россией,

Даже если и не  
со счастливым концом.

\* \* \*

Прожитых дней перевал  
Знамя победное сбросит...  
– Папа, а ты убивал? –  
Сын любознательный спросит.

Как из засады – в упор –  
Ждёт пятилетний ответа.  
Эхом простреленных гор  
Бросив в афганское лето  
Память...  
    Как будто бегу  
Вновь на огонь пулемётный.  
Сыну соврать не могу!  
Правду сказать? А поймёт ли?

Думал: надолго привал,  
Время не лязгнет затвором...  
– Папа, а ты убивал? –  
Сын произнёс приговором.

## Разговор

Бросает огонёк костра  
На автоматы блик.  
Ещё не скоро до утра –  
Успеем покурить.  
Пусть горы сонные лежат  
Спокойно в темноте.

Какая разница, сержант,  
Какой сегодня день.

Зачем придумана война –  
Солдату не понять.  
Как нашим дедам, так и нам,  
Приказано стрелять.  
И горы взрывами дрожат,  
И каждый день – вдвойне!  
Какая разница, сержант,  
Наш возраст – на войне.

Как будто птицы к облакам,  
Взлетают трассера...  
Твои друзья по кабакам  
Проводят вечера.  
А ты до кладки добежал,  
Прикрыл огнём меня...  
Какая разница, сержант,  
Что пьют твои друзья.

Кровавый отблеск в высоте  
От зарева в ночи...  
Она писала каждый день –  
Теперь давно молчит.  
А мы едим со штык-ножа  
И о войне поём...  
Какая разница, сержант,  
Кто с ней сейчас вдвоём.

Нам завтра в горы наступать.  
Но вдруг – не повезёт,  
И раньше срока нас «тюльпан»  
На крыльях понесёт,  
И рухнет, словно от ножа,

Лицом в подушку мать...  
Большая разница, сержант,  
В какой земле лежать!

## Афганский вальс

Я заплачу по России, может быть,  
Если память всё откажется забыть –  
Не оглохнет от раскатов канонад,  
Не заклинит, как уставший автомат.

Не ищите – нет похожего нигде:  
Кровью плещутся тюльпаны по земле...  
Здесь в пыли скалистых гор тугой аркан.  
А по-русски будет коротко – Афган!

Всё как будто на местах, но всё – не так.  
Слышу вальса незнакомый сбитый такт:  
С шумом ветра отрывается от гор,  
Как расстроенной гитары перебор.

Пусть чужой мотив несёт со стороны,  
Вздохи тяжкие России в нём слышны.  
По щеке вдруг капля тёплая бежит.  
Вот и плачу, значит – помню. Значит – жив!

\* \* \*

Всё кончено, ребята.  
Нальём полней стакан  
И вспомним, как когда-то  
Пылал Афганистан.  
Бессовестными, злыми

Совсем не родились...  
Не мы такими были –  
Была такая жизнь!

Нам вместо мирной сказки  
Подсунули войну.  
Чай из железной каски  
Тянули, как вино.  
И в стае – волком были  
За свой кусок дрались...  
Не мы такими были –  
Была такая жизнь.

В боях точили зубы  
О камни под собой.  
И забывали трубы  
Играть сигнал «Отбой».  
Кровь смешивая с пылью,  
Железом поднялись...  
Не мы такими были –  
Была такая жизнь.

На коже монограммы  
Нам выбивал свинец,  
Но верили тогда мы:  
Всему придёт конец! –  
Сушило солнце жилы,  
Рвал мускулы огонь...  
Не мы такими были,  
А жизнь была такой.

Пусть тяжкими достались  
Прошедшие года,  
Мы были и остались  
Бойцами навсегда!  
Так вспомним, что забыли –  
Гитара под рукой –

Какими раньше были,  
И жизнь была какой...  
Всё... Конечно, ребята!

\* \* \*

*А.Курмышеву*

Уже военным гулом  
Не отдаёт в висках.  
Десяток лет минуло,  
Как вывели войска.  
Осталась за горою  
Чужой страны беда.  
Но до сих пор порою  
Нам хочется туда.  
Быть может, мы не правы,  
Но снятся, чёрт возьми! –  
Обстрелы под Баграмом,  
Засады под Газни.  
Как блеск солдатских пряжек  
Гасили снайпера...  
Завшивленных тельняшек  
Гвардейское «Ура!»  
Неслось по горным кручам.  
Панамы – до бровей...  
Теперь чему научим  
Растущих сыновей?!  
Мы сыты пудом соли –  
У памяти в плену.  
Афганские мозоли  
В душе – во всю длину!

Ни слова в письмах маме,  
Что жизнь – на волоске,

Что ни бум-бум в исламе –  
Торчим, как гвоздь в доске!  
Но, как душманский улей  
Проклятьями не жги,  
Не переварят пули  
Солдатские кишки...

И каяться, виниться  
Должны мы перед кем,  
Что южные границы  
Держали на замке?  
Что миновали тризны,  
И в сердце – не зола,  
Что на плевки отчизны  
Давно не держим зла!..

Уже военным гулом  
Не отдаёт в висках.  
Десяток лет минуло,  
Как вывели войска.  
Осталась за горою  
Чужой страны беда.  
Но до сих пор порою  
Нам хочется туда.

## Интернациональный голф

Я на ветер слова не истрачу –  
Ни к чему декорация фраз.  
Кто сказал, что мужчины не плачут?  
Кто сказал? Пусть посмотрит на нас!  
К чёрту аплодисменты пустые.  
Я прошу тишины, тишины...  
Это мы говорим, те, живые,  
Кто вернулся с последней войны.

Бой не стих, он теперь даже ближе –  
Сквозь года громче памяти такт.  
Кто сказал: время раны залижет?  
Я же знаю, что это не так!  
Третьим тостом друзей поминая,  
Мы традициям старым верны.  
До сих пор из зубов ковыряем  
Гниловатое мясо войны.

На войне, как на грязной работе.  
Есть приказ – и не смей обсуждать!  
«Парни, Родина вас не забудет!» –  
Помню, кто-то любил повторять.  
Не забыла она, это точно,  
И рука у комбата щедра,  
И на ранах души кровоточной,  
Как заплаты горят ордена.

Как за чьи-то грехи наказание,  
Наш чудовищный жребий таков –  
Под красивым и гордым названьем  
Интернациональных долгов!..  
Кто кому задолжал? Объясните,  
Не разрушив истории пласт.  
На седеющих женщин взгляните –  
Им-то кто долг сыновний отдаст?

Им – пособие в знак утешенья,  
Барельефы взамен сыновей.  
Значит нет и не будет прощенья  
Этой страшной, ненужной войне.  
Пусть за всё перед нами ответят,  
Те, которым проклятье в веках.  
Те, кто выдумал мир на планете  
Защищать с автоматом в руках!



Я на ветер слова не истрачу –  
Ни к чему декорация фраз.  
Кто сказал, что мужчины не плачут?  
Кто сказал? Пусть посмотрит на нас!  
К чёрту аплодисменты пустые.  
Я прошу тишины, тишины...  
Это мы говорим, те, живые,  
Кто вернулся с последней войны.

\* \* \*

Не военные марши  
В переулках кружат.  
Только гвардии старший  
Был и будет сержант.

Сложен китель в комоде,  
Словно крылья беды.  
Ничего, что не моден  
Орден Красной Звезды...

Ночь беззвучная стынет,  
Звёздной пылью дрожа...  
Под снегами России  
Батальоны лежат

Павших в Афганистане!  
И уже для броска  
Ни единый не встанет –  
Давят землю снега...

Только гвардии старший  
Вне стального кольца.  
Призван памятью павших  
Простоять до конца!

## Александр ДРАТ

\* \* \*

Машины возвращались к нам...  
И мне потом – не без причины –  
Нередко снились по ночам  
Их рваные борта и шины.  
Огнём душманских снайперов  
Пробиты стёкла лобовые...  
В полк возвращались из боёв  
Машины – в прошлом строевые.  
На них смотрели в тишине  
Солдаты нашей автоторы.  
И слов не требовалось мне  
Для воспитательной работы.

## Мой лейтенант

*Сергею Аксёненко*

Это было тогда, но как будто сейчас  
Вижу всё наяву я уже в сотый раз,  
И опять меня память находит...  
Эхо взрыва гремит где-то там – вдалеке.  
И кричит лейтенант – у меня на руке.  
Он уходит. Уходит. Уходит.

Обжигая мне взгляд, через саван бинта  
Пятна крови его, что стерильно чиста,  
Словно алые маки восходят...  
Боль клокочет ещё, как вода в котелке,

Но хрипит лейтенант у меня на руке:  
Он уходит. Уходит. Уходит.

Это мой лейтенант! Я с ним в рейды ходил.  
Это мой лейтенант! Он меня заслонил.  
Он мне больше, чем друг.

Он мне ближе, чем брат.

Это мой лейтенант! Это мой лейтенант!

А надежда живёт, как шальная звезда,  
До последней черты, даже позже – когда  
Ничего больше не остаётся...  
Но бессильна она, как слеза на щеке.  
И молчит лейтенант у меня на руке.  
Он ушёл. Он уже не вернётся.

Это было тогда, но как будто сейчас  
Вижу всё наяву я уже в сотый раз,  
И опять меня память находит...  
За него и себя – не прожить налегке.  
До сих пор лейтенант у меня на руке...  
Не уходит. Никак не уходит!

Это мой лейтенант. Я с ним в рейды ходил.  
Это мой лейтенант. Он меня заслонил.  
Он мне больше, чем друг.

Он мне ближе, чем брат.

Это мой лейтенант. Это мой лейтенант...

## Отцу и сыну

С медалью «За отвагу» и седой  
Вернулся, выжил в мясорубке той...  
– Ну, здравствуй, что ли, батя...  
– Здравствуй, сын...  
У бати – ни медали, ни седин.

## Солдат

Толкнуло в грудь, когда он вылезал  
Из чавкающей мартовской траншеи.  
И с пулей ветер в лёгкие попал,  
Минуя горло, бронхи и трахеи.  
И вот, когда он начал умирать,  
Увидел вдруг: сидит на лавке мать,  
И на цветастом выцветшем подоле  
Измученные вены и мозоли.

\* \* \*

Привычно обходя растяжки,  
Болтая жестами хвостов,  
Три иностранные дворняжки  
Спешат с проверкою постов.  
Открою им «Минтай в томате»,  
Из банки вывалю на лед,  
И лунный блик на автомате  
По сердцу холодом лизнет.  
Измазав шерстяные морды  
В томатной пасте, как в крови,  
Собаки преданно, но гордо  
Посмотрят вдруг на шурави.  
От окровавленных оскалов  
По телу пробежит озноб.  
Я буду слушать плач шакалов,  
Мучительно борясь со сном,  
Я буду наблюдать во мраке,  
Упрятав огонек в горсти,

Как движется туман в овраге,  
Пытаясь ближе подползти,  
Единоборствуя со страхом,  
Почувствую до тошноты,  
Как пристально Христос с Аллахом  
Следят за мною с высоты.

## Воспоминание об Афганистане

Раскинув руки я лежу,  
К кровати, словно редкий жук,  
Приколот острой болью, как иголкой.  
Мне валерьянку подают,  
Я запах ощущаю, пью,  
И что-то в памяти зашевелилось колко.  
И тут я вспомнил, как в колхоз  
Послали нас на сенокос,  
Мы лебеду и лопухи рубили рьяно.  
Вдруг странный запах из-под кос  
Ударил в нос, пробрался в мозг,  
И я спросил: – А это что?  
– Валериана.  
И в череп мой вошли друзья,  
Которых забывать нельзя,  
И зной, и запах зарослей бурьянных,  
Но за спиной свистит коса,  
И осыпается роса  
Из глаз моих, растерянных и пьяных.  
Я позабыл, как их зовут,  
Они на свете не живут,  
Остались только голоса, глаза и раны.  
Над всей землёй свистит коса,  
И кровью кажется роса  
В горах и виноградниках Парвана.

# Проческа

Продвигается отряд,  
Тихо в кишлаке.  
Как ребенок, автомат  
Дремлет на руке.  
В нем убийца заключен,  
Запечатан в медь –  
Не рожденная еще,  
Будущая смерть.  
Только в сумраке окна  
Дрогнет чья-то тень,  
И взорвется тишина,  
И погаснет день.

\* \* \*

В час, когда я завершу  
Путь среди могил,  
Что на небе я скажу  
Тем, кого убил?  
Может, стану сказки петь  
О своей любви?  
Но куда мне руки деть?  
Ведь они в крови!  
А быть может, им сказать,  
Что, мол, не хотел?  
Но куда мне деть глаза?  
Это же прицел!  
А быть может, их презреть,  
И не дать ответ?  
Но куда мне душу деть,  
Если тела нет?

## Старший сержант серж Михаил

1

Михаил полоснул глазами по строю, как ножом, подрезал носки. Взглядом, точно валиком, прошелся по животам. Подождал, когда строй подберется, и резко выдохнул:

– Смирно!

Строй качнулся, не удержав равновесия.

– Отставить! – рявкнул Михаил и тут же, как патрон в ствол дослал, снова скомандовал: – Равняйся!

Но строй исполнить команду не поспешил. То ли уж устал – душа вон, то ли затеял каверзу. На это дело он был мастер. Вообще-то Михаил не из тех, кто своею властью по брови был залит и ничего кругом не видел. Штучки, на которые готов задуривший строй, знал наизусть. И как дурь из него выбить или к себе его расположить – знал. Но перед этим строем он терялся. На кого ни глянь – тот и свой по гроб. Кого ни возьми – с тем на веки вечные одним гашником опоясаны.

– Ай, командир, командир! Не была бы ты командир, я бы тебя разок стреляла! – сказали из строя.

И гадать не надо, кто так вякнуть может. Ишь, улыбается во всю свою рожу. Нет, Михаил его не видит, но знает – улыбается, черт. Попов это... На той стороне было, у немцев в тылу. Вели наблюдение за дорогой. Михаил менял Попова. До дороги сто шагов. Как Михаил ходит – всем известно. Над травой летит пухом. И слышит все – не человек, сова. К месту стал подходить, вообще в воздухе растворился. Подплывает этаким зефиром – у Пушкина как: ночной зефир струит эфир... – подплывает и слушает. Тихо. Только на дороге, где-то еще далеко, гудит колонна автомашин. Окунулся Михаил в траву, проскользнул по кустам к дозору – и чуть кондрат его не хватил. Никого... Сердце так заухало, что Михаил даже к земле припал заглушить его, а то на дороге услышат.

И тут же, будто из подмышки, протяжно змей зашипел: «Ай, командир, командир!..»

Порхнул Михаил в сторону. Автомат стволом – на голос. До соображения дошло, что Попов шипит. Но за соображением не поспел. Как сейчас строй за его командой не попевает.

– Ты чего? – спросил.

Сияет Попов: бывалого разведчика провел.

– Молодец ты, Михаил, – шепчет. – Я тебя только вон там услышала.

Ну кореш! Ему уже на пятки наступили, а он все-таки улизнуть умудрился. И еще комплимент отвешивает. Вон там она, видите ли, услышала. Всех по-женски величает. Спросили его – отчего? Я, отвечает, когда русскому языку обучалась, вся мужика на фронте была...

Рядом с Поповым Корчемкин стоит. Двужильный. Чем запомнился, так выносливостью своей. Как коняга, ему только стронуться. А там уже не остановить. Тоже в разведке не последнее качество.

Стоп! Ишь, куда занесло... И никогда Михаил перед ними вот так не стоял. Одного звания были – солдаты. Попов командиром называл, так он всех так. Потому что зеленый, самый молодой был...

Встряхнулся Михаил, водой будто плеснул себе в лицо. Встряхнулся и заторопился переменить тон. Строй уж очень деликатный. Настоящей строгости не терпит. И хотя Михаил держит его в руках, но удается это не строгостью, а хитростью и компромиссами.

Подмигнул Михаил этак запанибрата, как бы даже хорошо, что бузит строй, не исполняет его команды. Подмигнул и сказал:

– Ну, опять сейчас нас баушка в ухват встретит. Опять скажет, незнатко пришли!

Какой уж строй. Стоит перед ним один-разъединый его внук, измазавшийся и усталый шестилетний Мишатка. Играют они в солдат, лазают позадь деревни по ямам, кустам и речке, ходят в атаку, разведку, берут «языков», служат на заставе, окапываются, пережидают артналет и даже хоронят убитых товарищей. После «боя» или «разведки» сядут отдохнуть и расскажет Михаил внуку про кого-нибудь из своих ребят, с кем служил, с кем вместе воевал. Расскажет и помянет обязательно: погиб так-то и похоронен там-то.

Сегодня ходили в разведку. Брали «языка». Им, конечно, был



Михаил. Мишатка быть врагом никогда не соглашался. И под угрозой срыва всей операции Михаилу постоянно приходилось быть сначала разведчиком, потом врагом, потом опять разведчиком.

На этот раз, как только миновали речку и выползли на берег, Михаил ушел в сторону, чтобы не видеть, куда спрячется внук. Выждав время, необходимое Мишатке, он, беспечно посвистывая, стал изображать вражеского офицера. Сзади долго шуршала осока, потом, наконец, Михаил почувствовал хватающие ручонки внука и слабый удар его ноги по своей щиколотке. Это разведчик-внук делает подсечку, прием из самбо. Надо падать. Михаил картинно растянулся и высоко брыкнул ногами. Внук суетливо полез ему на грудь. Михаил стал сопротивляться.

– Ах ты, вражина! Хенде хох! – гусенком прошипел Мишатка.

– Сам хенде хох, я сейчас закричу и своих позову! – огрызнулся Михаил.

Внук напрягся, вывернулся и стал тыкать Михаилу в рот своим скомканным носком. Михаил заплелся:

– Носок-то зачем?

– Молчи, враг немецкий! Я тебе сейчас... – оборвал его Мишатка.

– Не буду я твой носок сосать! – запротестовал Михаил и оторвал внука от себя.

Пуговики горохом сыпнули с Мишаткиной рубашонки. Оба враз перестали бороться и растерянно принялись их собирать.

– Ну вот... – готовый заплакать, сказал Мишатка.

– А что ты мне носок в рот суешь?

– Да-а, а, может, у разведчиков не будет тряпки...

И вот сейчас стоит он усталый и едва исполняет команды. Может, уж прекратить игру, подхватить его на закорки да и айда вприпрыжку домой?

– Деда, а почему они опять пришли? – из строя спросил Мишатка.

– Кто? – не понял Михаил.

– Незнатки...

Все это не по уставу, но какой уж устав.

– А это мы незнатки. Так баушка говорит. Видишь, ты какой грязный и пуговицы оборвал. Да и я не лучше. Вот и скажет бауш-

ка: незнатко пришли, то есть такие грязные, что ей нас не узнать! – сказал Михаил.

– Не узнать? – удивился Мишатка.

– Не узнать, – подтвердил Михаил.

– И домой не пустит? – спросил Мишатка. – Не узнает и не пустит?

– Не пустит, – заверил его Михаил. – Придется документы предъявлять. Где у тебя красноармейская книжка?

Мишатка вынул из кармана смятый обрезок тетради с нарисованной красной звездой.

– А ну покажи, боец! – протянул руку Михаил.

– Сначала сам покажи, хитер-бобер, – спрятал книжку за спину Мишатка. – Ты не патруль.

– Ишь ты, – фыркнул Михаил. – Грамотный. А я твой командир!

Мишатка неуверенно подал книжку. Михаил полистал смятые страницы и спросил номер личного оружия. Мишатка бойко ответил.

Во двор прошли с задов. Хотели незаметными проникнуть в сарай и переодеться в заранее спрятанное все чистое. Но Мишатка роли не доиграл, по двору пошел открыто, и бабушка Лида его засекала.

– Михаил! – строго позвала она в окно.

Внук остановился, а Михаил сплюнул со вздохом и вышел из сарая. Навстречу сразу же плеснулся вопль:

– Да за что же мне наказание-то! И откуда ты, старый дурак, на меня навязался!

Такую оценку, а заодно и характеристику определенной части личного состава каждый раз давало в лице бабушки Лиды верховное главнокомандование. Михаил стоял рядом с внуком и несколько минут терпеливо слушал. Потом начал бубнить себе под нос, мол, давай, старая, давай... про пьянчугу вспомнила, про лодыря вспомнила... так, еще про что-нибудь вспомни... Сарай завалился, огород не политый, так-так, дальше... У других мужики как мужики, верно, только я у тебя хуже всех.

А голос из окна усиливался.

– Дров на зиму нету! – сообщил он.

– Корыто наше совсем прохудилось, – добавил Михаил.

Мишатка хихикнул.

– Вам смешно? – сурово спросил голос. – Смешно? Это ты, Михаил, ребенка подучиваешь?! У меня уже все руки полопались от вашей грязи, а вы еще смеяться! Сами теперь стирать будете! – голос оскорбленно дрогнул. – Берите мыло, корыто, а я вам больше не слуга!

Все стихло. Дед с внуком еще постояли, подождали, не продолжит ли командование свой гнев. А оно, видно, удалилось на кухню. Если и ругается, то там. Сюда уже ничего не доносится.

Михаил картинно почесал макушку.

– А ведь верно, Михаил, – повернулся он к внуку. – Это наше упущение. Стирать свое обмундирование нам самим надо. А? Товарищ боец? Что нам с ней связываться. Мы вот с тобой давай пероденемся, перекусим да и пойдем стирать... Пойдем?

– А может, лучше в магазин? – спросил Мишатка

– Насчет магазина – это главнокомандование распоряжается. А мы должны баушке помочь. Воевать воюем, – значит, стирать будем сами. Я тебя научу! – не согласился Михаил.

– Да это неинтересно, – попытался увильнуть от женского занятия Мишатка.

– Если не будем стирать, – значит, не будем воевать, понятно? – прикрикнул Михаил и приказал. – Повторите, товарищ боец!

Из окна опять раздалось:

– Ты чего удумал? Ухайдакал парнишку, а теперь еще стирать заставляешь? Много он тебе настирает. Сымайте живо всю рвань свою... Пришли незнатко! Живо мыться и обедать! А потом огород поливать!

– Огород вечером поливают, – возразил Михаил.

– Больно грамотный! – сокрушило его верховное главнокомандование и опять удалилось на кухню.

Так бывало каждый день.

В начале лета дочь Лариска привезла Мишатку к родителям погостить, поокрепнуть на деревенских просторах. Помертвевший за зиму от пьянства Михаил так обрадовался неожиданному счастью, что, утаившись с зятем за баней, напился необычайно. А когда их наутро жена и дочь в два голоса и во всех богов ругали и чистили, он, ничуть не чувствуя себя виноватым, торжественно пообещал, что, пока у них живет внук, он больше и на них к ней, водке, не подойдет. Ему, известное дело, не поверили, но он неожиданно слово

сдержал. Правда, было не все так гладко, как сказано. И после своего торжественного слова случалось выпивать Михаилу. Соберется с корешами, скинется, а сам с усмешечкой выкладывает: ему-де пить-то нельзя, слово дал. – Кореша по спине бьют снисходительно, так, мол, оно, Михаил, так, не ты первый, не ты последний.

А Мишатка прилип к нему. Надуруются, бывало, накувыркаются около забора, и запросит внук то автомат деревянный, то еще какую-нибудь простецкую штуковину, которую, однако, на пьяные шары не исполнишь. И занятный такой, холера, оказался. Интересно стало с ним Михаилу.

– Хе-хе, Михаил, гони, растаку мать, монету, тройной в сельпо привезли! – высовывался поначалу из-за забора какой-нибудь его приятель, агитируя скинуться.

И не разбирал, есть ли тут внук, нет ли его. Михаила это стало задевать. Стерпев пару раз, вежливоенько попросив корешей его больше не мутить, на третий раз он не выдержал, вышел за ворота, закрутил корешу руку, пригнул носом к земле и увесисто дал в выпяченный тыл.

– Просил не приходиться? Просил, – только и сказал в назиданье.

Кореша озлились. Бить, конечно, не полезли. Зачем бить. Посчитали, и так придет. Кончится лето, заберут его сопляка в город – придет, никуда не денется, в кочегарку и припрется. Вот тогда и будет ему суд народа беспощадный.

Михаил две зимы работал в кочегарке, а она по округе была очень известной. Все ханыги – свои и чужие, мужики в основном против Михаила помладше – день и ночь торчали здесь. Их гоняли, но они тем же заворотом лезли обратно. Платили кочегарам самый мизер, потому из путных мужиков туда никто не шел. Начальство принимало любого, лишь бы только мог выйти на смену. С таким народом и зимовал Михаил, слушал их треп, ругань, жалобы на жизнь и на кого-то. Михаил с ними пил, но жизнь не ругал и не понимал, за что ее ругать. Жизнь, она и есть жизнь. Хвали ее или ругай, она сама собой и останется. Другое дело поговорить о ней, порассуждать, попытаться понять, куда она дальше пойдет. Да с этими какой разговор... И ладно там, на работе, их терпел. Но теперь, при внуке:

– Нет, братва, давайте выметайтесь, чтобы вашего духу прогоркло по всей близости не было. Внук у меня. Нельзя мне с вами.

– Сдурел, Михаил! – сипели корешки. – Да он если у тебя всю жизнь на горбу сидеть будет, что же, и пить бросишь?

– Будет на руках у меня – брошу... и... не ваш это разговор! – такой Михаил дал ответ.

Вообще его побаивались. На вид тщедушный, невысокий и испитой, он на фронте был в разведке, а потом еще семь лет в погранвойсках под самой Японией прихватил. Помнится, как метнул он полезшего ни с того ни с сего Николая Коровина, председателя сельпо, мужика за восемьдесят килограммов весом. Тогда еще Михаил у него завскладом работал. Пили вместе. И что тому в голову ударило – кинулся на Михаила с гвоздодером. Как ящики вскрывали, а потом пить начали, так и бросился. После Михаил признался, что пожалел его, как соседа и бывшего друга.

– Я ведь мог его одним тычком наповал уложить, – сказал разнявшим их мужикам. – Он же дикое мясо, и все. А мне приходилось каких брать!

Николай, конечно, отомстил, как положено. По-соседски и подружески. Устроил растрату. И отмантулил Михаил три годика в лагере. Сначала думал по приходу домой застрелить Коровина. Слава Богу, стрелял толково. В лесу шарахнул бы – ищи потом.

Однажды случай выпал. Шел Михаил с ружьишком в лугах. Для чего с ружьишком – непонятно. Время покосное, стрелять никого нельзя, а он прется с ружьем, как тать. Из кустов выворачивает, глядь – напротив, метрах в... ну рукой подать! – Николай косит, только шумоток стоит. Вскинул Михаил ружьишко, мушку под левую лопатку подвел. А они, лопатки, ходуном ходят. Размах Николай хороший делает. Коса помногу захватывает, чуть ли не как косилка. Заколебался Михаил. Не приходилось еще в русскую-то спину пулю всаживать. Но про гвоздодер заставил себя вспомнить и про лагерь. Успокоился, прицелился. На курок нажал плавно, привычно. Гулко по лугам отдалось. Кажись, весь мир услышал. Да только не упал Николай. Косит себе. Лопатки ритмично туда-сюда двигаются. Мимо? Никогда такого не бывало, чтоб мимо. Войну прошел. В погранцах отслужил. А тут мимо? Страшно стало. Проснулся. Нары... В другой раз такой же сон да потом опять. Противно сделалось. Плюнул. Живи, гад.

И живет, не здороваается только. И по пьяному делу все мужи-

ков подговаривает.

В общем, побаивались мужики Михаила, но и уважали. Нрава он был веселого, и очень песни у него получались, ну прямо... крикнешь только от чувства. А после кино «У озера» в деревне так и пристали к нему:

– Михаил, не ты там «Славное море» пел? Ты ведь в тех местах сидел! И песню эту любишь, а, Михаил?

Песня ведь любого прошибает, а особенно – такая. С корешами рассуждать было в общем-то не о чем, вот он им и устраивал музыкальный киоск... Потому-то скоро простили кореша Михаилу его несознательность. Только посмеивались, особенно когда он стал обучать внука солдатской науке. Скоро посмеиваться начала и вся деревня. Старый черт! Вместо того, чтобы по хозяйству что сделать (это женщины) или лишний разок остограмниться (это мужики), он с ребятишком на брюхе по канавам ползает, землю, как боров, роет. Жена, Лидия, сначала прямо вместо самовара закипела:

– Да ты что, совсем ополоумел, старик? Тебе больше делать нечего?

– Нечего! – взорвался и Михаил. – То не так! Это не этак! Всю жизнь только и указывают! Книжки никто в руках не держал с самых школьных лет, а туда же, все учат!

– Ты много их держал! – перебила Лидия.

– Приходилось, держал!

– То-то и умник всей деревне на потеху.

– Не лезь в душу, – побледнел Михаил.

– А-а, – махнула рукой Лидия. – До старости дожила с тобой и всю жизнь только про душу от тебя слышу. Пьешь тоже для души?

Ничего не ответил Михаил.

## 2

После обеда пошли в лес. Там на речке у Михаила стояли морды.

– Чего они понимают, Миша, – говорил он внуку по дороге. – Как Макарка Нагульнов сказал, юзжат около своего корыта, толкаются, что твои свиньи, а нет, чтобы голову поднять и в небо посмотреть. Гляди, видишь, простор какой! – махнул он рукой. – Видишь кра-

соту эту? Все это видеть надо. Человек должен быть вольным и гордым. Вот послушай, я тебе расскажу: «Высоко в горы вполз уж и лег там в сыром ущелье...»

Михаил без запинки прочел «Песню о Соколе».

– Понял?

– Понял, – кивнул внук.

– Понял, что ничего не понял, да? – улыбнулся Михаил. – Ну да поймешь. Нам с тобой еще долго жить вместе.

Шли они поскотиной, плоской сыроватой равниной, начинавшейся около деревни и упиравшейся в крутые, но невысокие горы. Спокон веку кормила она весь окрестный скот, весной покрывалась талой водой и оставалась на все лето сырою и сочной. Может, из-за сырости своей и уцелела поскотина от распашки и до сегодня не знала вкуса ни кукурузного, ни иного зернышка. С уходом воды в ее ямах и речках оставалось много рыбы, которую за лето, конечно, вычерпывали бреднями.

На такой же рыбной, но только лесной речке Михаил поставил две морды и каждый день ходил их проверять. Обычно ходил по утренней прохладе. А сегодня день начали боевыми действиями – вот и припозднились.

– Эх, Мишатка, кабы можно было, ушел бы я в лес, в самую его гущу, и стал бы там жить, – вздохнул Михаил.

– А медведь? – резонно спросил Мишатка.

– Какие медведи, никого уж нету. Вернулся я в пятьдесят втором – и лисы, и зайцы, и кабаны, и... кого только не было! Вернулся я с Курил, с границы, а моих сверстников в деревне нет. Всех жизнь поразметала. Кто на фронте погиб, по чужим землям захоронен. Кто после войны по другим местам жить определился. Я думал, домой вернусь. А чуть ли не в чужую деревню, вышло. Молодому еще стерпелось. А сейчас вот тоскую один. Эти ханурики, что иногда ко мне заходят, на фронте не были. Не были, а пьют. Николай Коровин, сосед наш, правда, теперь бывший, думаешь, отчего такой боров разъевшийся? Отчего на меня тянет? А оттого что смерти с глазу на глаз не видал, вшу на себе не носил. Вот житуха-то для него и не имеет цены.

– А ты, деда, долго на войне был? – спросил Мишатка.

– Как сказать, призвали осенью сорок второго года. Учебку прошел, воевать то есть научился, как вот ты сейчас учишься. Служить, вернее, не воевать... Воевать – это только на войне научишься, если после первых боев уцелеешь. Ну, а с весны сорок третьего попал на фронт автоматчиком, а после ранения в разведку взяли... – Михаил помолчал. – Глянешь, бывало, – сколько народу погибло... Захоронить нельзя. Так и лежат. Запах по всему фронту. Немцы через громкоговоритель нам кричат: убирайте своих иванов! – А мы отвечаем: смотри лучше! И ваши есть! – Это про трупы-то.

– А что такое трупы? – спросил Мишатка.

Михаил прикинул в уме, что лучше будет, если он сейчас соврет. Уж очень мрачно для ребенка получится, если он скажет правду.

– Трупы – это убитые враги! – сказал он.

– Конечно, они не ваши! – домыслил Мишатка.

– Вот и мы им так же отвечаем, – продолжал Михаил, немного досадуя, что приходится исказить картину. – Заклучали, бывало, перемирие, чтобы их убрать.

– Они бы как пошли убирать своих трупов, а вы бы их всех д-д-д! Перестреляли бы! – загорелся Мишатка.

– Э, милоч, жизнь-то похитрей нас с тобой. Ты думаешь, больше такого не будет. А оно еще хуже может случиться. Нет, русские никогда не обманывали.

– А я бы их всех из пулемета... узнали бы... – не сдавался Мишатка.

Михаилу это не понравилось. То ли он плохо объясняет, то ли внук еще мал для такого понятия. Так ли, этак ли, но Михаилу не понравилось упрямство внука и он решил, так сказать, позднее вернуться к этому вопросу.

Оба замолчали.

Разбередилась душа у Михаила. Ишь ты, как все просто у него, стал думать он и война ему – не война. Всех перестрелял, всех взял в плен, всем хенде хох... А сколько их, ребят, сверстников Михаила, полегло, прежде чем этот хенде хох получился. Как шаг – так могила. Как шаг – так кого-то нет. Вот пишут: такой-то герой уничтожил сто вражеских солдат. А как так ловко удалось это подсчитать? Или



такой-то партизанский отряд пустил под откос сорок вражеских эшелонов. Один – сорок, другой – сорок, один герой – сто, другой – сто. Где бы это Гитлер столько солдат набрался? Нет, убить врага не просто. Не сидит он, не ждет. А сам тебя убить стремится. Ты у них одного убил, а он, гляди, уж у нас трех. Кажись, в годе пятьдесят третьем или пятьдесят пятом кто-то по радио речь говорил. В Германии, сказал, из поколения двадцать четвертого года двадцать пять убитых на сто выходит. А у нас где он, двадцать-то четвертый годок? Это уж когда арифметика в нашу пользу пошла... Да и в нашу пошла – тоже потери не в ноль обратились. И зачем это скрывать? Получается, будто мы, все это пережившие, ничего не видели...

– У нас кто со всей деревни вернулся? – Михаил стал загибать пальцы. Делал он это много раз, но каждый раз, начиная считать, всегда загибал пальцы и как-то даже надеялся, не вспомнится ли вдруг кто-то еще, кто-то такой незаметный, о котором сразу и не вспомнишь, но который тоже уходил на войну и остался жив, улучшив тем самым арифметику потерь.

Михаил насчитал девять, и его перебил Мишатка.

– Деда, отдохнем! – стал просить он.

«...Николай Коровин, не воевавший, по тылам проторчавший, – десять!» – отметил Михаил неизменной характеристикой бывшего соседа и посмотрел на внука.

Похоже, есть еще у него силенка. И лучше сейчас идти, а не сидеть на самом солнце. До места вообще лучше идти без остановок, а вот на обратном пути можно и отдохнуть, и на небо глазеть, и букашек рассматривать, и курить.

– Давай по-суворовски, Михаил, – сказал он внуку. – Махнем прямо, будто переход на речку Рымник делаем. А там надо еще сто тысяч турок разбить.

– А в речке искупнемся? – спросил Мишатка.

– Ясно, мы ее форсировать будем! – пообещал Михаил.

– Нет, только искупнемся! – укоротил боевую задачу Мишатка.

– Ну ладно! – уступил Михаил

Мишатка приободрился, зашагал потверже.

– Только ты баушке ни гугу, понял? А то она запрещает, утонем-де! – предупредил Михаил.

– Ни гугу, – пообещал Мишатка.

Таращилось с небес солнце. Лениво по дальним краям поскотины колыхалось марево. Деревня уже отдалилась настолько, что слилась в единую линию. А лес навстречу подвигался нехотя.

Михаил попытался вернуться к подсчету и сразу же прибавил Ивана Филиппова, младшего лейтенанта, воевавшего с ним в одной части. Пришли они с одним пополнением, хотя Иван призван был раньше. Не воевал он и недели – с перебитыми ногами оказался в госпитале, а потом комиссовался. Сам Михаил свое схлопотал через год с лишним, девятнадцатого августа, когда переходили нейтральную полосу, и издерганный немец беспрестанно садил минами. Одна нашла его. Два осколка по обе стороны позвоночника пришили Михаила к месту. Охнуть было нельзя. Хоть из-за разрывов и не слышали бы их, но все были приучены молчать. Командир говорил: «Если чуешь, что не можешь промолчать, когда тебя даже напополам рвать начнут, – давай из разведки!» – и выразительно показывал рукой, как надо из разведки «давай». Минуту совещались, что делать, оставлять кого-нибудь с Михаилом или нет. Решили, что все равно будут возвращаться обратно до светла, вот и заберут. И никто не вернулся. Где-то напоролись... Михаил слышал бой, короткий и яростный. Догадываясь, что там могло случиться, стал ждать оттуда хоть кого-нибудь. Не дождался. Его подобрали другие. Несли по траншее, а у него началась какая-то горячка, бабья истерика. Ревел, распустив сопли, кричал, что все это из-за него, что, если бы не остановились и не потеряли минуту, все было бы по-другому. Что, если бы его не зацепило, он был бы как раз тем, кого им там не хватило. Называл себя дерьмом, матерно ругался и ревел.

Он так и не узнал, что там случилось. После истерики впал в забытье, а потом его увезли глубоко в тыл...

Лес все же придвигался. Но и внук стал сдавать. Шел уже безучастный и, наверно, жалел, что не остался с бабушкой дома. Та чего-нибудь вкусенького дала бы.

Михаил оглянулся назад и увидел приближающуюся подводку. Воздух был так густ, что громыханье телеги совсем не слышалось. Марево отрезало коню голову, и вообще все походило на мираж.

– Миш, погляди, подвода нас догоняет. А ну, смотри молодцом!

– подал команду Михаил.

– Смотрю, – отмахнулся внук, а потом добавил, что он хочет пить и есть.

– Ну, это ты, брат, брось! – прикрикнул Михаил. – Есть и пить на марше нельзя! Это мы будем, когда рыбу приберем!

– Только корочку, – попросил внук.

Михаил заколебался:

– Успеешь до подвода прожевать, чтобы никто не видел, что мы турки разбитые?

Внук заверил, что успеет. Михаил скинул рюкзачок, отщипнул от горбушки корочку с пятак, сунул внуку.

Когда подвода их догнала, Мишатка шел уже веселый. Ему даже понравилось, как ловко они все провернули. Подвода остановилась около них. Сидевший в ней старик поздоровался и спросил, куда это они, глядя на жару, направились. Услышал ответ, мотнул головой, мол, садитесь, подвезу. Был он древний, годов под девяносто. Но лошадьё управлял сноровисто. Да и поехал-то в лес не праздно, а нарубить тальнику – на дровишки и на плетень. Он спросил, в каком месте стоят морды, и даже обрадовался, как же, мол, знаю это место, довезу уж вас, а то вон сокол твой повыходся.

Михаил поглядел на внука, нахохлившегося и съезжившегося от тележной тряски, и ответил старику, что это-де ничего, он парень выносливый.

– Слыхал я, Михаил, ты его, как кадета, муштруешь. Правда или как? – опять обернулся старик.

Михаил удивился сравнению и спросил, почему, как кадета.

– Раньше мальцов таких, какие в военных школах учились, кадетами называли. Ну и твой раз военную науку проходит, тоже вроде кадета получается, – пояснил старик.

Михаил наклонился к нему:

– Ты, Назарыч, где в другом месте так не скажи. Задразнят потом его кадетом. Да и меня в какие-нибудь графья произведут.

– Я что, – ухмыльнулся старик. – Промолчу, не жалко. А только кто если и дразнить будет, дак не от большого ума. Так-то ему, парнишке-то, пользы больше. А то все они нынче только бы дикие музыки крутили. Раньше хоть по чужим огородам лазили, а нынче и

это им лень. Только бы на мопедках гоняли да музыки крутили. От таких музык толку не будет. А твоему, глядишь, все какой навык в голову войдет. Учи, учи, Михаил. Нас-то, неученых, как пошерстили, что в ту войну, что в эту. Ты сам-то ходил? – Михаил ответил, что ходил. – А то уж я не упомяну, кто ходил, кто нет. Все для меня молодые. Ну-к ходил, так знаешь, что к чему, как обучать. Или постой, ты ведь никак позже всех пришел, кажись, годе в пятидесятом?

– В пятьдесят втором, – уточнил Михаил.

– Ну-ну, теперь припоминаю. Где-то на Дальнем Востоке после войны ты служил, верно? Ну вот. Помню, как мать-то твоя жаловалась, что всем война закончилась, а тебе-де все больше всех надо.

– Когда? – удивился Михаил.

– Да когда же? А уж вдолге после Победы. Как-то-сь зашла к моей старухе, не помню зачем, слово за слово да и в слезы. Мы-то с Сережей оба вернулись, а у нее – никого.

Михаил прибавил к давешнему счету сразу двух забытых им – старика Назарыча и его сына. Сын с войны пришел, но в деревню не вернулся, жил где-то в городе и в родные места показывался нечасто. А старик жил так незаметно, что вот, поди ж ты, забыл его в своем реестре Михаил.

Назарыч неожиданно спросил:

– И тебе, небось, приятно вспомнить с ним, – он кивнул на Мишатку, – уставы-то военные?

– Есть такое! – признался Михаил.

– То-то. Я вот уж, гляди-ка, семьдесят годков, как впервой в солдатское оделся, а иной раз, особенно ежели ремень поверх рубахи запоясать или сапоги на праздник с новой портянкой обушь, так будто кто в сердце и боднет. Сладко на миг так-то делается, молодость мелькнет. Да. Русскому человеку она, солдатская-то закваска, в радость! – выдал сокровенное и Назарыч.

– В радость не в радость, а призовут, так служишь, – умерил его восторг Михаил. – Особенно-то хорошего что в ней, в службе? Про войну уж не говорю...

– А я вот на службу хоть и боялся идти, а все было интересно. Ну, как в заморские страны повезут или куда в Петербург. До службы ведь только свою деревню да еще вон ту и видел, – Назарыч ткнул

кнотовищем в сторону соседней деревни.— Вам, конечно, уже не то было. Вас комсомолия везде призывала, и Магнитку, и всякое другое строить. У вас можно было мир посмотреть... — Помолчал, видно, вспоминая давнее, и неожиданно спросил про рыбу, есть ли нынче.

Михаил ответил, что есть. Но вот по сравнению с ранешним, с его молодостью, конечно, уже никуда не годно. Мельчает. Реки сохнут. Леса редеют. Луга распахиваются. Какие были луга по-над Светлой! Сколько колхозов кормили. Травы от разливов вырастали могучные, запашистые, сидишь на косилке, а тебе из-за них ничего не видать. Как в подводной лодке по морю плывешь. Той только разницы, что не испарениями своими дышишь, а полонит тебе грудь вольный и дивный ветер, дурманит голову густой аромат, и неизвестно, как ты еще в седелке держишься, не свалишься в коше-нину да не уснешь, без вина пьяный. А теперь вместо лугов пашни. И с пашен тех вешней водой землю в Светлую несет.

— Это высокого ума надо быть, чтобы до такого допетрить! — загорячился Назарыч. — Шибко высоко надо сидеть, чтобы не смочь землицы-то разглядеть. Да и у нас у самих, что на других скидывать, у нас тоже совесть-то белым вином залита, в рюмке утоплена.

— В лосьоне, — поправил Михаил.

Назарыч внимательно посмотрел на него. Михаил пояснил:

— В лосьоне, говорю. Это вроде одеколона. Бабы в жару потеют, а чтобы запаху не было слышно, себя этим лосьоном смазывают. А мы вовнутрь принимаем.

Старик сплюнул:

— Жалко, что вы Бога скovyрнули, а то бы он вас...

Михаил довольно расхохотался. Старик еще поморщился, будто ему пришлось приложиться к этому лосьону, потом переключился:

— Вот у меня так, начну говорить, а потом забываю. Так и умереть когда-нибудь забуду, хе-хе... Да-а, впервой-то как мы на позиции оказались, да как по нам ухнула ихняя артиллерия, тут, милоч ты мой, все из нас и повыдавило. До сих пор стыдно вспомнить, как потом фельдфебель нас строим в кусты водил. А как случилось, никто не заметил. Богу все молились, Царю Небесному и Богородице. И смех, и грех, голосом-то Бога молишь, а утроба-то тебя в грех вводит!

Михаил Назарычу подхихикнул и признался, что и у них, бы-

вало, с этого же начиналось знакомство с вражеской артиллерией. Старик рассыпался смехом. Не то чтобы это для него было новостью – Отечественная не прошла мимо него, – но он представил себе, как все произошло с самим Михаилом.

– Это ж надо, а! – хлопал он себя свободной от вожжей рукой. – Значит, и ты туда же, а? И ты... язви тебя! Ну а с такими-то штанами да ежели бы перед генералом, а?

Михаил ерзал на телеге, недовольно косясь на старика: сам-то себя вспомнил бы! – И чтобы сменить тему, спросил, когда тот собирается обратно. Вроде бы как приноравливался и из лесу с ним. Старик по инерции еще хохотнул, а потом сказал, что, видно, дотемна пробудет в лесу. Воз тальника нарубить в его годы – дело нешуточное.

Так за разговорами и доехали до места. Речки не было видно. Она укрылась в обросшем молодым дубняком, черемухой и крушиной логу. Чтобы не делать тропки и не выдавать места, Михаил всякий раз ходил по-разному. Речка была шириною всего метра четыре и неглубокая. У воды резко пахло цветами.

Михаил взялся неспешно разуваться, засучил штаны, полез за папиросами. Мишатка стал из рюкзака вынимать ведро. И делал он это так же неспешно и без всякого со стороны деда напоминания. Видно было, что здесь он не впервой и что бывать здесь ему нравится.

А Назарычу не терпелось. И ехать надо было ему, и улов поглядеть хотелось. Он все понукал Михаила, мол, что же ты, а вдруг в мордах сом. Михаил пыхтел папироской и ухмылялся. Дым сворачивался комком и плоской струей тянулся к воде. Вечером, верно, соберется дождь. Назарыч заметил это и еще более заспешил:

– Нето ли уж поеду, раз не вытаскиваешь, – изобразил он обиду.

Михаил, наконец, шагнул к воде, увязнув сразу же по щиколотку в грязи. Потом, уже стоя на плетне, перегородившем речку, вытаскивая морду, он оступился и вместе с мордой рухнул в воду, расплескав кувшинки и вызвав ядреный смех старика. Мишатка застыдился дедушкиной промашки и кинулся помогать. Он бы сейчас прогнал этого старикашку или бы хоть наругал его за то, что так не по-товарищески смеется. У солдат-то не так, у солдат – сам погибай, а товарища выручай.

Михаил густо выматерился, но прикусил язык, как только увидел полезшего к нему на помощь внука. Жестом остановил его и, продолжая ругаться, но уже весело и без мата, потащил морды на берег. Мишатка в последний момент ухватился за одну из них, весь напрягся, чтобы хоть сколько-то облегчить деду ношу, а глазенками так прямо и впился внутрь, туда, где трепыхались и извивались несколько рыбешек. Назарыч тоже весь вытянулся и подобрался, стараясь увидеть улов.

– Ай-я-яй, гли-ко ты, есть ведь чего-то, – заприговаривал он.

На берегу Михаил первым делом сунул руку в карман и с трудом вынул оттуда мокрую пачку папирос. Вид ее вызвал новое желание сматериться, но он только молча сглотнул слюну и стал раздеваться.

Назарыч и Мишатка поставили морду на попу и высыпали рыбу в ведро. Михаил на мгновение скосил туда глаза.

– Дедушка, – проговорил недовольно Мишатка, – А эти опять попались.

– Кто тебе не по нраву? – спросил Назарыч.

Мишатка смолчал. А Михаил пояснил, начиная выкручивать брюки, что под «этими» внук его понимает вьюнов и очень ими брезгает.

– А что так? – удивился Назарыч.

Мишатка продолжал молчать, только недовольно смотрел то в ведро, то на вторую морду.

– Скажи-ка, за что ты их не жалуешь, – обратился к нему Михаил.

– Я их не жалую, – недовольно буркнул Мишатка, видно, перепутав слова «жаловать» и «жалеть».

– Вот-вот и скажи, за что не жалуешь? – подзадорил Михаил.

Старик не стал ждать Мишаткиных объяснений и заговорил сам:

– Оно конечно, глупых людей много. Вид у вьюна их пугает, дескать, змеюка. А мне вот – с нашим удовольствием, вкуснейшая рыба. А вот старуха у меня... – и старик рассказал, как он, бывало, приносил с рыбалки вьюнов, да не таких, во были, с руку толщиной и более, а жена его каждый раз встречала ухватом, мол, не моги на порог ступать с чертом этим. А что же в нем чертячьего?

Михаил тем временем, управившись с одеждой, сунул в морды

по куску хлеба, закрыл клапаны и пошел ставить их обратно. Мишатка проводил его взглядом и не утерпел, поостерег, на что Михаил ответил, два-де раза в одном месте одно и то же не случается. Потом вылез на берег, натянул волглые брюки и рубаху, переложил рыбу травой, стал вытаскивать из рюкзака огурцы, хлеб, лук и вареные яйца, жестом приглашая старика принять участие в их трапезе.

Назарыч отказался, вынул из кармана кисет и свернутую многократ районную газетку. Михаил спросил, показывая глазами на кисет, не самосад ли. Назарыч ответил – не самосад, обленился он что-то таким делом заниматься, махорочку вот переводит, да ныне с нею беда, взять негде, ладно, вот сын присылает.

– А ты, поди-ка, уж и не сможешь самокруточку-то свернуть, – добавил он, помолчав.

Михаил потянулся к кисету, вспоминая, когда в последний раз курил махорку. Вспомнить не смог, но где-то уж не так и давно, уже после женитьбы. Лидия тогда на него сердилась. От папирос-то вонь какая, а уж от махорки и сказать нельзя. Будто газовая атака. Она, лейтенант запаса медслужбы, бывало, прикрикнет этак с гонорком, поставит его по команде «смирно!», потом «кругом!» – и на диванчик. И он, особенно если под этим делом, под мухой, лихо крутанется на каблуках – и спит в обнимку со своей махоркой. А ведь и фотография есть у какого-то корреспондента: сидит солдатик и крутит свою самокруточку. Правда, солдат старших возрастов, лет этак за сорок, нынче, значит, против Михаила – уже салага.

А они, разведка, любили прищегольнуть папиросами, особенно «Казбеком». Хоть и не на каждый вкус папиросы, но зато шик – сам командир дивизии угощал, любил разведчиков, баловал такими штуками... Эх, если бы не те два осколка, легшие уже на излете по обе стороны позвоночника!. Это он, Михаил, сейчас знал наверняка. За годы, которые ему одному за всех были отпущены с той ночи на девятнадцатое августа, он всяко прикидывал. Выходило, что его автомата не хватило там ребятам. Не хвастая, он на навскидку подброшенную консервную банку прошивал. Уж он бы свои семьдесят два патрончика – полный диск – израсходовал бы тютелька в тютельку. Потяжелела бы сумочка у почтальона в какой-нибудь Саксонии или там Баварии от похоронок.



– Получается, – одобрил Назарыч самокрутку и снова засуетился: – Ну-к, мне пора, а то до ночи с вами проболтаюсь да без тальника домой приеду...

– Баушка трепку задаст? – спросил Михаил.

– Не, нету сейчас баушки, по гостям уехала... Ну, бывай, Михаил. До свиданья, Мишатка! Помогай деду-то. Да не бойсь вьюнов... рыба она вкусная! – сказал Назарыч.

### 3

Домой Мишатка едва добрел, даже одно время ехал у Михаила на закорках. Было душно, и запад обкладывало облаками. К ночи можно было ждать грозы. Михаил тоже притомился. И, пока Лидия возилась с внуком, умывала его, кормила молоком с малиной, приохивала над ним и укладывала спать, он пристроился на бревне около ворот с газетами. Прочел все от начала и до конца, покурил и пошел поливать огурцы. Оно, конечно, ночью их дождем польет. Но гроза собирается не на шутку. Запад уж сплошь подернулся синим – и кто его знает, какой дождище получится. Так что огурцы на ночь придется прикрыть рамами.

– Погоди поливать-то, собери сначала, чторосло, – остановила его Лидия.

Михаил плюнул – сама что же это время делала, ведь его еще давеча посылала поливать, а ни огурчика не собрала. Вот уж воистину сказано – не давай бабе власти... Где сказано? А черт его знает, где. Сказано где-то. Но ведь он, вроде, и не так чтоб уж давал ей собой распоряжаться. Смолоду очень даже не подчинялся. Но чем дело ближе к старости, тем как бы у нее сил больше появляется. Стонет, охает: все болит, мочи нету! – А как против него в атаку переходить, ну ни за что не отступится. Он, Михаил, ее родной мужик, как раньше считали, Богом ей данный, получается, лютей врага для нее. Дочь приедет – с ней одно обхождение, с зятем – тоже вежливенько и с улыбочкой, хоть улыбочка и самодеятельная, как у артиста из погорелого театра, но все же улыбочка. С чужими людьми – и говорить нечего. А своего – ну как будто он такой Змей Горыныч, такой хазар, что русской ее душе ни в какую его не снести. Ишь, рожу-то скор-

чила, царский сановник будто. Сейчас новые распоряжения даст.

– Ну так чего стоишь? Бери тазик да собирай! – прикрикнула Лидия.

– Нет уж, баушка, собери-ка ты сама, а я воду носить буду... – отрезал Михаил.

– Вот до чего поперешный мужик, а, ну прямо козел... Что ее, воду-то, таскать? Что запридуривался? Вода-то давно nanoшена! Все бочки, все фляги, все ведра, тазы полны-располнехоньки! Куда ты ее будешь таскать? – заругалась Лидия.

Правда была на ее стороне. Михаил с водой дал маху. Но за сегодняшний день было уже столько всего, когда она могла бы и не кричать, а кричала, когда она могла бы и не приказывать, а приказывала, что этой сиюминутной ее правде он уже не внял.

– Найду, куда, – коротко бросил Михаил. – А то вообще никуда не буду. Туча вон выбуривает, дождь польет, – и он, действительно, повернул из огорода.

Неужели ему больше всех надо, неужели стоило дожиться до седых волос, чтобы все это выслушивать: и козел, и... Да дурак он был, когда оставил службу и демобилизовался. Ткнул бес в ребро, захотелось семейной жизни. Э-эх, горечь ты людская, мужицкая... – осерчал Михаил. – Да знать бы наперед, что есть такое жизнь семейная! Да ни в жисть бы не ткнулся в нее, так и остался бы бобылем!

Михаил прошел темными и жаркими, нагревшимися за день сеньями в избу. При этом долго не мог в темноте найти край марлевого полога, прикрывавшего дверь от мух. Наконец, нашел. Неслышно ступая, прошел к дивану, где сопел раскрасневшийся внук. Эх, Мишатка, Мишатка, неужто и тебя такое же ждет, а? – сказал. – Тоже подпадешь под бабу и будешь жить по ее глупой указке. Смолоду тебе это будет нравиться, потому что баба твоя будет еще красивая, и будешь покамест ты ей желанен. Указка ее будет ласковая, хоть и жесткая, но ласковая. А потом она тебе родит, вернее, не тебе, а себе от тебя родит – и будешь ты при ней навроде... денщика: то подай, се принеси, опять нажрался, зарплату давай! – А ты придешь к ней со своей лаской, а она к тебе – задом, и зад год от года будет все толще и толще. И чем толще будет ее зад, тем меньше ей будет тебя надо. И будут у тебя мечты молодости, может, стихи будут у тебя, музыка в

душе, а ты все променяешь на семейную жизнь и упрешься в этот зад. И будет он торчать, как бронированный дот. Стихи свои, тетрадочку, припрядешь на подложке, музыка захиреет, превратишься в савраску и потянешь воз свой совсем не в том направлении, куда бы хотел...

Михаил стоял над внуком, как конь, чутко улавливая все, что делается во дворе, не идет ли Лидия, не спугнет ли его отсюда. «Хоть бы муха села», – подумал он про Мишатку, потому что ему сейчас очень захотелось что-то для него сделать. Муха бы села – нет, даже не села, а только бы нацелилась сесть, а Михаил бы ее – раз! – на лету и поймал: стой, голуба, не по тебе честь сидеть на моем внуке!

Но мух в избе не было. Лидия и на сей счет была баба непреклонная.

Вот научить бы тебя, Мишатка, чтобы ты долго-предолго не женился... – стал говорить Михаил. – До твоих детишек мне уж все равно не дожить, а, значит, и нет мне никакой корысти в твоей женатой жизни. Научить бы тебя, что это дело есть погибель для твоей души. Нету такой бабы, которая бы не сгубила в мужицкой душе все хорошее, не научила бы его хитрить, прятать рубль, пить на стороне и не свела бы жизнь твою к той прорехе, через которую сама смотрит на мир. А правда, чего бы не научить, а? – загорелся он. – Вот наврODE особой политбеседы и будет... Про полководцев буду рассказывать, про Порт-Артур, про Суворова, про эту войну и между ними буду вставлять ему... Смолоду привыкнет, глядишь, умней будет.

Он еще постоял над Мишаткой, мухи, конечно, не дождался. Потом отошел к телевизору посмотреть программу, нету ли чего хорошего. Хотя понятно, что нету, но взял газетку, поискал глазами сегодняшнее число. А какое сегодня число? Отрывисто перевел взгляд на календарь. Мать честная! Как так! Девятнадцатое августа!

Михаил отошел от телевизора и вдруг остановился посреди избы. Кем угодно его считайте, но нынче он проморгал эту дату, не вспомнил ни вчера вечером, ни сегодня утром, ни даже днем, когда ходил проверять морды и потом, вернувшись, сидел с газетами!

На второй год после демобилизации впервые Михаил в этот день устроил по своим ребятам поминки. Пока служил, пока кругом были гимнастерки, погоны и стриженные затылки, он мало вспоминал свою последнюю разведку. На военной службе не очень-то

приходят в голову посторонние мысли, даже если они о фронте. И человеку, втянувшемуся в распорядок службы, из армии нелегко уйти. Гражданская жизнь начинает пугать множеством различных помех, нерешенностей, неустойчивости и необходимостью принимать решения самому. Если в армии нужно ждать приказ и возможно более лучшим способом его исполнить – и за это будешь на хорошем счету, – то в гражданской жизни нужно уметь еще и приказывать самому себе, уметь свое же приказание исполнить. Привыкшему только ждать приказы и исполнять их, это сделать трудно. Однажды один фронтовичок, свой брат-окопник, – четыре года передовой, правда, тяжелая артиллерия, но он-то артиллерийский разведчик, значит, все равно что пехота, – как-то, разговоровшись с Михаилом, признался, что он себя в армии чувствовал лучше. Ни о чем не надо было заботиться. Обут, одет, накормлен, помыт, куда идти, что делать – все за тебя продумано, все решено. С неохотой принял он демобилизацию и окунулся в жизнь, где все, начиная с пробуждения, нужно было делать самому. Но он-то, видно, сумел справиться с собой, потому что стал профессором, историком, и Михаил с ним очень приятно и полезно провел время в поезде.

Словом, в армии он про свою последнюю разведку не вспоминал, ребят своих опустил как бы на дно памяти. А когда оказался дома, пообвык в новом своем состоянии, то и засосало сердце, будто бы Михаил в чем-то перед ними виноват. Он долго крепился, не понимал, отчего это. Сосет и сосет... Мать даже посоветовала попить травки. Сама и заварила, сама и наливала ему в стакан, мол, десять лет войны кому угодно сердце надорвут. Для матери не было Победы, не было сорок пятого года, пока не пришел домой он, ее Михаил. Она как проводила его осенью сорок второго, так и считала, что он все воюет. Все уже пришли, а ему выпала судьбина за всех служить на каких-то Курилах. Мало было немцев, еще заставили с японцами.

– Разве можно так, других, что ли, в государстве нету? – спрашивала она себя и себе же отвечала: – Много народу побил... В армии нехватка.

Сыну она наливала в стакан пустырника, а он смеялся:

– Мама, не этого наливай... того... сразу снимет!

И верно, боль проходила, когда он пил водку. И он об этом го-

ворил матери, и она первое время на него не сердилась, потому что видела, как пили уцелевшие мужики. Навидались такого, что трезвому это не пережить. И пусть пьют, пусть пережгут в себе, пусть пеплом-золою покроется у них то, что они пережили, считала она.

– Мама, – говорил Михаил пьяный, усевшись на порог. – Ты его финкой, а он живой, теплый, все в нем сопротивляется, ему бы хоть закричать, все легче, страх бы хоть с криком вышел, а ты ему глотку перехватил, нельзя ему дать закричать. А потом притащишь «языка», оклемаешься, поглядишь на него, а он не старше тебя, ученик какой-то, школьник, ему бы ихнюю латынь или чего там изучать. А ты его приятеля, такого же школьника, своими руками...

– Михаил вытягивал худые, витые сухожилиями руки, смотрел на них, дескать, смогли же вот, оказывается, и не отсохли.

Мать только слушала, сердцем своим остановившимся благодарила Бога за то, что это – финку и не дать закричать – делали не с ним. Слушала и представляла, как это было все страшно. Она же в ту пору могла спать. Она спала, а он тою ночью полз к ним. В него направлены были все стволы, все ракеты и прожектора. Он должен был от всего этого увернуться, приползти к ним, кого-то финкой и не дать закричать, кого-то на себе тащить в свои окопы. Потому что если дать закричать, то это уже – не вернуться, не притащить захваченного врага.

Михаил рассказал и про последнюю разведку, про ночь на девятнадцатое августа. Она видела шрамы около его позвоночника и знала, что осколки так и сидят в нем, вытаскивать их не рискнули. Рассказал он про ребят, а потом стал каждый год в этот день справлять поминки. Справлял, пока был холостой, справлял и женившись. Жена, Лидия, тогда Лидочка, терпела, только удивлялась, зачем это ему надо. Никто из мужиков не поминает, а он все что-то удумает.

В этот день Михаил всегда надевал чистую рубаху. Был ли день будний или выходной – всегда чистую рубаху, матросские клеши, моду на которые привез с Курил, покупал водку и шел в слесарку, где к работе весь день не прикасался. Вечером мужики уже сами бежали за водкой или, вернее, не бежали, а ехали, потому что в слесарке собирались все фронтовики и нефронтовики – слесари, трактористы, вся шоферня – и за водкой ухарски гнали на ЗИСе, непрерывно библикая, чтобы согнать с дороги ребяташек и кур. Потом

Михаил перешел работать на комбайн, на «Сталинец», сидел в крошечной пыли за штурвалом, оставить который было нельзя. Когда привозили в этот день обед, он, наскоро и кое-как умывшись, вынимал из ящика с инструментами завернутую в тряпку бутылку, вышибал пробку и разливал по кружкам всем, кто на обед подвернулся.

Потом этот день как-то сам собой стал забываться, потому что дальше жизнь стала заворачиваться все круче и круче. Ставил дом, повздорил с начальством, отказавшись распахивать заливные луга, сидел в лагере, штурманил на Ангаре и не заметил, как поредел чуб, как стало его волосок по волоску меньше и меньше, как запоблескивали в нем стальные проволочки. С Ангары потянуло обратно домой. Какое-то время работал тут, на Светлой, на аварийном буксире и опять повздорил с начальством, на этот раз уже из-за того дня, из-за девятнадцатого августа, потому что снова про него вспомнил.

Деревня от пристани стояла в десяти километрах, и девятнадцатое число подгадало в тот год ему выходным. Он с вечера уже стал к нему готовиться, конечно, втайне от жены. Она уже не была столь снисходительной к его выдумкам – и так-то пьет, когда ни попадя, а тут еще себе праздник придумал! Он с вечера незаметно слазил на подловку, вынул из-за стропилины полиэтиленовый мешок, где были завернуты скопленные за лето деньги, спрятал их в старой собачьей конуре. Пса уже не держал, а конура все еще стояла. Сделал он это на тот случай, если завтра вдруг не удастся попасть на подловку. Своего секрета жене выдавать было нельзя, иначе она всю крышу переберет по листику, нету ли где еще какого его клада. И уже вечером сидел с газетками, вдруг с почты пришла телефонистка и сказала, что требуют завтра выйти на вахту, заболел сменщик.

Михаил пошел на почту и в телефон стал объяснять, почему не может подменить именно завтра. Причину, конечно, придумал дружую, сказал, что баба с давлением свалилась и пластом лежит, требует догляда. На него в трубке закричали. Он послал крикунов куда следует по-мужицки и ушел домой. А утром, продолжая материться, все же сел на велосипед и поехал на пристань. Буксир-то не оставишь. Там же вдруг выяснилось, что сменщик не только не заболел, а, мало того, выпросил у начальства какой-то отгул, потому что его бабе прикипело именно в этот день чего-то там сделать, то ли в город съездить,

то ли чего ли. Михаил разругался, буксир принял, в рейс ушел, но в обед, как когда-то на комбайне, вынул бутылку. Получилась свара.

Потом уже Михаил работал в кочегарке и этот день отмечал беспрепятственно, то есть без осложнений на работе. Котлы летом не топились. Отремонтировав их, Михаил закрывал кочегарку до осени.

А нынче вот Мишатка всю жизнь его перевернул, можно сказать, поставил на попа. При нем у Михаила на душе стало так хорошо, будто он в жизни своей наконец обнаружил то, чего никак не находил раньше. И главное, сил, оказывается, у него еще предостаточно, чтобы это найденное суметь прочувствовать. Круглолицый и большеголовый, с карими глазами – ни в мать, ни в отца и даже не в него, Михаила, а в свою прабабушку, Михайлову мать, – Мишатка с первого дня, как его оставили в деревне, прилип к деду и с того момента, когда просыпался, до тех пор, пока его не прибирал сон, неотлучно следовал за ним.

Лидия ревновала и недоумевала, чего такого внук нашел в этом старом пьянице, ей уже донельзя надоевшем. Она не раз горько поминала свои молодые годы, когда за ней ухаживали другие ребята. И говорила, доведись-де прожить все сначала, она бы, пожалуй, пошла за другого. Но тогда Михаил был красив, галантен и отчаян. Его «Славное море» заставляло кипеть не только ее серденько. Соперниц у Лидии хватало. И она поначалу испытывала что-то вроде счастья, когда они поженились. А потом все повернулось наперекосяк. Кто вышел поскромней, у кого мужики с виду были попроще, те ныне живут, как баровны, в хоробах, с машинами, со скотиной, денег у них не перечесть. Хоть, конечно, тоже маются, воют со своими стариками, но там есть за что воевать. А у нее за их жизнь ничего не скопилось, все куда-то ушло. Михаил, кроме как чудить, ни на что оказался не способен. Хозяйства не завел, должности не добился. Дом и то кое-как заставила поставить. Все бы он куда-то ходил, что-то читал, сидел бы с мужиками, рассуждал. И не было его словам ни конца, ни краю. Так весь и вышел в одни слова. А она не смогла, как другие, взять мужика в руки. Да и где же было его взять, лихомана. Посмотрела бы она на ту, которая его возьмет. Черт об него обломается. Ведь в чем душа держится. Кожа да кости. А живет, и тянет, и чудит все, как молодой, ровно в нем ключ какой целебный булькается.

– Ты мне попробуй только ребенка испортить! – грозно подступила она к Михаилу, когда почувствовала, что сама не может вызвать во внуке той симпатии, какую он питал к деду.

– А это наше мужицкое дело! – пытался отшутиться Михаил. – Курить, материться, пора ему уже привыкать!

Лидия поняла шутку, но простить такую над собою победу не могла.

– Я сказала! – обрезала она. – Узнаю что – не живай тебе, так башку твою и снесу!

– Ну вот, прямо и башку, – опять попытался свести все к шутке Михаил. – Уж не дурней тебя...

Лидия чувствовала, что строжится зря, что Михаил ничего предосудительного не вытворяет, даже наоборот, сам как-то подтянулся, повеселел, повытаскивал какие-то свои снасти и крючки. А уж внук, тот прямо клещонком впился в него. С утра до ночи что-то делают, куда-то ходят, о чем-то толкуют – и все вдвоем, все вместе, все им интересно. Но, видя это, она посчитала своим долгом предупредить деда, чтобы не возгордился, не возомнил о себе.

– Знаю, как не дурней, жизнь с тобой прожила! – сказала она. С этим и отошла, чтобы последнее слово было за ней.

Обычные бабьи штучки... Сейчас Михаил стоял посреди горницы, ломал брови и все напрягался, пытаясь вспомнить, как же вдруг получилось, что он забыл про этот день.

– Мать, мать, мать, – растерянно бормотал он под нос. – Что же это, как успею? Вот-вот гроза ударит, а мне еще надо собраться, одеться, деньги достать... девятнадцатое августа, девятнадцатое августа, как быстро все прошло!

#### 4

В сенях хлопнула дверь, потом звякнул о пол таз. Лидия принесла огурцы. Сейчас зайдет, заругается, скажет, что ребенку спать не дает, по избе шляется.

Не зашла. Дверь снова пристукнула, но на этот раз потише. Видно, заходя, Лидия все еще была не в духе, а в сенцах вспомнила про внуков сон. То, что она ушла, было хорошо. За ее отсутствие Михаилу надо было успеть собраться. И – первое дело – конечно,



успеть достать деньги.

Михаил еще раз поглядел на розового внука, хмыкнул ласково: «Эх, боец, боец...» – и неслышно вышел в сени. Зная скрипучий нрав чуланных дверей, попридержал их. Прислушался. Сначала ничего не было слышно, потом раздался какой-то звяк со стороны огорода, вроде как что-то плотное упало в пустое ведро. Наверно, Лидия продолжает собирать огурцы. Михаил смерил глазом лестницу – какая ступенька может скрипнуть? – снял носки, чтобы не натоптать их на подложке, сунул в карман и ловко махнул наверх.

Здесь было душно, сухо, полутемно и уютно. Запах пыли и залежалого старья тут же напомнил Михаилу его юность. Этот запах всегда напоминал ее, и всегда, как только Михаил оказывался на подложке, он, будто заново узнавая, оглядывал все кругом. Давно, еще до войны, а потом и в войну, до призыва, подложка, только не эта, а отцовского дома, была местом их с младшим братом обитания. Они ее облюбовали как-то само собой, однажды так же вот оказавшись там и почувствовав себя вдруг напрочь отрезанными от мира. Монастырская тишина, и полумрак, и это возвышение над двором, деревней, собственной избой и как бы даже над самими собой их поразили. У обоих сразу что-то крутнулось в голове, будто оказались они на огромных качелях, с которых Михаил увидел себя в горной хижине Гарибальди, а младший брат Сергеек – на корабле.

Они зачистили сюда. Изба была крыта соломой, никакого слухового окна, понятное дело, не было. Посовещавшись, ребята для света у самого карниза с двух сторон проделали дыры. Их заметила мать.

– Ребятки, – спросила она строго, – вы чего же это там запохаживали?

– Мы не запохаживали, ничего... – отнекулись они.

– А что же вы там делаете? Глядите-ка, и крышу разворошили, а ну как дождь пойдет? И земля с потолка сыплется в избу – чего вам там надо?

Объяснить, чего им там надо, было невозможно. Мать бы ни за что не поняла их, не увидела бы там ни хижины Гарибальди, ни корабля, а увидела бы только ребячье баловство. Потому они прикинулись ничего не понимающими, дескать, кто же его знает, отчего крыша продырявилась, может, кот прокопал для своих удобств, и земля,

поди-ка, от него и сыплется. Насчет кота вроде бы мать и поверила. Приставив лестницу, тщательно причесала солому граблями, придавив заделанные места длинными хворостинами. Но все-таки на всякий случай им пригрозила, и они, утащив ночью с лесопилки доски, тайно пронесли их на подловку и положили поверх земляного слоя, чтобы от их шагов земля в избу через потолочные щели не сочилась.

И до самой армии Михаил и брат Сергейка ошивались там. Мать, конечно, заметила их хитрость и даже пожаловалась отцу. Отец был бесхарактерным, во всем подчинялся матери, был к тому же вечно на работе, потому его нравouchения не возымели никакого действия. Самой матери воевать с ними тоже не было времени. И она отступилась.

– Только спалите мне избу! Я вас, враженья, тогда прямо в огонь и брошу! – пристрастила она их.

А когда сначала отец, а потом и Михаил ушли из дому туда, откуда бабам возвращались вместо мужиков узкие бумажки в серых конвертах, она, улучив момент, полезла на подловку сама. Села на солому перед зеленым фанерным чемоданчиком, где Михаил прятал свои сокровища, и долго, сдерживая голос, редела и все трогала чемоданчик, все шарила по нему, пытаясь его открыть и посмотреть, что же ей – не приведи господь – останется вместо сына, когда и ей выпадет идти в сельсовет за серым конвертом...

Сейчас крыша была крыта не соломой, а железом. Но запах на подловке был тем же. Или Михаил привык его считать тем же. Так или не так, но этот запах всегда вызывал в нем воспоминания о детстве.

Михаил вытащил из-под стропилины около трубы свернутый полиэтиленовый мешок с тремя трешками, заложенными сюда еще с весны, когда он помнил о своем дне. Сунул деньги в карман, мешок аккуратно заткнул обратно и спустился вниз. Девяти рублей для такого дня было мало. Где-то надо было взять еще. Лидию просить было не только бесполезно, но и вредно. Ей хоть такой день, хоть какой другой. У нее все одно: «Тебе бы только нажраться, придумываешь всяко, есть Девятое мая, пей!» Михаил решил сходить к участковому Василию. Мужик был с понятием. Если и у самого нету, у бабы попросит. С ним и выпил бы Михаил.

Михаил снова зашел в горницу, достал из шкафа чистую белую рубаху и клешши – дань курильским воспоминаниям. Взял в руки тяжелую картонную коробку из-под обуви. Здесь хранились все их с Лидией документы и его награды: три тяжелых и холодных ордена с медалями. Иногда он их надевал в такой день, иногда нет. Надевал, если удавалось перебороть в себе неловкое ощущение какой-то похвальбы и полной неуместности их на его пиджаке в этот обычный для всех день. Сегодня по этой как раз причине надевать их не хотелось. Он поставил коробку обратно.

На крыльцо вышел уже в чистом, взял с дверного косяка крем и щетку, шоркнул по туфлям. Потом шагнул в огород сказать Лидии.

Она, ухватившись за поясницу, оторвалась от гряды и сначала посмотрела как бы внутрь себя, мол, что же у меня с поясницей, распрямилась ли полностью и не собирается ли болеть. После перевела взгляд на небо, а оттуда опустилась на Михаила.

– Куда это? – спросила.

– С вами тут все перезабудешь, – ответил Михаил, улыбаясь и давая понять, что говорит в шутку. – Сегодня девятнадцатое, а я с утра совсем не ума.

– Ну, а вчера было восемнадцатое, так что? – опять спросила Лидия.

– Августа девятнадцатое! – повысил голос Михаил.

– Господи, у тебя каждый день девятнадцатое. Куда опять подлаживаешься? Все только бы со двора! – запричитала Лидия.

– Ну, ладно, мать, завтра будешь! Завтра твой день. Сегодня мой! – оборвал Михаил.

– А деньги откуда? Жить не на что, а ты... – продолжила свое Лидия.

– Оттуда. У Василия займу, – сказал Михаил.

– Ишшо не хватало, чтоб по людям занимать пошел! – вскричала Лидия. – Не вздумай, одурел, что ли? Позориться-то! – она тяжело перешагнула через ведро с огурцами и пошла в дом. – Хосподи, хосподи, и когда только вы выпьете ее, проклятушшую, когда только правительство запретит ее, хосподи, хосподи. Ну, ничего человеку не надо, жрал бы ее одну и жрал. Ты вот хоть на обед-то ел? Ведь ничего не ел, а сейчас выпьешь и одуреешь! А все чистое

на тебе, Михаил! – Лидия остановилась около крыльца.

– Тише ты, мать, разбудишь, – сказал Михаил, не понимая, куда она и зачем пошла.

Лидия шагнула в дом и тут же вышла обратно. В руке у нее неожиданно синим банным пламенем полыхнула пятерка. Михаил оторопел, но взял себя в руки – наверно: заставит купить в магазине крупы или чего там.

– На вот! – спустилась Лидия с крыльца и протянула Михаилу деньги. – Возьми, купи уж, да по народу-то не ходи, не побирайся. Выпьешь и сразу домой, слышишь?

Михаил не нашел, что ответить. Оно ведь такого еще не бывало, чтобы Лидия собственноручно давала ему деньги и говорила: «На, Мишенька, выпей, помяни своих боевых друзей-товарищей!» – А раз такого не бывало, откуда же он было знать, как в таких случаях себя вести. Он чуть было счастливо и глупо не гоготнул, но из последних сил сдержался. Подумал, не обнять ли Лидию да не чмокнуть ли, но тоже сдержался. И только коротко, бессмысленно и чужо ответил: «Ладно», – взял деньги, вынул свои заветные три трешки, объединил капиталы.

Увидя такую крупную сумму в руках мужа, Лидия, в отличие от него, не растерялась, а цепко ухватилась за рубаху.

– Постой-ка, постой-ка, откуда это у тебя? Ты что же, просить по деревне собирался, а у самого полны карманы... – грозно спросила она.

Михаил скривился, понимая свою промашку, а Лидия уже полезла к нему:

– Ну-ка вытряхивай, ну-ка выкладывай... чего подумал... обманом уже занялся... скоро воровать пойдешь...

Борьба получилась короткая и неравная, все равно, что между коршуном и цыпленком. В результате у Михаила в кармане убыло ровно на столько, на сколько за миг до того прибыло, и в качестве особой контрибуции пришлось еще выплатить один из трояков. Обобранный Михаил вышел за ворота, а негодующая, но довольная собой Лидия шумела вслед и называла его бессовестным.

Участковый Василий пить наотрез отказался. Он стоял перед огороженным металлической сеткой загоном и кидал двум енотам

мелких щурят. Зверьков он принес откуда-то из леса весной, все лето держал их в загоне, кормил и зимой думал пустить на воротник и шапку дочери. Василий сказал, что ему пить нельзя, что надо ехать в соседнюю деревню, какое-то у него по службе дело, да вот баба его запропастилась, и ему никак нельзя отлучиться. Михаил не поверил. Случись сейчас вместо него кто другой, с кем выпить было выгодно, согласился бы Василий за милую душу. Михаил не стал смотреть на еотов, как они ловят на лету щурят и как довольный Василий пытается их провести: махнет рукой, будто бросит, а сам не бросит, еоты же прыгнут и недоуменно уставятся на него, как так-де, где же рыба. А Василий смеется: вот она, рыба-то, дураки этакие!

– Бывай! – сказал Михаил и пошел прямо к Володе Дьячкову.

Тот тоже не был особым приятелем. Был он на год старше, призывался в сорок первом, служил в артиллерии, пришел после войны, сразу же женился, занялся хозяйством, начал обустриваться и до сих пор, не покладаясь, мантулил то на покосе, то на халтуре. У него подлинно не было свободной минуты, он вечно был занят. Жена его, медленная и рыхлая Лизавета, редко когда с кем разговаривала, никогда не улыбалась, и из-за нее мало кто ходил к Володе в гости. Он, по примеру Михаила, как-то решил отметить день артиллерии, но Лизавета, придя с работы и застав дома мужиков в горнице и за чистой скатертью, извела всех тут же под корень. Ничего особого она не сделала, только стала хмуро ходить по дому то туда, то сюда, хлопать дверью и греметь ведрами. На этом праздники артиллерии у Володи кончились. Мужик он был сноровистый и на работу горячий. Всю жизнь проработал токарем в гараже и даже получил медаль. Его часто выбирали в президиум, приглашали на сборы двадцать третьего февраля пионеры, и Лизавета, чтобы он совсем был уважаемым человеком, крепко держала его в руках, отучив даже от курева. Вместо папирос он долгое время – пока отвыкал, сосал ириски. Этим обстоятельством горделиво хвастался перед своей собратией его сынишка. По деревне это действительно, было необычным, чтоб мужик сосал ириски, и вся щербатая и конопатая братия уважительно молчала. Вообще сам по себе Володя мужик бы хороший, приветливый, и раза два им с Михаилом приходилось сиживать за горькой и вспоминать прожитое.

Гроза со своими сборами замешкалась, никак не могла сосредоточиться, и походило, что ее пронесет мимо. Солнце, правда, пропало. По улицам пошастал ветришко, но пока этим и ограничилось. Михаил шел по обочине, сметая клешами гравий и сухой гусиный помет. В кармане его булькала и била по бедру, как граната, бутылка.

Издали он заметил перед тесовыми воротами у Володиного дома его мать, глубокую старушку, всеми по деревне называемую по имени-отчеству. Было ей столько годов, что она часто их путала и могла сказать точно лишь тогда, когда вспоминала свой год рождения и потом его вычитала из нынешней даты.

– Доброго здоровьица, Мария Павловна! – громко поприветствовал ее Михаил.

Она оторвалась от палочки, на которой покойно лежали медные ее ладони:

– Здравствуй, Мишенька, здравствуй, сынок. К Володе ты, так его нету. На покос уехал утресь, отаву поцарапать, сколь, глядишь, нацарапает, копешку-другую. Скотине зимой все впрок. А я вот поджидаю его, дело к грозе, как бы греха какого не разразилось, спаси Бог.

Михаил ее заверил, что гроза уходит стороной, а она не согласилась. Может, и стороной, сказала, да ведь молонья-то шибко рыщет, случаем каким и заденет. В лугах он, Володя-то, а там, на вольном месте, его ей далеко видать.

– А ты что же, по делу пришел Володю-то проведать? – спросила она.

– Да не то чтобы... – ответил Михаил.

– Аль праздник какой? В хорошей одеже ты... – еще спросила старушка.

– Праздник не праздник, Мария Павловна, а поминок вроде.

– По ком же, Миша?

– По однополчанам, по ребятам... сегодня ночью как раз погибли... – сказал Михаил.

Старушка одобрительно закивала:

– Молодец, что не забываешь, молодец, побил ребятушек-то сколько – страсть. Моего вот Володю Господь охранил, так уж какая я счастливая, ровно счастливей меня нету. Хорошее дело помянуть товарищей. Нету, Мишенька, Володи-то, нету, а Лиза-то тут, дома,

отдохнуть прилегла, да что-то разоспалась. Хворает все, недужит.

Михаил присел на корточки перед старушкой и заболтался с нею. Тут ведь что – а вдруг Володя вот-вот подъедет, и главное, ему тут не отказали, одобрили его. Она, Мария Павловна, женщина старая, умная, но все же ведь женщина. И вот женщина снизошла до него, поняла.

Мимо шли машины с хлебом. Пересохший гравий будто кипел под колесами – не было дороженьке покоя. Старушка глазами провожала их и каждый раз кивала головой, то ли отмечала в уме их количество, то ли одобряла – хлебушко идет, как же оторвешься. Михаил сначала так и думал, что она их считает. И стал тоже поворачиваться на каждую, но быстро устал и пересел на лавочку. Сидя рядом со старушкой, он услышал, что не считает она машины, не ведет учет хлебу, а каждый раз шлет вдогонку и шоферу, и грузу какую-то молитву. Она не была набожной, проживши долгую жизнь почти всю без мужа, в одночасье сгоревшего в горячке невольной после гражданской. Сумела сохранить хозяйство, свела его в колхоз, была там на неплохом счету, вырастила сына, дождалась внуков, потом правнуков. И во всем ей приходилось полагаться только на свой ум и свои руки. Где уж тут Господь? Правда, в кухне, в красном углу, держала она три иконки, но это, пожалуй, просто из памяти. Ими их с мужем благословляли родители, и под ними у нее прошла вся жизнь.

– Что же, Миша, так нынче – хлеб-от все куда-то мимо нас идет? – спросила она.

А Михаил вдруг ощутил какой-то неуют. Он вспомнил, как ушел из совхоза, в который преобразовался колхоз. Ушел он не по своей воле и все творящееся в нем, конечно, стал воспринимать со злорадством, впрочем, довольно горьким, ага-де, опять у вас неувязка, опять на старуху проруха. А у самого будто хина была во рту. Больно было ему глядеть, как распахивались луга, как все засевалось тем, чем никогда здесь не жили, – кукурузой, как рушили приусадебные хозяйства, запрещали держать скот, объявив, что все это мелкособственнический инстинкт, мешающий идти в светлое будущее коммунизм. Да здравствуют цветы в клумбах, да здравствуют гигиена и свободный досуг трудящихся! За продуктом – в магазин!.. Вот что завернули в совхозе, и вот из-за чего распалился тогда Михаил. Не его, кажись,

ума это было дело. Приказано – исполняй. Но и не в его характере было исполнять, не подумавши. А пораскинув мыслишки, приходил он к выводу, что от такого заворота добра не жди. И теперь-то вот всем видно стало, какой конфуз вышел. А тогда ну будто в единый миг все сдурели. Контора – указ, мужики – со всех ног исполнять. Да все со смешком, все с хохотком и издевкой, как ровно не свое губили... Повоевал Михаил, покорячился поперек, но смяли его, вредителем обругали, в близорукости обвинили, кое-куда еще и вызвали. Луга, которые именно ему выпало осенью распахать, но он отказался, распахали другие. Надрались мужики, опохмелились – да и айда плуг к плугу новую целину устраивать. А он обочь, как вот сейчас, стоял и смотрел.

– Колхозу-то уж я и не вижу нынче, – опять не сдержалась старушка. – Что же не колхоз хлебушко-то убирает? Он ведь, хлеб-от, уход любит. Прибрать да пригладить его зернышко к зернышку надо, провеять, просушить. Неоднова перелопатишь, бывало, пока к месту определишь. А он течет с лопаты, золотой, душистый. Всю бы жизнь такую-то работу делал. А тут все куда-то везут, везут, а куда, кто там за ним доглядит, кому он нужен, может, сроду там и не рады ему, принимают да ругаются. Или уж отсталая я, не понимаю нынешнюю жизнь, поди-ка, горожу несусветицу. Его везут, а я, дура, молитву ему вслед шлю, которой Володю провожала. А он, поди-ка, смеется надо мной, хлеб-то. Растят одни, убирают другие, доглядывают третьи. Баловство ведь ему.

«И ему, и нам, – передвинул в уме Михаил что-то тяжелое. – И ему, и нам...»

Он, опершись руками в колени, просидел со старушкой долго. Потом спохватился:

– Ну, ладно, Мария Павловна, Володя, видно, не скоро еще. Пойду я. До свидания, доброго Вам здоровья!

– Айда-пойди, Миша, спасибо за привет, пойди, помяни ребят, жалко, Володи-то нет. Собрала бы я вам на стол... – проводила его старушка.

И что же такое тяжелое у него передвинулось?

А и впрямь с грозой не получилось. Кажется, и деваться ей было



некуда, а вот не вышло. Как не вышло и у Михаила. Он обошел двор за двором почти всех, с кем можно было бы разделить компанию. Но дело поворачивалось к нему таким своим флангом, что сплошь получалась прореха. Кого не было дома, кто был занят, кто и пожелал, так тому жена устроила такую артиллерийскую атаку, так звезданула со всех стволов всякого калибра, что даже сам Михаил только криво ххекнул и задом-задом аллюр все святые вдоль по улице.

Странное и необычное чувствовал в себе Михаил. Он шел от одного фронтовика к другому, упрашивал их распить с ним бутылку, а внутри его топорщилось ни много, ни мало что-то вроде протеста, которого ранее никогда он в себе не знал. Пить Михаилу не хотелось. И от этого на душе была досада. За все лето впервые собрался – да еще по какому случаю! – а утроба окаянная, видите ли, не изволит желать! – в досаде ругался он и грозил сам себе.

– Волью вот полбутылки, так иное запоешь, – говорил он себе сердито. – Ишь, моду взял! Пить ему не охота! Так и окочуриться недолго!

Среди мужиков бытовало поверье, что пить бросать вредно. Вот если сразу, смолоду, не пить – это ничего, а бросать вредно. Организм с такой переменной никак не справится. И такому отступнику придет хана. Сколь-де было случаев, когда такой недоумок был здоровехонек, пока пил и валялся по канавам круглый год, что под июльским солнцем, что под октябрьским дождем. А как только бросал пить, то тут же начинал хиреть, кашлять, и глядишь, еще одного братишечку одели в деревянный бушлат. Михаилу нравилось в это верить. Но он все-таки подозревал, что немножко все не так. Самое большое, допускал он, если бросишь пить, где-нибудь что-нибудь первое время поболит, а потом все пройдет. Поболит – это обязательно, потому что процесс очищения, он хоть в одном человеке, хоть во всем народе всегда проходит с болью. Так уж заведено в природе. А окочуриться – это уж придумали, чтобы себе легче было.

– Получается, права моя старуха, – не на шутку рассердился Михаил. – Я хуже всех, получается. Праведники нашлись. Впервые они про водку слышат. Некогда им. Это своего же брата помянуть некогда!

Михаил ругался, а выходило, что ругался он не на мужиков, а на самого себя, почувствовавшего вдруг предательское желание не быть

пьяным. Он сопротивлялся этому желанию, заставлял себя пересилиться, но не выходило. Кто-то маленький, но настырный улегся в нем поперек всего тела и поперек всех его желаний. Было досадно в себе его чувствовать, но было немножко, кажется, и радостно. Водке сопротивляется не кто-то, не Лидия, не какая-нибудь общественность. Водке сопротивлялся он сам. И маленький этот настырный поперешник был очень даже доволен тем, что никто пить не согласился. Михаил удивленно, как бы со стороны смотрел на него: кто ты такой и каким происхождением во мне оказался? И если ты так наглеешь, то я ведь сейчас заверну в кочегарку и там побеседую с тобой унтер фир ауген, как в разведке говаривали, с глазу на глаз то есть, по-нашему.

Но сам же Михаил и чувствовал неосновательность этих угроз. В кочегарку, в ее сырой угольный холод, не хотелось. А хотелось на люди, с кем-то толковым и словоохотливым побалакать о жизни, побалакать не пьяно, когда все смешается, и о чем говорили, наутро убей – не помнится, а побалакать серьезно и душевно, можно совсем без водки, как было с тем профессором-фронтовиком в поезде. Профессор попался с умом, и говорили они все как есть, начистоту. А что им, фронтовикам, таиться. В окопе она, правда, голенькая ходит. И кто к ней, голой, там привык, тот и здесь ее ни во что рядить не будет. После того разговора Михаилу долго хотелось что-то этакое сделать, чего никто никогда не делал, стихи ли какие необыкновенные написать, памятник ли невиданный соорудить или просто с сумой пойти по деревням и открывать всем глаза на какую-то еще небывалую жизнь.

Пока он с ним, профессором, тогда ехал, эта самая небывалая жизнь будто и у него самого открывалась. А чего бы ей не открыться? Отсидел вот в лагере, хоть и несправедливо, да что с того, не надо было связываться с Николаем, вернее, с умом надо было все делать, а не так, что мы ах, соседи, ах, доверяем! Надоверялся... Ну, черт с ним. Зато жизнь теперь и с такой стороны видел. Ну вот, новая будто теперь она начиналась, будто слепой дождь шел. Дождь идет теплый, сильный! До нитки тебя вымочил, а тебе не горестно, тебе еще пуще на нем вымокнуть охота. Потому что рядом же солнце бьет, и высушит оно тебя, и будет пар по-над всею землею куриться, и с листьев будет капать. Одна капелька падает – не слышно.

А когда по всему лесу, по всем листьям они перебегают, то такая благодать наступает, идешь босиком по траве, по лужам, лягушат распугиваешь, и охота тебе этих лягушат приголубить, не бойтесь-де, дурачье, я же вас всех люблю! А солнце уже печет, спину мокрую поджигает, и ты как раз выходишь из леса, и впереди тебя вся задыхнувшаяся этим дождем поскотина. Над деревней еще туча, но пока ты туда придешь, там уже никто о дожде и не вспомнит, разве что какая баба, у которой осталось неприбранным сено.

Думал тогда, что так будет. Да так-то ведь только в кино, где обязательно исцеление героя через такую картину покажут. У них по-другому, может, нельзя, а у Михаила все не так вышло. Все, как обычно. Радость возвращения, компании, на ангарские денежки водочка, как из крана. И ни стихов, ни памятника. И до соседней деревни ходил только. Да и то без сумы...

Михаил решительно повернул домой. Если уж на то пошло, если не с кем стало выпить в память однополчан, то он лучше сядет перед телевизором и в упор просмотрит всю программу. Новый обряд изобретет. Радуйся, Лидия, муж на культурном поприще себя произрастил. Чудить бросил. В архангелы подался. Вот уж теперь он ребят воскресит.

Эх, а какие были ребята! Попов... То-то сегодня вспомнился. Леонтьев Федя, Коренник, как прозвали его за страшную силу и рассудительность. Корчемкин Гена, вот уж кто двузильный... Семченко Никита, мастак на все руки. Уж на что сам Михаил в рукомесле петрил, а до Никиты ему еще сто лет учиться было. Ребята, говорил, после войны вы только не враз женитесь, чтобы я смог каждому дом с наличниками узорчатыми поставить и печь в нем сложить... А командир! Кремень мужик. То есть опять против нынешнего Михаила не мужик, а юноша. Но все равно кремень. Без примесу. Уж он бы не отказался. С инфарктом лежал бы, а стопарик бы пригубил. Потому что – за ребят. Вот и выходит: кто мог бы помянуть погибших – сами погибли. А кто остался в живых – тому и дела нет. А коли так – все, домой!

Нет, правда, домой! Подругу эту, что по ноге в кармане бьет, Лидии подарит, пусть хвастает перед бабами. Сдался ее враг.

– Эге, Михаил! Куда, дырка-свисть, несешься? – услышал он

неожиданный окрик старика Назарыча.

Михаил оглянулся и удивился себе, как это прошел мимо его дома, не замечая ни его самого, ни кучи тальника, который Назарыч по хворостине таскал во двор.

– А, Назарыч, Бог в помощь! – сказал он смущенно.

– Бог-то в помощь! Ты-то куда устремился? Внук-то где твой? – Назарыч прицелился на карман. – Али там он?

– А что же ему там быть? – спросил Михаил, ожидая от Назарыча дальнейшего разговора.

– А как не быть, если ты, как на свиданку, вырядился. Праздника в календаре нету, а ты разоделся, значит, и есть у тебя в кармане... Поглядел – верно, оттопырилась! – хехекнул Назарыч.

– Тебя бы в разведку, Назарыч, – съязвил Михаил.

– Да на вас нынешних никакой разведки не надо. И без разведки любой курице видно, что у вас на уме и что в кармане! – не постоял за словом Назарыч.

– Ну и что у меня на уме? – спросил Михаил.

– Что... Курице и видно, что! – сделал маневр Назарыч.

– Эх ты, старый пень! – ругнулся Михаил.

– Это верно, – согласился Назарыч и поволок очередную хворостину.

Михаил посмотрел на него, иссохшего и перекосившегося, перевел умом, не обиделся ли. Оно хоть и не должно бы обидеться, да ведь старых людей, кто их знает. И почему-то Михаилу показалось, будто старик этот Назарыч один-одинешенек и стосковался он по людям, по разговору, по чужому человеку на своем дворе. Михаил шагнул через канаву, отхватил от кучи изрядно, навалил на плечо и пошел во двор.

– Вместо тимуровской команды я тебе... – сказал он.

Тот довольно мотнул головой. Более они, пока таскали тальник, ни о чем не говорили.

И заговорили только, когда устало сели на крылечко под осокорем, закурили и в задумье стали смотреть на поскотину, на дальний лес и на крутые горы за ним.

Но и тут разговор занялся не сразу. Молчали долго. Мужики умеют молчать. И пока молчат, оказывается, обо всем перетолкуют.

А потом, когда заговорят, им останется только сказать главное. Сейчас главного, ниточки, с которой можно потянуть беседу, не находилось, и они молчали, досадуя один на другого. Выкурили по сигарке. Михаил с неохотой поднялся с крыльца. Михаилу хотелось, чтобы Назарыч потянул его за язык и тем как бы искупил обиду, нанесенную Михаилу другими, отказавшимися от компании. Назарыч же был рад Михаилу и в то же время боялся радоваться, памятуя, как тот бежал по улице, устремившись, а теперь неизвестно по какой причине рассиживал с ним. Старуха его, кряхтя и причитая о всех своих сорока хворостях, уже неделя тому, как уехала к сыну. По ней он уже соскучился и, как только сталкивался с тем, что делала она, например, с мытьем посуды или кормлением поросенка, ругал ее за похожавость: «Как молодая, язви бес ее в печенку, – ворчал он. – Умыкнулась, и дела никакого нет. Еще старичишку какого городского там прихватит. Ей что, молодая!» – Была она рождения этого века, а он еще – того. Старуха уехала, и Назарыч скучал. Соседи были из молодых, малоразговорчивые. То, что занимало их, ему было далеким, а его мир их не интересовал совсем.

– Или спешить? – будто безразлично спросил он.

– Да нет, некуда, – ответил Михаил и почувствовал, что безразличие Назарыча деланное.

– Ну-к, в избу пойдем, ужин готовить будем, – пригласил Назарыч. – За помощь-то спасибо, тимуровец.

За столом между окон, под зеркалом и старой, но четкой фотографией времен империалистической, уселись они друг против друга. К самому потолку вздымалась паром молодая картошка. Бисерно отпотела рядом банка со сметаной. Назарыч ее вынул из подпола. Оттуда же достал хрупкие, облепленные укропом и вишневым листом свежесольные огурцы. Рвал с грядки и мыл лук Михаил. Он же и хлеб резал и бутылку открывал. Достали из шкапа тарелки и тусклые, побитые старостью вилки с непривычными деревянными черенками. Рюмки тоже были непривычные, забытые, граненые, на короткой ножке. Назарыч спросил, не лучше ли стаканом, а Михаил стакан отверг, нет уж, давай рюмками. Назарыч принес и положил Михаилу на колени полотенце. Клеши-то парадные, как бы не запачкать.

– Я, Михаил, только-только пригублю, ты не сердись, – пред-

упредил Назарыч.

Пока готовили застолье, Михаил рассказал причину своего праздника. Назарыч долго про все расспрашивал, удивлялся и одобрял.

– Ить придумаешь же ты, Михаил, – говорил он. – А мне вот так никогда такого в голову не приходило. А уж битый я перебитый.

– Ну что же, Назарыч, старый вояка, – взял рюмку и встал Михаил, а за ним, сразу же побледнев, торопливо поднялся и Назарыч. – В этот день, то есть ночь, получил я ранение, от которого моя война закончилась. Но не обо мне. А за всех русских мужиков, чьи неблагородные кости, – тут Михаил вспомнил из Пушкина про благородные кости Олега коня и потому подчеркнул слово «неблагородные», – но такие же белые и родные нам кости лежат по всему земному шару, хоть в Маньчжурии, хоть по всей Европе и в Америке, и, наверно, в Австралии сыщется какая русская кость. За твоих, Назарыч, товарищей и за моих товарищей, За нашего мужика, убитого турком, германцем, шведом, своим же братом... короче, за всех, погибших за Россию!

Чуть подрагивая губами, Назарыч сказал: «Истинно, Михаил» – и выпил всю рюмку. Потом спохватился, махнул рукой, мол, что же это я, и рюмку поставил далеко от себя, на край стола к простенку.

Потом потекла беседа. Старик разохотился говорить, а Михаил не мешал, со своими рассказами не лез, а все слушал и слушал, сказав себе, что успеется.

– Я, Миша, – начал обстоятельно речь Назарыч, – в той армии, в царской, унтер-офицером был. Ежели хочешь, документы покажу, до сих пор сохранил. А что, интересно на молодость на свою посмотреть. Хочешь, покажу? – И, получив согласие, вынул из шкапа пухлый пакет в старой газете и тесьме крестом. Из пакета, из колоды старых справок, облигаций, метрик на рождение детей, он взял свернутый вчетверо сизо-зеленый с желтым отливом старый лист толстой бумаги и развернул его. Сначала Михаил подумал, что это керенка, ассигнация Временного или колчаковского правительства, а потом увидел, что это документ, весь изрисованный вензелями, пушками и даже портретом Суворова, документ об окончании учебной команды и производстве старика Назарыча в чин младшего унтер-офицера. Бумага была такую внушительной, что Михаил

невольно стал рассматривать ее с почтением и осторожностью.

– Вот он я, – ткнул пальцем в фотографию над столом Назарыч. – Весь как есть младший унтер-офицер трехсотого Заславского пехотного полка. И служил я в ем до мая пятнадцатого года, а потом меня маленько подранило. Отвезли меня в госпиталь, слушаешь или нет? – и, получив в ответ «слушаю-слушаю!», продолжал: – Полк наш трехсотый Заславский стоял в Польше, в Царстве Польском по тому времени. Там я империалистическую встретил. А в том бою пошли мы атакой. У немца кругом колючей проволоки понамотано, не пройти. Залегли мы. Офицеры говорят, дескать, сейчас соседи справа и слева подойдут, мы и ухнем всем миром. А где же ухнуть, проволока-то вот она, так и повиснешь на ней, и прибьют, как курчонка. Лежим. А он нас орудиями, как все равно матом, кроет и кроет. И деваться от орудий некуда. Лежим на голом месте, за былинки попрятались. А гранаты с неба – ыыхх, ыыхх, только мясо от нас летит. Тут, как не знаю, весть пришла: соседи-де не подойдут и приказано отойти на свою позицию. А как отойдешь – встать невозможно, так и порвет напололам. Ну и начали мы раком, задом-задом ближе к своим сдавать. Я, хоть и жутко, голову приподнимаю, за своими ребятами слежу, все ли в порядке, не нужна ли кому помощь, все же унтер я, старшой. И только вижу... передние, которые к проволоке ближе были, встают и руки в небеси тычут. И много их, на глаз с полбатальона будет.

– Как это тычут, сдаются, что ли? – перебил Михаил.

– Натурально, как есть сдаются! – кивнул Назарыч.

– Прямо батальоном? – не поверил Михаил.

– Считай, что так. Я говорю, часть-то нас отходить начала, отползай то есть, а эти – портянку на штык и машут, дескать, не стреляйте, а кто и винтовки уж бросил и руки растопырил.

Михаил пристально посмотрел Назарычу в глаза. Что-то не шибко поверилось ему в такое. С чего бы это вдруг добровольно побатальонно сдаваться русский мужик пошел. Подумаешь, гранаты, снаряды то есть, с неба.

– Верь не верь, Михаил, а только так и было. Сдаются! – подтвердил свои слова Назарыч. – Видишь, народ темный, никакой политики не понимает, какая там ему присяга. Живой бы остался, а там гори все горячим пламенем. В плену-то, глядишь, до оконча-

ния войны сохранишься, а потом обменяют, когда замирятся, домой придешь. А в окопе-то, да вот в такой атаке, быстрехонько в Могилевскую губернию отрядят. Вот и сдаются... А у меня к тому времени уже медаль была, хочешь, покажу? Не видывал, небось, царских наград? – Назарыч опять пошел к шкапу и принес жестяную круглую банку. – Вот тут у меня вся моя отвага и хранится! – Он вытащил из банки белый кругляш на желто-черной ленте. – Вот она, медаль, смотри, вот из-за нее я и огневался. Как же, дескать, так, я награду имею, а тут такое дело! Ну, вскочил да к ним бежать. Бегу, затвором передернул, патрон в ствол дослал и кричу им: «Назад поворачивай, отходим!» – А германец по нам уже не бьет, сразу этих заприметил. Я, значит, кричу, а в сей момент сзади как ахнут залпом, наши же. Это они по нам, по предателям. Я так и присел. Куда деваться? А сзади опять залпом. И тут меня каким-то случаем пулей дернуло и так интересно дернуло, что живот мне распорол, а кишок не тронуло. Оно, сам знаешь, в живот рана – считай, гибель, только долгая, страшная. Я это как понял, что меня – в живот, обомлел весь, упал, пот с меня бьет, и ни рукой ни ногой не двину. Перепугался так. Да и хорошо, что упал, а то бы кишки-то выпали, доведись мне сгоряча побежать. А так все обошлось, до се вот живой. Зажал я брюхо и пролежал до вечера. Потом меня прибрали охотники. У нас приказ такой был – оружие собирать. Кто винтовку принес – пять рублей из казны. Вот и находились охотники. Меня они и принесли. И смех, и грех. Они меня несут, а я им винтовку отдать не могу. Потому как вдруг замылят. Им-то за это лишние денежки. Да мне бы и не жалко, забирайте, но отдать нельзя. Без винтовки в госпиталь не возьмут. Должен прибыть с винтовкой. А то обратно отправят. Вот как воевали. Принесли они меня, а командир наш, штабс-капитан Ильичев, запомнился мне, – он и приказал залпами стрелять, носом повертел и говорит: «Да ты никак того, обосрался, а? Изменник отечеству!»

– «Никак нет, – говорю, – ваше благородие, и не изменник, и не того, не обосрался... а ранен в живот, требухой и пахнет. А побежал я этих подлецов назад возвращать». А он уж было намерился медаль мою снять с меня. Тут робяты, кто рядом со мной был, сказали ему все, как есть. Он тогда и говорит: «Добро, буду ходатайствовать



о производстве тебя в старшие унтер-офицеры и о Георгиевском кресте». А ни того, ни другого не получил я. Увезли меня, и дело с концом. Оно, может, и самого его, Ильичева, убило, бои сильные были, и отходили мы.

Михаил все это время рассматривал медаль. И слушать ему Назарыча почему-то было неловко.

– А что же, – угадывая его неловкость, говорил Назарыч. – Вот мне командир говорил: изменник отечеству... Я, конечно, не изменник, я и потом, после ранения, со штопаным животом опять на фронт попал. Но и эти, кто в плен наладился, – может, власти-то больше в том виноваты... Такого страму, такого лихоимства на этом фронте насмотришься: воровство, пьянство, дурость, – а дома робяты ждут, изба валится, скот от бескормицы дохнет. Баба на себе пашню пашет. Во что верить-то? Вот он и думает про себя: либо от немецкого снаряда издохнуть и, значит, семью за Христа ради пустить, либо удрать с фронта. Но опять, куда побежишь? К себе в тыл – изловят, высекут, да и в окоп же посадят. А уж к немцу-то, думает, уйдешь, так верное дело. Темнота, конечно... Потом-то сколько мужиков из плена вернулось. Кто так при шляпе вернулся. Все, мол, у немцев по уму, а домой все равно потянулись. Все равно сердце не на месте без своей деревни. Видно, все же есть у него отечество.

Михаил молчал.

– А в гражданскую мужики поделились. Кто – в красные, кто – в белые! – продолжал говорить Назарыч. – Да, было дело, не приведи Господь. Меня стали забирать к Колчаку. Только рваным пузом и отговорился. Медаль еще подсобила. Герой, да с такой-то раной, поверили, отпустили, признали негодным. А многих насильно служить заставляли. Чуть что – на речку в талы отводили. Одного при мне кончали. Парень-то совсем ни при чем, за что уж его, не знаю. Это вот старики у речки жили, у моста, домишко ихний сейчас еще стоит. Вот их парня. Вывели, мороз как раз. Он ревет, слез настыло. Поставили спиной к полю. Офицер с конвоем сговорился, чтоб поиздеваться. Он команду дает, они стреляют, а нарочно мимо. Офицеру смешно, как парень со страху падает. Поднимают его и опять стреляют. Натешился офицер, застрелили. А у него волосы уже белые. За минуту жизнь свою до старости прожил... Вот так было. И, случаем

сказать, красные не лучше были. Об этом, конечно, сказать нельзя. А только я посмотрелся и на красных. Озлобел тогда народ, не приведи еще раз такое пережить! Ты что не пьешь, принес, а не пьешь?

Михаил не сразу и понял, что спрашивают его. Он все смотрел и смотрел на медаль.

– И не одного его так у нас в деревне расходовали. Схоронили их уже при красных в одной могиле, жертвами Колчакии назвали. А потом и забыли. Пока родственники были живы, помнили, а потом – всё. Хоронили возле церкви. Потом церковь убрали. Ребятишкам на том месте физкультурную площадку устроили! К тому времени уж столбик, обелиск ли сказать, сгнил. Могила заровнялась. Топчутся там теперь школьники... А то вот бой был страшный. Колчаковцы два наших полка окружили. Мужики в тех полках были наши, местные. А уж к весне дело, и так-то хорошо с погодой выдалось. Помнится, подтаивать начало, в полудень пригреет, коровы стоят около сараек, жмурятся. Само время к севу готовиться. А Колчак жмет. Сколь я понимаю, белые-то по всему фронту удары нанесли. А тут собрали кулак из этих, нашенских полков – да встречь. И вернули город-то обратно. А вот удержать сил не хватило. Дали белые нашим мужикам из города выйти – и окружили. Страшный бой был. Наши-то учуяли что не пробиться, и все, как один, полегли. Тут уж в плен никто не растопырился. Тут-то в плен – это на муки и смерть. А ведь будущее-то для их семей – все равно скудость. Это ведь уж когда маленько-то жизни хорошей вдохнули... И думаешь, теперь помнит кто их, мужиков наших? Поле на том месте. Поле – добрый памятник. Не площадка для физзарядки. Но меточку хоть бы поставить, чтоб прохожий месту тому поклонился. А нет меточки – нет и памяти. Вот это как, отечество? Те-то, что в плен немцам сдавались, дедов своих уже и не помнили – такая глухая жизнь была. «Расея, Расея!» – кричали нам. Да только ведь слово это без памяти о былом-прошлом – пустое, хоть и Расея. Вот я умру, и кто же по всей деревне о тех мужиках знать будет? Стало быть, опять забыто, опять внуки дедов своих не ведают. Опять, стало быть, отечество-то не ахти какое... А случись чего, ну, как и внуки наши в плен растопырятся? Потому как понятия, кроме как своей избы или теперь уж квартиры, не будет у них? Ты вот сам помнишь ли деда своего? Нет? Ты родился, а его уже живого не было.

А знаешь ли, что он там, на том поле, и закопан?

– Стой! – обваренный вместе неожиданностью, стыдом и еще чем-то жгучим, вскрикнул Михаил. – Точно знаешь?

– За живое взяло? – съязвил Назарыч. – Слава Богу, одного взяло. А уж самому тебе, конечно, неинтересно было про него подумать, неинтересно, что дед твой с моим отцом соседями жили, и деду твоему уже за сорок было, когда он в красные пошел. Никто не гнал. Своей волей пошел. Это уж тебе неинтересно... Ты вот умрешь, а внук твой тебя и не помянет. Хорошо это?

– А, пусть... – дернул лицом Михаил.

Какая-то обида залила его. Он не мог сказать, какая обида и на кого. То ли на себя, то ли на внука, то ли на Назарыча, то ли вообще на все.

– Вот-вот, вам все – пусть. Эту только, – Назарыч ткнул в бутылку, – эту почитаете. И мать, и отец, и отечество она вам. Выучили вас, так вы даже, как это... давеча ты мне говорил, пьете, от поту которое. Такое дело, так вас бы вовсе не учить. И дед твой Елсуков Михайла Иванович для этого башку под саблю подставил, чтобы ты выучился эту самую, от поту, пить?

«Михайла Иванович...» – стрельнуло по мозгу Михаилу. Вот, значит, с каких пор уже они Михайлы. И он, и дед, а наверно, и еще кто-то поглубже – Михайлы. И внук – Михаил.

А фамилия его Елсуков, отнесенная к кому-то, можно сказать, чужому для него, вдруг стремительно приблизила того неведомого ему мужика, и он явственно почувствовал, что в нем, том мужике, была та же кровь, что и в нем самом.

## 6

Лидия спрятала деньги в потаенное место на кухне. Она делала это более по привычке, нежели от нужды. Деньги могли спокойно лежать даже на столе. Раз не Михаилу положены – не возьмет. Гордость у него такая.

Захныкал Мишатка. И она крупными шагами, ступая на носки, полетела к дивану. Внук ворочался и куksился. Лидия подхватила его, горячего, на руки и понесла во двор. Облегчиться ребенку надо со сна.

И тут сбрыкала калитка.

– Смотри, Сергей, отцу не поताкай, – резанул энергичный, но сдерживаемый голос дочери Ларисы.

– Батюшки, приехали! – Лидия растерянно прижала к себе Мишатку, но тут же стала проворно спускаться с крыльца.

– Мама твоя приехала! – пропела она. – Ма-ма-а!

Лариса их услышала, поставила сумки и побежала навстречу. Она обхватила Мишатку, пытаясь оторвать его от бабушки, но тот забрыкался и стал отворачиваться.

– Миша! Сыночек! Иди к мамочке! – тянула его к себе Лариса.

– Оставь его, мать! – сказал Сергей.

– Ъгы, оставь! – огрызнулась Лариса. – Это ты ведь каменный! – и заплакала, что вот жизнь, сын родную мать не признает. Хотелось, чтобы было жалостливо, как в каком-нибудь индийском фильме, а не получилось. Слез оказалось, на беду, немного, и она вновь попыталась ухватиться за Мишатку. – Ну, родненький, ну иди же к мамочке!

Мишатка не пошел ни к ней, ни к отцу. Так и остался при бабушке. Та, довольная наконец-то случившимся его вниманием, с рук внука не спускала очень долго, даже когда устала. А он все спрашивал про дедушку и ждал, что тот вот-вот явится. От бабушки Мишатка собирался перебраться к нему.

Уже отужинали, уже наболтались, уже наохаились над Сергеем, которому пришла повестка из военкомата – на сборы. Из-за этого и приехали. Лариска не хотела оставаться одна и решила забрать Мишатку. Помыли посуду, сели перед телевизором. Смотреть было неинтересно и подмывало на разговор.

– Чо, он так и пьет? – спросила Лариска про отца.

Лидии хотелось сказать, что так и пьет, но Михаил, прямо как на грех, все лето не пил. Язык сам сворачивался сказать «так и пьет», но грешить на Михаила ей было стыдно.

– Нет, – сказала она. – Все летечко не бывало, – и, кажется, почувствовала, как крепко нахлобученный мученический ее венец после таких слов скособочился.

Лариса же ее и не слушала. Она как бы знала ответ заранее. И не сразу до нее дошли слова матери. А Лидия вдруг заволновалась. Ведь на самом деле за все лето – ни разу. Ну, сегодня вот только. А

она будто и не замечала. Для нее жизнь лилась своим чередом, как завелось издавна. Завелось, да вот уж и кончается завод-то... Боже ж ты мой, а ведь какой он был когда-то молодой и красивый!

Увидела она его впервые в городе ранней весной на смотре художественной самодеятельности. Она была из соседнего колхоза, медсестра, младший лейтенант запаса. Это почему-то она ему сказала сразу же, при первой их встрече. То ли он был весь какой-то военный, то ли само так получилось. Они только выступили, засобирались на часок в город пробежаться, поскрипеть перед городскими своими новыми ботами. А тут объявили их соседей. Они и остались. Интересно все-таки на соперников глянуть. Так все было ничего, как у всех. Только вдруг: «Славное море, священный Байкал...» – и какой-то Михаил Елсуков. Вышел небольшой, в черном костюме, клещи необъятные заправлены в хромовые сапоги, невероятно начищенные и невесть как собранные в неопишемую гармошку. Лица она разглядеть не сумела, далековато было. Они перехихикнулись с подружками, мол, вострый какой, «Байкал» взялся петь. А потом неизвестно когда она опомнилась. Все вокруг хлопали и требовали еще – еще всем было «Байкал» надо. И ей было надо, чтобы он снова грянул про Байкал. Вот как капнул он ей в сердце.

Был он веселый, ласковый, по-офицерски галантный. И голова ее при нем всегда кружилась. И не знала она, что делать, что говорить, только пьяно и счастливо улыбалась, держась за его руку. Непривычно было по деревенским обычаям. Мать ее за такое дело, узнав, едва хворостиной не отстегала, но не держаться за него она не могла. Ее бы шатало из стороны в сторону. Примчит он на мотоцикле к ее медпункту, амбулаторией раньше называли, а ей хоть работу бросай – ничего уже не соображает. Сколько всего было. Парни на него ходили, отвадить хотели. Как-то с ними поладил, уступили ему. Хотя часто в ту пору она ему синяки сводила. Он, конечно, разведчик и всякие хитрости знает, но ведь когда кучей на одного – не шибко-то отобьешься. Те ведь тоже народ отчаянный, тоже у кого фронт за спиной, у кого послевоенная служба. Как фронтовиков-то оставили после войны дослуживать сроки, а тут молоденькие, невоевавшие, призывались – вот уже им-то досталось. Потерла их служба солдатская.

Мотоцикл брал у Николая Коровина. Дружили они тогда. Тот

всю войну в тылу прошел, торговое образование да проныра вон какой, без мыла хоть куда влезет, после войны сразу же и женился, и добром стал обзаводиться, и мотоцикл трофейный где-то добыл.

А Михаил кубанку заломит на макушку, чуб выпушит, кулек конфет шоколадных в карман положит и тарыхтит на его мотоцикле по размокшим полям – к ней. Кони не проходят, трактора на оси садятся – грязь такая, а он проезжал, опыт-де фронтовой. Теперь и вспомнить страшно, ведь реки разлились, мосты плывут, а ему хоть бы что, завалится в амбулаторию, как черт из печи, грязный, мокрый, потный, одни глаза только площадками сияют. Кто же вровень с таким встанет!

– ...Чего это с ним? – донесся до Лидии дочерин голос, – На старости лет за ум взялся, наааадо же!

И прозвучало это как-то язвительно и ледяно, будто не об отце, а о соседе, хоть и хорошо знакомом, но все равно чужом.

Мишатка немного уже заигрывал с отцом. Матери он отчего-то чуждался. Ну да это ничего, привыкнет, потом еще не отцепить будет, подумала Лидия, и не выдержала.

– С дедом уж они в дружбе – не разлей вода. Как утром встают, так и до ночи их только и видывал. Все окрест облазили, сколь уж штанов испластали, в войну играют! – сказала она..

– Только и умеет, – сказала Лариса и огладила Мишутку длинным любящим взглядом. – Вырос-то как! И крепенький какой, ага, Сереж! – Потом опять про Михаила: – Я росла, так он все приставал, давай всяким приемам научу, да давай научу. А чо я, мужик, что ли!

Лидия поджала губы. Что-то в дочери ее удивило. Но разобратся, что именно, не хотелось. От воспоминаний, от всего нахлынувшего защемило.

– А знаете, что у нас тут случилось! – воскликнула она. – Чего я вам сейчас расскажу! Михаил-то ведь у нас герой!

– Кверху дырой, – откликнулась Лариса. – Опять какую-нибудь брехню из разведки своей придумал.

Мишатка расхохотался:

– Кверху дырой! Папа, мама сказала «кверху дырой»! А кто кверху дырой?

– Нельзя так говорить, – нахмурил на Мишатку брови Сергей.

– А чо я такого?.. – сказала Лариска, думая, что мужнины слова

направлены ей.

Случай же был такой.

Дом у Николая Коровина загорелся как-то враз. Было часа три дня – дремотно и тихо. Пламя прильнуло к задней стенке и споровисто схватилось за крышу.

Михаил сидел у себя на бревне с газетами, и оторвал его от чтения вдруг шарахнувшийся по улице крик. Крупно, по-мужски выбрасывая бедрами, оставив в дорожной пыли сумку, мчалась и блажно кричала соседка, Николаева старуха Маруся. Вослед ей выглядывал из дворов народ. Михаил отложил газетки и первое, что подумал, не умер ли уж каким случаем Николай. Но тут же отбросил эту догадку. Потому что при таком обороте Маруся не шла бы иноходью, а, как положено бабам, валилась бы на руки людям. Михаил вышел на середину улицы и сразу же увидел пожар. Рванулся туда, да на втором же шаге споткнулся, развернулся и прямо через забор ухнул к себе в огород: накося, выкуси, сосед дорогой!

Лидия была на дежурстве. Мишатка, как ему и положено в этот час, сморенный учением и походом за рыбой, спал. Михаил смерил глазом расстояние между домами. Если ветер сейчас откуда ни возьмется да будет в его сторону, то очень даже может огонь лизнуть и его дом. Михаил быстро прикинул, что ему делать, если это случится, и кинулся обливать свои стены водой. Кто с чем, а в основном ни с чем, к коровинскому двору бежал народ. Подбегая, люди останавливались, глядели, спрашивали – отчего? – и этим свое участие в событии ограничивали, будто прибежали смотреть, скажем, фигурное катание. Самого Николая не было. С утра еще уехал в райпо. Маруся с криком и ревом бегала от двери к окнам и обратно. Несколько мужиков начали ведрами лить воду, но она быстро кончилась. Кто-то громко и шуточно бросил Михаилу упрек: «Ты что же, сосед, о своем только барахле печешься? Что ли, оно свое-то родней?» Михаил весело, в тон же, но со злостью ответил, что сейчас вот он на крышу полезет и будет им, как Озеров, комментировать, а то задним-то, небось, не видно.

Приехала пожарная, но без воды. Сообразили рукав тянуть к пруду. И Михаил, уже стоя с длинным шестом на крыше, ожидая горящих угольев и головешек, удивился: такую пожарную команду – в штрафные роты! Черт с ними, это уж им положено приезжать на

пожар позже всех и без воды, но ведь козе понятно, что расстояние от коровинского дома до пруда в несколько раз длиннее их рукава. Во-во, встали, стоят, смотрят, для них это новость!

– Алешенька! – вдруг взвился над пожаром крик Маруси. – Внучек! Алешенька! – Она протянула руки и бестолково ткнулась в дверь.

Та уже зло трещала, обливаясь пламенем. Маруся шатнулась обратно и опять взвыла:

– Алешенька!

Все поняли, что в доме остался внук. И будто даже явственно слышали обреченный, как у ягненка, детский крик. Он вынесся оттуда, из огня.

Михаил в первый миг и не понял, почему оказался в раздавленных смородиновых кустах. Но тут же по-молодому, вверх ногами, перевалился через плетень и пошарил глазами, выискивая, чем бы накинуться. Мужики, растерявшись, суетились. Бабы с ужасом и любопытством пристраивались хором заголосить.

Михаил увидел развешанные после стирки по плетню половники, рванул их за край. Плетень затрещал. Рванул еще, уронил на землю, свернул, накинул на себя. С разгону протаранил горящую дверь, по инерции проскочил из сенок в избу, а там застопорился.

Напрочь перехватило горькой ватой глотку, и он упал. Как с того света или как со дна огромного чана всплыл вдогонку кипятошным пузырем людской крик. В дерюге было тяжело и неудобно. Михаил вылез из нее и пополз, захлебываясь, по полу. Уже обшарив половину и вывернувшись наизнанку от кашля, опомнился: ведь не в разведке, надо кричать и звать Алешку, чтобы тот, если с перепугу куда забился, откликнулся.

Его вытащили через разбитое окно мужики. Михаил мутно смотрел на них, мычал и, как ему казалось, сопротивлялся изо всех сил, а на самом деле только вздрагивал всем телом. Он хотел сказать, что вытаскивать надо не его, а Алешку, и совсем не понимал того, что втолковывали ему. Оказалось, коровинский внук примчался откуда-то с косяком ребятни и восторженно наблюдал невиданный костер.

Вечером Николай выл от горя, оглядывал вынесенное мужика-



ми добро, сморкался и швыркал, благодаря их:

– Спаси вас Бог, мужики, всю жизнь помнить буду, спасибо, спаси Бог!

– Хоть бы пузырь поставил, – за всех отозвался один. – Ишь, запричитал, Христа-Бога вспомнил... тоже поп нашелся.

Но горевал Николай совсем недолго. Оставил погорелье и выхлопотал себе за казенный счет особняк из белого кирпича, строить который начал на пустыре между двух улиц, где, говорят, еще до колхозов был общественный загон. Земля – и так-то не худая – здесь была вообще на загляденье. Навоз, глубоко вбитый копытами, за долгие годы перегорел и образовал сплошной перегной. И на нем Николай собирался возродиться в совсем короткие сроки.

В общем, все у него получилось ладно и гладко, и это шевельнуло по деревне мыслишки: не сам ли уж с красным-то петушком побаловался? Можно ведь так-то пострадать и перед народом можно пореветь, когда тебе за сгорелое – страховка и кирпичный дом. Да если к тому же барахлишко поценней заранее припрятать, то и вовсе жить можно. Не, надо бы участковому Василию этим делом заняться, стали говорить по деревне.

Василий ходил на пожарище, приезжали из районного пожарного ведомства, ходили, глядели, и так и сяк прикидывали, составили бумагу. А что-отчего – так и осталось неизвестным. Сказали, что загорелось с задов, не от печи и не от проводки. Вот и гадайте сами.

Так вот все случилось, и Лидия про коровинский пожар уже дочери писала, он не был новостью. Сама она Михаила долго ругала, то же и написала в письме, а сейчас вдруг нахлынувшее все изменило, и ей мелькнул не прокуренный и непутевый ее старик, а чубатый лихой фронтовичок из ее молодости. Лидии стало надо, чтобы хоть раз его таким увидела и дочь. И еще очень надо стало, чтобы он был сейчас дома, что-нибудь чудил, балагурил.

## 7

– Неужели, Михаил, только одно горе народ единит, а? – то скливо спросил Назарыч. – Это я как припомню, всю-то жизнь нашу, считай, только горе и горе было. То война, то голод, то опять война.

Всего-то питания было – только кипяток. А уж если с отрубями, то, вроде как уже ты и буржуй, раскулачивать тебя надо. А ведь все пережили! Вот на войне возьми, как друг за друга держались, как один другого сберегали. Он тебе не только не родня, а совсем другой нации человек и по-русски калякать не научился. А все равно вроде родной тебе. И тебе без него плохо. И ты с ним одну шинелишку – под себя, другую – на себя, и зад к заду прижмешься, чтобы теплее было. Вот почему так-то только на войне выходит? Почто же сейчас всяк в свою сторону стремится?

Назарычу досталось солдатской каши вперемешку с родной землицей и на этой войне. После ранения в сорок первом он почти год таскал болванки на танковом заводе. Силы были не те, не молодые, ныла от натуги рана, готовая порваться. А больше-то болела душа. С него, как с фронтовика, требовали примера. А он его дать не мог. Ни заводской специальности у него, ни заводской привычки не было. Всю жизнь свою прожил в просторах, всю жизнь трудился под светлым небушком, а тут заперли в стены. Кругом машины, сбоку, спереди, сзади, над головой машины. Все гудит, скрежещет, лязгает и норовит напасть. Закрутит, бывало, голову, замотает болванкой из стороны в сторону, и тошно становится на душе. Да неужто он, рожденный в каком уж поколении хлеборобом, там, на пашне, в колхозе, не сгодился бы? Ну, поставь ты его к плугу и требуй тогда фронтового примера. Приставь к лошади – и они с нею, с сердечной конягой, жилы порвут, а дадут пример. Зачем же в стены, зачем в чужету-то, как бы зятем нелюбимым в нелюбимую семью!

Он долго просился в деревню. Не отпускали. А весной вдруг враз велели собираться. Организовывалось подсобное хозяйство при заводе. И его отправили туда. Окасило Назарыча родным земляным дыханием, умыло прозрачным маревным простором, и забыл он про свою рану. Рокот трактора-колесника, громко чихающего керосином, был довоенным, знакомым, можно сказать, колхозным. Только сидела за рулем женщина, чего он, Назарыч, еще не видывал. И вообще деревни обезмужичели. После фронта, да и после завода, это было необычно и жутко.

«Откуда же народ после войны возьмется? – не вылезало у него

из головы. – Мужики в одном месте гибнут. Бабы в другом месте хиреют. Вот она, война-то, чем страшна: не тем только, что на ней народ гибнет, а и тем, что народ не рождается».

– А ты не страдай, служивый! – с горьким задором сказала Назарычу трактористка, услышав его рассуждения. – Тебе и выпало счастье народ плодить. Иной на твоём месте...

Иные были. Да только ведь это не дело. У неё мужик на фронте – приказ Верховного «Ни шагу назад» – своей кровью землю пропитывает, а тут её по-за амбарами без штанов седлают. Значит, покамест он рубеж держит, покамест ещё не убит, и немец через него не перешагнул, ты спокойненько можешь с его бабой кувыркаться? Да за такое дело, да Назарыч бы лично сам собственной рукой – это же не свои, это же тебе смертные враги, которые рады всеобщему горю, это же мародеры. И её бы, курву, и его бы, подлеца... привсенародно... за предательство... за убийство веры в том бойце, кто не сделал свой шаг назад!

Нет, такого на Руси не бывало.

Было, конечно, такое на Руси, было, но Назарычу казалось, что не было, вернее, хотелось, чтобы не было, и от этого начинало казаться, что на самом деле не было.

– Больно строгий. Ишь, всесоюзный свекор сыскался! – обрезала трактористка.

Проработал лето Назарыч, а осенью сняли с него броню – не на заводе ведь – и снова на фронт.

– И прошёл я, Миша, до озера Балатон, – Назарыч бережно, сам разглядывая будто впервые, вынул из банки одну за другой три медали. – Вот за Будапешт медаль, эта за Германию, а эта вот, как мы её называли, «За бэзэ», «За боевые заслуги» то есть. Да у тебя, поди-ка, таких, сколь хочешь?

Михаил увидел в вопросе плохо спрятанную гордость и ответил:

– Нет, таких у меня нету. Тебя бы, Назарыч, в газету или на какую-нибудь особенную Доску почёта. Ветеран трёх войн!

– Вот она, судьба, – не стал слушать Михаила Назарыч. – Никого ведь, с кем в детстве я водился, нету, всех пережил. И умирать неохота. Неохота, пока не удостоверюсь, что после нас страна в целостности-сохранности на веки вечные останется. Никаких памятников

не надо. Знать бы, что на нас в России горе кончилось и будет она цвести-расцветать. Храню вот медали и книжку красноармейскую храню. Никто уж теперь этим не интересуется. Старухе наказал, чтобы в гроб со мной положила. На торжественном приеме у господ бога стодится, все в какие преподобные угодники зачислят.

Нет, Назарыч не хотел, чтобы все это ушло с ним. По его понятиям, вещи эти – медали, красноармейская книжка, пачечка благодарностей Верховного Главнокомандующего, фотографии – принадлежали ему не насовсем.

– Мы, Михаил, в сорок четвертом Румынию проходили. И у них везде, в каждом местечке памятники тем, кто в империалистическую погиб. Подивился я, и горько мне стало. Ведь сколько ребят наших хороших сгнуло. Разве виноваты, что при царе дело было? Румыну почет, мадьяру почет, а тут хоть трижды геройский ты был человек, а все равно не до тебя. Сгинул, и ладно. Мороки с тобой меньше. А то определяй тебя – герой-то, мол, ты, может, и герой, но герой – царский. Уже нам не нужен. А в природе как? В ней одно к одному плотненько притерто. Хоть трава, хоть дерево, хоть животное. Ничто никуда не исчезает. Все природе нужно. Без чего-либо ей хана. А у нас же будто по-иному. При нашей власти погиб – ладно, памятник, да и то нечасто. А уж при той власти погиб – извини-подвинься. Мы тех забыли – а нынешние нас забыли. А кругом только и слышно: никто не забыт, ничто не забыто. Как же не забыто, когда при каждом-то новом правителе историю по-новому кроют. Это нам нравится – это не нравится... Вот наша деревня. Почему бы не знать, например, что Елсуков Михайла Иванович в красные пошел, а сосед его, унтер и кавалер Иван Назарыч, подождал, думал, обойдется, навоевался-де он досытичка. А как на белых насмотрелся, так не только пузо свое рваное позабыл, а и ладом обуться не успел, в красные побежал. Вот такую историю иметь надо. Была ошибка – помни. Был подвиг – знай.

Стал тут вспоминать Назарыч, как к тридцатилетию Победы взяли кругом устраивать музеи. И в районе один старичок нашелся. Живой такой старичок, деловой, так завернул дело, что враз музей всем на диво сладил. И к Назарычу приезжал. Отдал Назарыч ему всю свою жестяную банку, все награды и благодарности.

Потом видел их в музее, долго стоял, смотрел, как на чужие, живущие отдельно от него. Так в тридцатом году было: и своя она, скотина, и уже не своя, уже на общее дело отданная.

Ходит тот старичок по музею, а при нем молодая женщина. И рассказывают они про все грамотно, – заслушался Назарыч. А та женщина подводит народ к Назарычу и говорит:

– Здесь представлены награды одного нашего земляка, и он сам сегодня в нашем музее присутствует. Попросили Назарыча слово сказать. Сказал он, как умел, а сам чувствует: не то получается, с пятого на десятое. Приехал домой и давай все, что помнил и пережил, в тетрадку записывать. Сорок сороков раз переписал, а все недоволен. Нету ведь сноровки на писательство. Шибко это непросто оказалось – бумажный лист правдой засеять. Буквы писать – это, пожалуйста, но чтоб в буквах было именно так, как в жизни, вот на это много поту потребовалось. Отвез Назарыч тетрадку в музей, вручил старичку. Тот благодарил, обещал все до ума довести и в газету поместить. Да какой старичок! Назарыча самого едва ли не в треть моложе. Только Назарыч весь усох, мясо в нем провялилось, и он как бы вечным стал, а старичок тот был рыхловат, дышал силло. Но единой минуты на месте не сидел, все копошился и про все знал.

Приехал Назарыч вдругорядь из музея домой, и нету ему покою. Опять писать тянет. Купил еще тетрадок. Сел снова. Где что в той тетради упустил, подзабыл, где что не так написал, стал в этих тетрадках поминать. Вымотало такое писание Назарыча. Так-то светлый ключик от сильной дождевой воды мутится. Пишет, пишет Назарыч, бросит ручку, вскочит, хватаясь за костенеющую поясницу, по избе забегает. Ох, трудная была зима. Старуха грозилась и тетрадки, и ручку в печь бросить, дескать, надорвешься, чего удумал: пишет да сам и злится, не пиши, путем раз ничего не получается.

Когда уж Светлая улеглась, в огороде все справили, поехал Назарыч в музей – приехал к замочку. Нету музея. Комиссия-ревизия была, неполадку обнаружила. Женщина та по документам, видите ли, техничкой была оформлена, потому что штатного музейного работника власть не определила. Убрали. А потом еще слух пошел, что музей пограбили. И Назарыч опять в город подался. Такое дело, так хоть свои награды обратно заполучить. А то достанутся кому на

посмех. Особенно жалко было той старой медали.

– Не хочу, Михаил, я их с собой в гроб-от брать. Здесь бы они больше сгодились! – сказал Назарыч.

– Так японский городской! – взмахнулся Михаил. – Да что нам на район смотреть! Самим музей сделать надо!

Сбрякалось это у Михаила сгоряча, сердце рванулось, и слова вылетели сами собой, как автоматная очередь у зеленого солдата.

– А кто же бы, к примеру, взялся за это? – прицелил в Михаила колючим взглядом Назарыч. – Я уж стар, да и грамоты у меня едва на аминь хватает. Тебе бы вот! Сколько орденов-то у тебя? Три? Боевое Красное Знамя и две Красные Звезды? Да с такими орденами только в президиумах сидеть. А ты не пойдешь в президиум-то, а, не пойдешь? Совестишка-то еще есть? Во-о-от, не пойдешь. А почто? То и не пойдешь, что жизнь свою продурел, в водочке ее изыскивал, а она тем временем мимо ушей просвиристела. Все на водочку променяли... эээх, все на водочку.

## 8

Спит деревня, и чиркают зарницы.

Другой час уже, как Михаил, уйдя от Назарыча, бродит сам не свой. Не домой несут его ноги, дома что – Мишатка спит-сопит. А больше дома ничего.

Назарыч всучил остаток бутылки Михаилу обратно. Не его-де вкуса подруга. Спротивляться Михаил не стал, засунул ее в карман, а потом вдруг вышвырнул в пруд. Подумал, глядя на себя со стороны, картинно вроде как получается, да на всплеск добавил еще два кома засохшей грязи, отбив их каблуком от старой тракторной колеи.

Потом таскался по улицам, пугая прилепившихся к заборам на ночь не загнанных овец. Пару раз ступил в коровьи лепешки. И коров, кажись, в деревне не осталось, а он не миновал. Наугад пошастал туфлями по траве, обтираясь. Побрел дальше и, наконец, вышел к хлебному полю. Последил за огоньком далекого комбайна и пошел к нему. Теплые сухие колосья полезли с рукопожатиями, будто признали его. Михаил погладил их, сколько захватил, и при-остановился, хлеб ведь топчет.

Недавно – ну, правда, дочь Лариска была еще крохой, значит, тому уже лет двадцать пять, – недавно ли, давно ли Михаил работал на этом поле, жал на «Сталинце» рожь. До деревни рядом, вон речку перейти – первые огороды с ветлами. Как пароход лопастями, шлепал мотовилом комбайн, лязгал и прокашливал в небо едким дымом трактор, ровно шелестело в бункере за спиной зерно, мерно и споро стучали молотильные клавиши.

Горячий ветер вперемежку с густой пылью пузырил рубаху и щекотал в носу. Было пасмурно и тепло, как вот сегодня вечером. Работалось легко. Михаил отвернулся посмотреть зерно в бункере и не увидел, почему вдруг трактор остановился. Пользуясь остановкой, он сдвинул противопыльные очки на лоб, полез в бункер, чтобы разгрести зерно по углам. Вообще-то это дело какого-нибудь мальчика, специально сюда посаженного. А Михаил работал на комбайне один. Разгребая ногами теплое и устало улегшееся на покой зерно, он услышал писк.

– Уж не мышь ли занесло? – удивленно перевел он в уме. – Или зерно, как полено у папы Карло, заговорило?

– Паааааа! – опять пропищал кто-то.

Михаил притих. Голос был родной. Но потому, что он появился в бункере, Михаил никак не мог его узнать. Наконец, решив, что померещилось, он вылез наружу и – мамочки! В поле на стерне, около самого комбайна, стоят Лидия с Лариской, и обе, глядя на него, заливаются-хохочут. И тракторист шею вывернул, как гусь, тоже не отстает, тоже ржет во всю свою круглую и черную рожу.

Михаил спрыгнул наземь.

– Что ты, что ты, Мишенька, ты же, как черт, грязный! Запачкал! – отбивалась от него жена.

Но он все же подхватил ее на руки, уцепил Лариску и затоптался на месте, кружась. Век, кажись, кружил их, потому что захлестнуло его будто теплой волной и плыл он в ней, и плыл, не в силах вынырнуть и глотнуть воздуха.

Все ушло. Все смыло временем. Лидия разбухла, что и не обнять. Лариска живет в городе. «Сталинцы» переплавлены не на один раз. Поле разве что осталось тем же. Осталось таким же, какое было при нем. При нем было таким же, как при его отце. А при отце

– как при деде. Нету их никого. Ни деда, Михаила Ивановича, который с двух войн пошел на третью и слился теперь с землей и хлебом на все времена. Отец сколько пота уронил в это поле, пропал без вести отец и тоже, наверно, пророс колосьями. Мать гнулась тут с серпом. Нету уж и матери. А может, она сейчас плывет над этим полем, над хлебом – его запахом. Потому что в детстве она всегда пахла хлебом. Встала ему давняя картина, как мать вынимает деревянной лопатой из душистой печи караваи, скоблит от золы их нижнюю корку и составляет один к другому на лавку, застеленную белым, служащим только для этого полотенцем. И потом, когда Михаил и браг Сергунька ели этот хлеб, бывало, незаметный, крапившийся в корку уголек скрипел на зубах, они радовались, хоть от него и не было вкусно, радовались, приговаривая, что это привалило счастье или что скоро будет обнова. А в войну печь перестала дышать хлебом. Выскобленная лопата обернулась в тряпицу и забралась за печь. Тайком они ее оттуда доставали, развязывали и ползали по ней носами, нюхали, как пахнет хлебушком. А лопата запаха хлебного не сохранила. Но они все равно нюхали ее, особенно Сергунька, который все время и подбивал Михаила на это. Хлебушка хотелось очень. Во снах они его жевали вдосталь, и отвыкшие десны отдыхали и нежились в пористом и упругом мякише.

Никого не осталось, брат только младший остался, но пашет он море, брат Сергунька, капитан третьего ранга Елсуков. А после брата есть еще родной человечешко – Мишатка. И воюет с ним Михаил, и приучает ко всяким воинским хитростям, какие обрел сам, а ни разу не сводил его в хлеба, не потолковал о житье-бытье тут, перед кланяющимися в ноги колосьями. Про войну ты ему все, Михаил, про войну, а ведь войны больше быть не должно. Мишатке-то полезней – про мирную жизнь. Посложней она, выходит, военной, если ты там за два года три ордена получил. А тут за тридцать с лишним лет только того и достиг, что все упустил. Жизнь-то другой тропочкой ушла. А ты ее не в том месте караулил.

Огонек впереди неожиданно погас. Михаил остановился. Подождал. Нет, больше не вспыхивает. Михаил пошел наугад. Шел долго и стал уже нервничать, туда ли, не отклонился ли. Хотя, за-



чем нужно именно к комбайну? Не к невесте же идет, что именно к ней надо, к желанной. Пошел так просто, по полю поболтаться, хлеба вот память. Ишь, какие ровные, в темноте и то чувствуется.

Призывался Михаил тоже с этого поля.

Отец ушел сразу же. Собирался как-то недолго, незаметно, все молчал, только перед самым уходом сказал, удивив всех необычной для него строгостью, чтобы ребята и не думали бросать школу.

– Не тревожься, Вася, жива буду – окончат школу оба, – каким-то не своим голосом проговорила мать.

Но зимой Михаил ушел в слесарку. Как принесли бумажку, что отец пропал без вести, так и ушел Михаил из школы, потом в посевающую стал прицепщиком. Лето проработал с трактористом, и осенью повестку из сельсовета ему привез бригадир прямо в поле. Было это в другом месте, далеко от деревни. Пахали зябь. Туда и привез повестки бригадир Митрич, теперь уже покойничек, и ему, Михаилу, привез, и трактористу.

– Эх, мужики, с кем же я теперь останусь? – Бригадир добавил словечко подреней. – Хоть бы допахать дали.

Сам он был с деревяшкой вместо левой ноги, потерял в Литве в первые дни войны.

– Туда-сюда перебрасывали, только окопаемся, опять приказ в другое место, а они висят прямо над головой, бомбят нас, и ничем от них не оборонишься, так и отсабанило ногу, сам не заметил как, – рассказывал Митрич. – Хоть бы пострелять в них удалось. А то и в глаза живого фашиста не видел. А ногу отдай.

Эти мужики у него были последние, тракторист и прицепщик, и на вот, глуши трактор, и айда в город.

Михаил слез с плуга, отколотил от сапог комья земли, взял повестку в рано заскорузлые руки и прочитал, враз оборотившись из парнишки в мужика.

Может, потому теперь и тянет туда, на огонек.

Росы не было. Хлеб стоял сухой и звучный. По-сабельному вжи-кали раздвигаемые колосья.

– Бьете? – неслышно спрашивал он их. – Чужой я вам теперь, забыли. И земля забыла, что болтается еще по свету Мишка Елсу-

ков. Бьете? Правильно, бейте.

Комбайн, как добрый разведчик, появился в темноте неожиданно. Михаил чуть вздрогнул и остановился. Очертил глазами контур, подошел вплотную, прислушался, зашел с другой стороны и услышал жидкий храпоток под колесом. Нагнулся, пошарил и нашел край телогрейки. Выпрямился, громко окликнул:

– Эй, хозяин! – и подивился тому, как голос потонул в ближних колосьях.

Храпоток прекратился. Михаил окликнул еще раз, уже в том смысле, мол, что же это, как насчет выполнения социалистических обязательств, или сон в них тоже предусмотрен.

– Мать-мать! – молодо и сишло рявкнулось из-под колеса. – Откуда ты такой взялся?

По голосу Михаил никого из деревенских не узнал. Да и немудрено. Их столько сейчас, молодых, всех не упомнишь, на поверку для знакомства не выстроишь.

– Ну, так как обязательства? – спросил Михаил.

– А иди они! – огрызнулся молодой голос и спросил закурить.

Михаил вынул папиросы и присел на корточки.

– Где ты там? Встал-то что? Сломался?

– А то и встал, – опять заругался голос. – Бункер располнехонек, а машин нету. Не на землю же высыпать. Я уж ждал-ждал, свет жег, вспомнят, думал. Где же!.. Лег да заснул. Завтра опять целый день мантулить.

Голос вылез из-под комбайна, нащупал Михайлову руку, взял папиросу, чиркнул спичкой. Михаил увидел перед собой молодого незнакомого парня, белобрысого, кучерявого и грязного.

– Чей будешь? – спросил Михаил.

– Я-то? Здешний я, – не называясь, ответил парень. – А ты куда в темень подался, скотину ищешь?

– Не... так... не спится.

– А я бы так дрыхал! – он с протяжным зевком потянулся.

– Женат? – спросил Михаил.

– Не, не сдурел еще.

– А когда сдуришь?

– Когда? А когда всех девок перепробую!

– Тогда точно сдуришь.

Парень довольно расхохотался:

– Да это я так... С одним дембелем вместе ехали. Его слова. А мне подвернулась бы хорошая, так сейчас бы женился! – сказал парень и вдруг прибавил: – А ты, по-моему, Елсуков Михаил будешь. Вспомнил. А я вон из той деревни, – парень махнул рукой в сторону. – Ты как-то приезжал к деду, керосинили вы с ним. Это я еще в армию не ходил.

Михаил догадался – стоит перед ним внук Андрюши Однокрылого, по-другому еще Андрея Антихриста. Однокрылый – за то, что с одной рукой пришел с фронта. Антихрист – за безбожно ругливый характер.

– Жив-здоров он? – спросил Михаил про Андрюшу.

– Он-то, дед? Шебутится. Сторожем в стройцехе. Как заматерится, так птицы на лету падают, не то что кому-нибудь к забору подойти. У меня, говорит, сохранность материалов сто процентов.

– А ты где служил? – спросил опять Михаил.

– Долг исполнял интернациональный! Слышал про такое?

Михаил в вопросе почувствовал издевку, мол, за пьянкой ничего не знаете, мужики. Почувствовал и сказал:

– А ты про остров Зеленый слышал?

– Про остров Зеленый? – переспросил парень, не учуяв подвоха. – Нет, не слышал.

– Вот и квиты! – сказал Михаил.

Парень сильно удивился. Не знать, где Афганистан! Ну, пьют!

– Знаем, – сказал Михаил. – И Афганистан, и Зимбабве. А ты вот знаешь, где дед твой воевал?

– Знаю, в Германии, – ответил парень. – Я про это дело люблю!

– В каких войсках, на каком фронте, в каком полку, в каком месте? Знаешь?

– Нууу, этого я не скажу, что он, что ли, герой? У него только одна медаль «За отвагу» и все! – сказал парень.

– А ты человека по орденам меряешь? – уцепился Михаил.

– По выпитому, что ли? – хмыкнул парень.

– Без ордена, значит, не герой? – не отпустился Михаил.

– Какой герой, – помолчав, сказал парень. – Так рассуждать – и

я герой. У меня тоже «За отвагу».

– У тебя «За отвагу»? – удивился Михаил.

– С Афгана! – сказал парень.

– Молодец, нюхнул, значит, как она пахнет, медаль-то! – похвалил Михаил.

– Нюхнул, кому медаль, а кому... – сказал парень.

– Ну и, значит, кому не медаль, а мать сыра земля, те совсем народишко того, так, что ли? Ты всю жизнь свою помнить, конечно, будешь то местечко, где кому медаль, кому бушлат деревянный или цинковый уж нынче... А дети твои вырастут и скажут: чо нам про папку знать, он не герой, у него одна медаль только! – снова прицепился Михаил.

– Так, а что про меня знать? – не понял парень.

– Да не про тебя, а про ребят тех, кому уже ничего больше не выпадет. Долг свой они на всю катушку выполнили. Им ничего больше не надо. Только память – нашу, мою, твою, твоих пацанят, понял? – сказал Михаил.

– Понял! Давно понял! – сказал парень.

– Ну, а раз понял, так что же ты: «Он герой, что ли?» Человек он, прежде всего! – загорячился Михаил.

– Про вас – сколько книг всяких написано, а про наших ребят – не больно-то! – тоже загорячился парень.

– И про нас такого понаписали, что глазам своим не веришь! – сказал Михаил.

– Не в этом дело. Про вас пишут и говорят, вам памятники, мемориалы всякие, а про наших ребят – молчком! – с обидой сказал парень.

– Да какие мемориалы! Вон там, у речки в талах, белые людей расстреливали. Велик там мемориал? Под городом в бою два полка красных порублено – помнишь ты это? – закричал было Михаил, но спохватился, увидев вдруг себя со стороны.

Как Назарыч на самого Михаила, набросился сейчас он на парня. Ишь, какая преемственность поколений вышла. Парень докурил.

– Где уж нам помнить. Знать-то ничего не знаем. Вы про нас, мы про вас – квиты, верно ты сказал! – хмыкнул он, полез в кабину, включил фары, помигал ими, опять выключил. – И делать нечего,

и сон развеялся! – сказал он.

Вяло поговорили еще о том, о сем. И Михаил пошел.

На востоке проколупнулась узкая блеклая с желтым отливом щелочка, намекнувшая на рассвет. Михаил шел тою же тропкой, что пришел сюда. Так же стегали его колосья, и он совсем не помнил о том, что к комбайну шел с безотчетным желанием зацепиться за тот свой год, с которого его жизненная тропочка стала вихляться.

Дома на крыльце он нашарил телогрейку, потому что стало прохладно, и пробрызнула роса. Не открывая дверей, уселся на ступеньках. Сидел, курил и все думал и думал. И что ему думалось, он определить не мог. Мысли были какие-то пустые, совсем не высокие, и не о жизни, не о смерти, не о погибших товарищах.

Потом он устало укутался, свернулся калачиком, положил под голову рукав телогрейки и заснул. Только когда засыпал, зарницей чиркнула короткая мысль о Мишатке. И он улыбнулся.

С этой блаженной улыбкою и застала его Лидия. Она скрипнула половицей, и Михаил, всегда спавший чутко, встрепенулся. Но глаз разлепить не успел. Она его и увидела такого, досматривающего что-то в себе и улыбающегося.

– Ты чего это, отец, где шатался? Позднее прийти не мог? – недовольно спросила Лидия.

Михаил тряхнул головой, почувствовал, как от неудобного лежания затекла шея.

– Вот раньше был умный человек, Диоген. Он в глиняной корчаге жил и ходил среди бела дня с фонарем. Его спрашивают: чего ты, Диоген? А он им отвечает: ищу человека! Вот я так же, – весело ответил Михаил.

Вообще Лидии ругаться не хотелось. На душе было тепло, еще не вспомнилось, что Мишатку увезут. Но Михаил со своей придурью вынудил.

– Лариска с Сергеем приехали вчера, ждали-ждали тебя, а ты упорол куда-то, хоть бы сказал, где тебя лихоманка носить будет! – сердито сказала она.

– Лариска с Сергеем? Хорошо! – обрадовался Михаил.

– Не радуйся, – плеснула холоденькой водицей Лидия. – Сергея-то на сборы по повестке забирают. За Мишаткой приехали.

– А он? – одеревенел Михаил.

– Кто его спросил... Он, пока не уснул, все тебя ждал. С Сергеем маленько поиграл, а к матери не больно-то. Все – дедушка да дедушка... Да не ходи ты туда. Спят они все. Пусть. Не буди... Что с тобой, Миша, что? – она схватила вдруг посеревшего мужа за руку и усадила его на ступеньку. – Миша, с сердцем, что ль? Миш? – теребила она его – Сейчас лекарства принесу, посиди, сейчас!

– Не надо, мать! Когда поедут? – вяло махнул он рукой.

– Сегодня собрались. Ты, может, отговоришь? А? Попробуй, умани Сергея-то на рыбалку или куда. Он любит. Я денег вам дам, Миша, а? – схватила за рукав телогрейки Лидия.

Михаил согласно кивнул головой, мол, попробую.

Да где же, и пробовать нечего. Сидит зять под Лариской, подкаблучник безрадостный, околюбочник прогорклый. Сидит и шагу без ее слова не ступит. И ты хороша, Лидия, все вы хороши! Сами жмете нашего брата под себя, жизнь на то кладете, чтобы только мужем верховодить, а теперь вот они, плоды.

Михаил пошел в огород. Лидия стряпала, спешила, Михаила не трогала. И он просидел в огороде долго, пока не услышал, как в доме все проснулись. Зазвенел голосишком Мишатка, забренчала что-то в ответ Лариска, пробубукал Сергей. Лидия речитативом исполнила свою партию. Потом все смешалось и выплеснулось во двор. Михаил встал.

Лариска, кое-как прибранная, растопырившись, бегала вдогонку за Мишаткой. Тот – тоже в исподнем – убегал от нее и что-то беспрестанно стрекотал. Одетый и прибранный, Сергей на ступеньках чадил сигаретой. Михаил поздоровался с ним. Поулыбались друг другу, спрашивали о житье-бытье, про делишки. Подкатила Лариска с Мишаткой на руках.

– Здорово, дед! – крикнула она, раскрасневшаяся от беготни.

– Запахнись, – недовольно стрельнул глазами Сергей на голые ее бедра.

– Эка невидаль, – парировала Лариска.

Михаил поздоровался с дочерью и ткнул небожно пальцем Мишатку. Тот улягнулся, но мимо.

– Ну что, боец? – спросил его Михаил.

– Я не боец, – ответил внук, не отликая от матери.

Это Михаила удивило. А Лариска, тискакая Мишатку, вдруг громко стала выговаривать Михаилу за то, что он обучает парнишку всякой ерунде. Лучше бы чему умному научил, стихам какаим, что ли.

Михаил не стал спорить с дочерью – что ей докажешь, когда не в чести. А стихам он учит Мишатку. Учит Некрасову: «Славная осень! Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит». Учит Пушкину: «Во глубине сибирских руд...» Лермонтову тоже учит.

– Ну-ка, расскажи, Миша, маме «Бородино», пусть послушает! – сказал Михаил. Мишатка накуксился.

– Сам расскажи! – сказал он.

Михаил повернулся к Сергею и стал его стоваривать насчет рыбалки.

– Ущицу там сварим из щуки, пузырек прихватим, на просторе за жизнь потолкуем, а? Баушке принесем, пирог нам сварганит с рыбой, пойдем, отдохнешь немного от города! – стал он уговаривать Сергея.

Сергей покраснел, поглядел на жену и прочел в ее позе чугунную решимость стоять на своем, как уговорились.

За завтраком под душистый пар пирогов с малиной Михаил опять завел разговор о том же, и Лидия несмело его поддержала. Ну ладно-де там Сергей, повестка, дело понятное, а Мишатку-то чего ради с места срывать. Пасись он тут до осени, пока есть на чем. Глядите, как поправился.

– Хочешь, Мишенька, у бабы с дедом остаться? – елейно спросила она.

Мишатка отрицательно замотал головой. Лариска воссияла:

– Вот молодец. Правильно, сынок, мы с тобой на автобусе поедем в город, на трамваях кататься будем, папку в армию отправим, а сами вдвоем жить будем!

– И я в армию! – загорелся Мишатка. – Мы с дедушкой научились! Я умею! Папа, возьми в армию!

– Какая тебе армия, сыночек! – стала онимать его Лариска.

А Михаил затеплился надеждой.

– Папа, возьми! – заканючил Мишатка.

Откуда и научился. За все лето, кажись, слезинки не выронил.

– Оставайся у нас, настоящую армию сделаем, с настоящей

стрельбой, – предложил Михаил, припомнив, что у участкового Василия была пневматическая винтовка.

Не успел еще Мишатка ничего ответить, Лариска коршуном накинулась на МИхаила. И такой-то он, и сякой, и всегда-то был таким, и сколь горя с ним мать-то хлебнула, и сама-то она ничегошеньки от него не видела, и внук-то научился от него всяким словам и пакостям.

– Это ты кому? – стал закипать Михаил.

Лидия заплакала.

Сергей словно свекольным соком умылся, хватъ Мишатку – и в дверь. Не его, зятя, дело.

А Лариска уже сорвала резьбу и хлестала вовсю. Что, она не права, что ли, сколько сама мать ревела, пока он в тюрьме сидел, сколько выплачивать пришлось за растрату, неохота разве ей было обнов поносить, все подружки – в новом и модном, одна она и мечтать не смела ни о чем, как распоследние во всей деревне жили, и теперь никакой помощи, другие вон от своих родителей какие подарки получают, одноклассница вон замуж вышла, с его стороны им – квартира кооперативная, с ее – обстановка, гарнитур импортный, а ей, Лариске, ей что перепало? Спасибо, хоть Мишатку подкормили, не реви, мать, не тебе все это говорится, а вон ему, сам всю жизнь пропридурялся, да еще теперь внука против матери настраивать? Спасибочки, папа, отец родной!.. И сама в слезы, и сама – в дверь.

Лидия упала на диван, Михаил за столом остался один. Встать он не решался, ему вдруг показалось, что это у него не получится.

Через час Лариска с Мишаткой на руках и Сергеем позадь себя пришла домой. Где уж они были, где гуляли – ни Михаил, ни Лидия не смотрели. Он все так же сидел за столом, только пересел к окну. Лидия убрала со стола на кухню, вымыла посуду, вытерла насухо руки, смазала кремом – трескаются под старость – и села рядом с Михаилом. Лариска прошла к ним, постояла немного.

– Поедем мы, не сердитесь на нас, на меня, дуру, – глухо сказала она и опять заревела, как Михаилу показалось, о своей жалкой доле.

Сергей молча собрал сумку, виновато посидел, пока Лариска, приткнувшись к матери, ревела, поглядел на часы.

– Этим автобусом или вечерним поедем? – спросил он.



Лариска оторвалась от матери.

– Будет ли еще вечерний-то, ехать – так сейчас.

Сергей попрощался за руку с Михаилом. Лариска еще раз сказала: «Не сердитесь». Мишатка покорно держался за нее. Лидия пошла их провожать, и с порога вопросительно посмотрела на Михаила. Он отвернулся.

Проходя мимо окон, Мишатка оглянулся и помахал деду рукой. Михаил встал, прошел на кухню, пошарил, нашел привезенную зятем бутылку, хватанул и вздохнул. Потом добавил еще и пошел к автобусу.

– Ладно, мать, тебе – слезы, мне – водка, обоим горько, – сказал он Лидии на молчаливый ее укор.

## 9

Утро другого дня пришло ровное, тихое и жаркое. Михаил, встав, сразу же ушел из почужевшей избы во двор. Руки ни к чему не лежали. Кое-как занял себя тем, что собрал все Мишаткино добро и снес его за баню. Тут, под навесом, был сооружен верстак, и тут приспособил Михаил все винтовки, автоматы, сабли и все прочие игрушки. Потом посидел, сложа руки, и вдруг чуть не разревелся. Вскочил, зажал в верстак брус и остервенело рванул его рубанком.

Через несколько времени Лидия позвала его. Завтракали втихомолку. Михаил криво улыбнулся жене, означив так спасибо, закурил и пошел со двора. Куда, зачем, Лидии не сказал, и она его не спросила, а только проводила взглядом и села на лавку, по-старому протянутую вдоль всей передней стены.

«И что же она сделала с ним», – подумала про Лариску.

А Михаил пошел в контору. Останься у него внук, он бы с этим делом не спешил, оно бы, пожалуй, даже и не пришло так скоро ему в голову. А тут за вчерашний день, пустой и стылый, все враз повернулось.

Сначала, когда проснулся на пороге, было ощущение какого-то счастья, будто была удачная разведка, ребята уже в своих траншеях, «язык» невредимый и даже враг не всполошился. Все возбуждены, еще напряжены, и возбуждение еще более усиливается от

ощущения этого счастья.

А потом – взрыв снаряда, контузия, начисто вышибившая не только это счастье, а и вообще все. Осталась только кочегарка, длинная зима, пьянство изо дня в день и ровная, хотя и по-своему, но ровная, уходящая жизнь.

Теперь вроде бы контузия прошла. В голове еще звон и тяжесть, счастья того как не бывало, но остальное все вроде бы вернулось на место. И надо потихоньку вставать в строй.

– Пойду в контору, что-то меня к комбайнам потянуло... – хотел сказать он Лидии, но фраза, привычно балагуристая, получалась длинной, язык, усохший за вчерашний день, с нею бы не справился. Потому Михаил только некрасиво улыбнулся и ушел.

Сперва шел хоть и не быстро, но споро. А потом шаг поубавился. Запризадумывался Михаил. Как-то оно еще все выйдет. Не шибко-то в ладах жил он с директором, с Валентиной Алексеевной, дородной и властной правительницей совхоза. Не было миру меж ними, не было ладу. И не откликнется ли сейчас этот немир и этот нелад. Может, уж не сегодня пойти, может, время выждать, контакт наладить, намек сделать, как бы сначала в шутку, а потом посерьезней. Пусть попривыкнет.

Проходя мимо пруда, он поискал глазами бутылку. Конечно, не нашел. Вспомнил Назарыча.

«Наговорил всего, старый мерин, – подумал про него Михаил. – Сбил с панталыку и довольный теперь».

Довольный ли? Наговорил всего – выговорился, облегчил душу. Легкая-то она теперь из него – вон! И старухи дома нету. И он, Михаил, со своим катаклизмом – некогда о человеке вспомнить.

Михаил прибавил шагу.

– Только не сковырнись, язви тебя, – сказал он, не замечая стаи гусей и отделившегося от нее со злым шипом гусака. – Ума хватит у тебя, – корил он Назарыча, а гусак бежал за ним и пытался щипнуть за клеши.

В виду Назарычева дома Михаил перешел на рысь, вбежал во двор, обежал дом и остановился, увидев на дверях замок. Оглянулся на кучу тальника. Прибавилось. Значит, не лежит Назарыч, не беседует с ангелом, а возит со Светлой тальник. И слава богу. Жив

старик, крепок корень, а он его раньше времени хоронит.

«Ладно, вечером зайду, – повеселел Михаил. – А теперь полным ходом – в контору!»

Контора совхоза, выстроенная бригадой южных людей (поместному – грачей; появляются весной, на зиму улетают в теплые края), горбилась на краю деревни перед спуском на поскотину. Кривые и длинные трещины в кладке фасонисто показывали, на сколько частей распадется контора, если доведется ее потряхнуть. Перед бетонным крыльцом, тоже потрескавшимся, раскинулась длинная клумба с овсягом, пыреем, ноготками и еще какими-то цветами, редкими и пахучими. Изведенная и измытая дождями наглядная агитация страстно призывала к трудовым подвигам. Раньше Михаил любил поиздеваться над такой агитацией. Если такое чудо-юдо, как этот нарисованный заезжим пьянчугой плоскорожий и криворукий в красном комбинезоне красавец, может людей позвать за собой, то в чем же дело? Наставить их – да чем страшней, тем лучше – вдоль всех полей, всех дорог и всех деревень – во жить будем! – говорил Михаил. Как-то даже спросил он об этом директора, Валентину Алексеовну:

– Красиво?

– Да мне, что ли, надо? – услышал в ответ. – Заставляют!

Вот и весь сказ. Заставляют – сделаем. Заставят баобобы разводить – будем. Заставят в проруби топиться – и это сделаем. Лишь бы начальство не ругалось, отчетность по форме была.

– Вредный ты, Михаил, мужик, – махнула директор рукой на его слова.

Раньше любил Михаил поиздеваться, а сейчас расстроился, будто его это уже было заботой. Тоже ведь где она возьмет хорошего художника, кто ей подскажет, как надо сделать. А не сделает никак – головомойка. Или просто-напросто уберут.

Поздоровавшись с мужиками на крыльце, Михаил прошел на второй этаж. Спросил секретаршу, указывая на дверь директорского кабинета:

– У себя?

– Не-а, ходит где-то, но будет, сказала! – ответила машинистка, опять застучала по машинке, а Михаил встал к окну. Стоять было неудобно. Хотелось, облегченно выдохнув, сыпануть дробью каблуков вниз.

– А тебе чего от нее надо? – спросила секретарша.

– Да так, личные делишки скопились, – нашел кое-как что сказать он.

И в это время, окруженная, как броненосец миноносками, разным народом, вплыла в приемную Валентина Алексеевна, грузная, некогда очень красивая женщина. Окружавшие ее почтительно молчали и держались плотной кучкой. Руководить она начала в шестидесятом, после того как чередой приехавших председателей, из которых каждый задерживался не более года, колхоз (тогда еще колхоз) едва не пустила по миру. В конце концов, в районе решились поставить в председатели местного человека. И выбор пал на всеми тогда уважаемую агрономшу Валу. Первое время все встретились, все заговорили: ну теперь, кажись, жить будем! И тому были основания. Колхоз по районным сводкам сдвинулся с нижних мест и, как термометр весной, раз от раза стал показывать все большие цифры. Валя была работящей, дотошной, с подходом к людям. Раньше всех вставала, позже всех ложилась, пчелкой металась по полям, не вылазила с ферм, во все вникала сама, ругала, хвалила, упрашивала, наказывала, награждала – все сама, но все с подходом, так что наказанные не обижались, награжденные не возносились.

Михаил ее быстро окрестил Марфой-посадницей. Он это узнала и хотела было обидеться. Больно уж «Марфа» дворовой девкой показалась. Но обижаться было некогда. Да и кто обозвал-то – Михаил Елсуков. Она и раньше выделила его из общей массы. Ругаться начала с ним одним из первых. Ты ему все докажи, все обоснуй, все едва ли не философски выстрой. Доказывать и обосновывать ни времени, ни тем более умения не было. Она была красива и энергична. Этого в то время с лихвой хватало всем, кроме Михаила. Она просто говорила, что надо делать так-то и так-то, и все верили: от этого будет только хорошо. Если и ругалась, то все равно мужикам это нравилось, и они потом исправляли огрехи, можно сказать, с удовольствием, во всяком случае, без обиды. А женщины вообще возликовали, увидев в ней первую свою заступницу, и пошли к ней со всякой всячиной, с какою бы раньше не решились выйти и за порог. По всему колхозу только и носилось: Валя сказала, Валя поможет, Валя не допустит.

– Что-то больно много Вaley замелькало, – почувал неладное

первым Михаил.

С того и пошла ругань. Она ему задание – а он ей вопрос. И ведь, холера, грамотешка не ахти, а вот, поди ж ты, специально принялся изучать почвоведение, агротехнику и прочее, чтобы только быть ей в пику. Кроме этого он в истории кумекал, а в ней Вале было до него далеко. Ради смеха над ней придумает какую-нибудь ерунду и поперек ее приказания расскажет. Она дает бригадиру разнарядку на вспашку, а случится рядом Михаил, не упустит возможности поскалиться. Тут же прямо придумает и сморозит: пахать-де в сегодняшнее число еще Гесиод не рекомендовал, планетарность сегодня отрицательная, и всем это известно, и никто никогда в этот день не пахал, только мы в наших весах не удосужимся к опыту прошлого прислушиваться. И кто такой Гесиод, холера его дери, откуда ей знать. А Михаил свое.

– Конечно, – говорит, – можно избежать изъяна, если пахать строго под углом в сорок градусов, как пахал в этот день у себя в латифундиях Катон Старший. А если пахать обычно, то из-за этой несоответствующей планетарности, то есть из-за плохого расположения именно на этот день планет, внешней водой весь плодородный слой вымывается, и оттого никаких диковин, кроме картошки, у нас не растет. А то бы начали произрастать смоквы, и собирали бы мы их и были по ним на первом месте в районе.

И перебить его нельзя. Гладко все чешет, без задоринки, не знала бы его, поверила бы. Да что там она – родная жена и та постоянно попадает. По всей деревне рассказывали случай. Приехал в гости брат Сергей, офицер-морьяк. Сидят на кухне с Лидой, пельмени стряпают. А Михаил такими делами не занимается. Фарш стоговил, фарш – мужское дело, а стряпня – увольте. Разговор шел о том, о сем, воспоминания за жизнь, Сергееву службу, сколько ему до очередного звания жить, в какие походы они ходят, по каким морям и все такое прочее. Лидия не выдержала и тоже прихвастнула про свое офицерство, хоть и запаса, но младший лейтенант. Михаил послушал их и скумекал. Ага, скумекал, что ж это выходит, вокруг одни господа офицеры сидят. Один он только черная кость, унтер разнесчастный. Скучно стало. Вышел во двор, вроде как по нужде, потоптался на крыльце, потом заявился, морда непроницаемая, шаг бьет, только что руку к башке своей пустой не прикладывает – без шапки нельзя,

не по уставу. И этак как бы старшему начальству докладывает:

– Ваши благородия, свинья в огороде. Разрешите выгнать?

Кто же не знает этой детской прибаутки. А вот клюнула Лидия.

– Ах ты, черт поганый! – взорала она и ломанула с кухни в огород, словно ветер продул.

Жена попадается, а ей, Валентине, как против него устоять? Сколько стыда хлебнула. Ненавидеть его начала. Ночью останется одна, минута какая свободная от дум о колхозе выпадет, так тут же насмешки его вспомнит, ну прямо бы отхлестала его или еще чего сделала. Заснет, а он, ладный, порывистый, встанет перед ней и бровь ломает, новую пакость удумывает, новую насмешку ей готовит. Как глянет, как полыхнет жаркой улыбкой – это все во сне-то, так на-утро хоть на работу не выходи. Откуда только ирод на нее навязался. С ним плохо, без него еще хуже. И деваться некуда. С утра она себе слово дает, что минует место, где он работает. Нечего ей там делать. А чуть из конторы выйдет, чуть сядет в тарантас, конь будто другой дороги, как только к нему, и не знает. Когда спохватилась – девонька, окстись, дура, женатый он, и у него дочь! – вот уж поревела по нему, проклятущему. Может, оттого и с колхоза его прогнала. Ну не прогнала, сам ушел, а она держать не стала, думала, может, ей легче будет. Только не стерпела, не просто ведь мужика из колхоза отпустила, похуже дело-то, не сдержалась, сказала вдогонку, что припомнит, что ни в жисть обратно не возьмет. Вот такое было решение... А теперь она стала не Валея, давно уже не Валея. Теперь она стала Валентиной Алексеевной. И давно уже никто к ней за советом не идет, никто при встрече не улыбается. Все как-то повернулось по-иному. Не хватило ей ума и такта остаться прежней. Совхоз спустился в середняки, так себе, нежаркое лето, прохладненько. Она научилась погневливаться, покрикивать, поперечных слов не стала терпеть.

Да ладно, чего там бабу оговаривать, на себя бы повнимательней посмотреть.

Вошла она в кабинет свой, а за ней втянулась туда же вся ее свита. Михаил силою удержал себя у окна, заставил себя остаться.

Валентина Алексеевна Михаила заметила, хотя виду не подала. Заметила и безошибочно по лицу его определила, зачем он

здесь. Позвала секретаршу и велела пригласить его. Михаил ничего не учуял и вошел в кабинет. Все сидели вдоль стен и молчали, прибитые ударом по столу ее властной белой ладони.

Михаил поздоровался. Она ответила кивком и указала на стул напротив своего стола.

– Да я не спешу, – сказал Михаил. – Им, наверно, нужней.

– Обождут, садись, – обрезала она.

Михаил совсем не думал, что случится все именно так, что говорить ему придется при народе. Еще раз собрался было отнекнуться, но опять удержал себя.

– Ну, – нетерпеливо сказала Валентина Алексеевна. – Не стесняйся, что за беда?

– В совхоз я, – выдохнул Михаил.

Она вскинула красивыми бровями, может, прошлое вспомнила, тоску свою неразделенную. А может, иное. Удивление, может, всего лишь навсего лицо тронуло. Кругом сидевшие только стульями скрипнули. И она не сразу нашлась с ответом. Но молчать уже у нее не было привычки. В какой угодно ситуации приучилась говорить, хоть несусветицу, а говорить.

– В совхоз... Михаил Васильевич, значит, в совхоз, – несколько вразяжку начала она, а потом выровнялась. – А ты помнишь, когда уходил из колхоза, какой у нас разговор был? Помнишь? А ведь я тогда тебе сказала: придешь обратно проситься, придешь, но не возьмем. Вот и наступило время – пришел ты. Двадцать лет, наверно, уже прошло, но пришел. Я знала, что придешь, я знала, – некрасиво повысила голос Валентина Алексеевна. – Придешь, никуда ты не денешься, не того поля ягодка, чтобы совесть в тебе не разыграла. Совестно в стороне-то торчать? – Она покосилась на сидящих в кабинете. – Совестно, я знаю. Да только тут вот как раз сидит народ, так вот при нем я говорю, что твое заявление не с той стороны будет рассматриваться. Будем говорить напрямую. В тяжелые годы ты из колхоза убежал. Дисциплиной никогда не отличался, все своевольничал, а потом и вовсе сбежал. А как у нас дело наладилось, так теперь ты примазаться хочешь. Вот как тебя рассматривать будем. Уж будь спокоен, я слов своих не забываю, недарма столько лет директор.

Кажись, Михаилу чем-то тяжеленьким по темечку звенькнули. Будто он в разведке промахнулся и напоролся на встречный удар. Опомнился не сразу. За это время – не подсоби товарищи – лежал бы уже скрученный и с кляпом во рту. «С носком», – мелькнула в голове последняя Мишаткина придумка. Он даже улыбнулся. От улыбки пришел в себя. Валентина Алексеевна смотрела на него в упор и собиралась что-то говорить еще. Михаил опередил:

– Жалко, – сказал он.

– Я тебе говорила, пожалеешь, – ответила она.

– Не то жалко, – Михаил на мгновение осекся, сдерживая себя, но уже у него заклинило. – Не то жалко, Валентина... – да, именно так, Валентина, без отчества. – Не то жалко, Валентина, что ты сволочь, а то жалко, что ты баба. А то бы..

«А то бы..» в такой ситуации – это мордобой, и хороший, это уж кому непонятно. Михаил обдернул пиджак, четко повернулся и шагом, от которого суконные клеши едва не заприщелкивали, вышел.

Никто не ожидал такого скоротечного боя. Она готовила осаду, крупные калибры и массированные атаки. А на ее пристрелочный огонь раздалась одна короткая точная очередь – и айда, ищи-свищи разведку. Ей бы сейчас зареветь, Валентине-то, уж больно помолодому сердце екнуло, но она только хмуро помолчала, а потом властно протянула руку к тому, кто сидел поближе:

– Ну, что там у тебя?

Из конторы Михаил напрямик ушел в лес и домой вернулся после полудня. В лесу сидел, курил на бережке перед мордами, вынув их и не зная, куда скласть рыбу. Сидел и смотрел на нее, все поджидая Мишаткиных шорохов. Потом рыбу высыпал обратно в речку, а морды оставил на берегу. Неохота было лезть ставить их, да и к чему теперь все это. Придет ли он еще сюда. В лесу не развеялся, и домой пришел кое-как. В тишине позвякал ложкой об чашку – пообедал, называется. Потом сел с газетами на бревно. Лидия уже пришла из больницы, поспрашивала его, ел ли, не захворал ли. Что-то и в Лидии повернулось. Не заругалась вот, увидевши его праздного.

Тени уже выросли и полиловели, когда он собрался с бревна. О чем думал, что вспоминал, как-то и сам сказать не мог, навроде рас-



тения, мха вон, существовал и все. Потом проклюнулась простенькая мыслишка: жизнь прошла. И с нею встал он, пойдя во двор.

– Дядя Миша! – пискнул сзади детский, но не Мишаткин голос.

Михаил оглянулся. Как-то и оглядываться-то не хотелось, и вообще было по-стариковски тягостно. Но оглянулся. Стоит, пузо вперед, коровинский Алешка:

– Дядя Миша, я тоже умею воевать.

– Умеешь? – равнодушно спросил Михаил. – Хорошо.

– Как вы воевали, так умею, – уточнил Алешка

Михаил согласно кивнул:

– Ладно, как мы, умеешь.

Алешка замолчал. Наверно, не этого он ждал от него и растерялся. Михаил повернулся уходить.

– А ты нас научи! – крикнул Алешка.

– Чему научить? – не понял Михаил.

– Мы видели, как вы воевали, мы сами так же учились, – зачастил Алешка. – Вы пойдете, а мы на крышу полезем на сарай и подсматриваем. Только плохо видно было. А так мы все видели, научи, дядя Миша!

– Да чему научить-то? – с досадою опять остановился Михаил.

– Мы слушаться будем, научи, у нас автоматы есть, мы сами играем, только у нас, как у вас, не получается, а нам охота, как у вас! – стоял на своем Алешка.

Михаил улыбнулся. Мишатка так же вот говорил. Ребяшня, ребята. А Алешка уже частил другое, и это другое не сразу Михаил взял в толк.

– ...Дедушка говорит, что это ты поджег наш дом, а это совсем не ты, правда, не ты, – говорил Алешка.

Михаил все еще печально улыбался.

– ...Правда-правда не ты, дядя Миша! – частил Алешка.

– Конечно, не я, – как внуку, ответил Михаил, и вдруг сердце его остановилось. – Что ты говоришь?

Особой новостью для Михаила Алешкино известие не было. Слышал от людей, что пускает такой слух Николай. Но чтобы детей к тому приваживать, детей втравливать – такое Михаил слышал в

первый раз.

– Не я так говорю, дядя Миша, дедушка не знает, это не ты поджег, а дедушка не знает. Мы подождли. Мы не хотели! – продолжал свое Алешка.

– Что – вы? – переспросил Михаил.

– Мы в партизаны играли, а Андрюшка с Максимкой говорят, что надо костер жечь. Мы увидели, что бабушка в магазин ушла, подползли и зажгли. А он прыг – и на стену. Мы убежали, нас никто не видел.

Михаил ухватился за забор и прямо повис на нем – ни вдохнуть ни охнуть, новостишка.

– Вас же в тюрьму посадят, – зачем-то сказал он.

– Не-е! – бойко отозвался Алешка. – Мы никому не говорим. Дядя Вася милиционер не знает.

– А мне сказал.

Алешка на миг задумался.

– А мы больше никому не скажем! – нашел он выход.

Ни черта еще он не понимал, шестилеток этот Алешка. И как с такими связываться, с головорезами. И что вообще делать – гадай теперь Михаил.

А Алешка его затеребил, как, мол, насчет учения-то, мол, они будут стараться, у них все получится. «Век бы вас не видать, бандюги, – вот как!» – хотел сказать Михаил. Да разве в эти глазешки такое скажешь.

– Подумать надо, – сказал Михаил.

– Ага, ты подумай! – обрадовался Алешка. – А я прибегу завтра, спрошу, как ты подумал. А ты так подумай, чтобы согласиться! – и почехвостили вприпрыжку оповещать своих о результате переговоров.

Вышла Лидия с ведрами и коромыслом, собралась на колодец. Поглядела на мужа, и захотелось ей присесть рядышком, приложить свою голову ему на плечо да вместе с ним помолчать.

Но ушедшего не вернешь, если ушедший – время. Она прошла мимо, и через минуту-другую уже шла обратно, размеренно вышагивая в такт полным ведрам.

## Сведения об авторах

**Дулупов Вадим Юрьевич.** Родился в 1964 году в городе Нижняя Тура Свердловской области. Автор нескольких книг стихов. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. В январе 1995-го года находился в служебной командировке в Чечне в городе Грозном. Майор запаса. Награжден орденом Красной Звезды. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева. Живёт в Екатеринбурге.

**Кердан Александр Борисович.** Родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Автор 38 книг стихов и прозы. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Награждён орденом Дружбы и 20 медалями. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Лауреат Большой литературной премии России, международных и всероссийских литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

**Бунтов Евгений Владимирович.** Родился в 1966 году в посёлке Шаля Свердловской области. Автор нескольких книг стихов и компакт-дисков песен. Участник войны в Афганистане. Лейтенант запаса. Награждён орденом Красной Звезды. Член Союза писателей России. Лауреат печенных конкурсов и литературной премии «Урал промышленный, Урал полярный». Живёт в Екатеринбурге.

**Драт Александр Иванович.** Родился в 1953 году в посёлке Боровлянка на Алтае. Автор нескольких книг стихов и прозы, многих песен. Служил в Вооруженных Силах. Старший прапорщик запаса. Награждён несколькими медалями. Член Союза писателей России. Лауреат песенных конкурсов. Живёт в Екатеринбурге.

**Шалобаев Александр Юрьевич.** Родился в 1962 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Автор нескольких книг стихов. Участник войны в Афганистане. Награждён несколь-

кими медалями. Член Союза писателей России. Живёт в селе Колчедан Каменского района Свердловской области.

**Титов Арсен Борисович.** Родился в селе Старо-Базаново Бирского района Башкирской АССР. Автор 13 книг прозы. Сопредседатель Союза российских писателей. Председатель Екатеринбургского отделения СРП. Награждён несколькими медалями. Лауреат Всероссийских литературных премий имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, имени Генералиссимуса А.В. Суворова, дважды лауреат премии Губернатора Свердловской области. Живёт в Екатеринбурге.

**Щипачёв Степан Петрович (1899 – 1980).** Родился в в деревне Щипачи, ныне Богдановичского района Свердловской области. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Автор многих книг стихов. Лауреат Государственных премий СССР. Член Союза писателей СССР.

**Куштум (Санников) Николай Алексеевич (1906 – 1970).** Родился в селе Куштумга, ныне Миасского района Челябинской области. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Знак Почёта. Автор многих книг стихов. Член Союза писателей СССР. Жил в Свердловске.

**Найдич Михаил Яковлевич (1924 – 2004).** Родился в городе Кременчуге Полтавской области. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени. Жил в Свердловске с 1947 года. Автор многих книг стихов. Лауреат премии Губернатора Свердловской области. Член Союза российских писателей.

**Мауров Александр Николаевич (1926 – 2005).** Родился в городе Муроме Владимирской области. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Славы 3-й степени и Великой Отечественной войны 2-й степени. Автор 6 книг стихов и прозы, вышедших в России и на Украине. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей России. Жил в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

**Туболев Владимир Борисович.** Родился в 1937 году в деревне Кулёмовке Могилевской области Белорусской ССР. В 1958 году окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов и был демобилизован. Автор нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. Живёт в Екатеринбурге.

**Петропавловский Николай Владимирович** (1921 – 1995). Родился в селе Большое Кабанье Курганской области. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Трудового Красного знамени, Отечественной войны и Красной Звезды. Полковник в отставке. Автор нескольких книг стихов. Член Союза писателей России. Жил в Екатеринбурге.

**Занадворов Владислав Леонидович** (1914 – 1942). Родился в городе Перми. Жил и работал в Верх-Нейвинске Свердловской области. Участник Великой Отечественной войны. Автор нескольких книг стихов и прозы. Погиб в боях под Сталинградом.

**Станцев Венедикт Тимофеевич** (1922 – 2009). Родился в деревне Родионовке Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и 22 медалями. Подполковник в отставке. Автор многих книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Лауреат премии Губернатора Свердловской области и Всероссийских литературных премий имени Николая Кузнецова и Д.Н. Мамина-Сибиряка. Жил в Екатеринбурге.

**Шкавро Леонид Григорьевич** (1920 – 1994). Родился в городе Петропавловске Казахской ССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён семью медалями. Автор нескольких книг стихов. Член Союза писателей России. Жил в Екатеринбурге.

**Борисов Климентий Федорович** (1899 – 1997). Родился в селе Кривцы Курганской области. Участник Гражданской, Финской и Великой Отечественной войн. Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями «За Отвагу». Автор многих книг прозы. Член Союза писателей России. Жил в Екатеринбурге.

**Шмерлинг Семён Борисович** (1923 – 2002). Родился в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Полковник в отставке. Награждён орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. Автор многих книг прозы. Член Союза российских писателей. Жил в Екатеринбурге.

**Савчук Александр Фёдорович** (1905 – 1943). Родился в Варшаве. Участник Гражданской войны. Переехал в Свердловск в 1934 году. С 1936 по 1941 год руководил Свердловским отделением Союза писателей СССР. Автор многих очерков и рассказов, опубликованных в уральских изданиях. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Награждён медалью «За боевые заслуги». Погиб на Смоленщине.

**Самсонов Семен Николаевич** (1912 – 1987). Родился в Свердловске. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей СССР. Жил в Свердловске.

**Хазанович Юрий Яковлевич** (1913 – 1969). Родился в городе Кременчуге на Украине. Участник Великой Отечественной войны. Старший лейтенант в отставке. Награждён несколькими медалями. После тяжелого ранения приехал на Урал в 1943 году. Автор многих повестей, очерков, рассказов, киносценариев и фельетонов. Член Союза писателей СССР. Жил в Свердловске.

**Левин Юрий Абрамович** (1917 – 2008). Родился в деревне Поречье в Белорусской ССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. Автор более 20 книг документальной прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая Кузнецова, премии Губернатора Свердловской области. Член Союза российских писателей. Жил в Екатеринбурге.

## СОДЕРЖАНИЕ

Венедикт СТАНЦЕВ	
До свидания, Урал!	3
У днепровских вод	8
Стихи	17
Климентий БОРИСОВ	
Полевая почта №...	32
Владислав ЗНАДВОРОВ59	
Стихи	59
Семен ШМЕРЛИНГ	
Чай, сахар, белый хлеб	63
Как я покушался на Сталина	71
Николай КУШТУМ	
Стихи	79
Александр САВЧУК	
Большое сердце	82
Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ	
Стихи	86
Семен САМСОНОВ	
Ученый скворец	93
Юрий ХАЗАНОВИЧ	
Галя из санбата	99
Леонид ШКАВРО	
Стихи	05
Владимир ТУБОЛЕВ	
Одиночный полет	106

Михаил НАЙДИЧ	
Стихи	188
Юрий ЛЕВИН	
Берлин, май сорок пятого	195
Александр МАУРОВ	
Стихи	213
Сапоги первого срока	217
Степан ЩИПАЧЕВ	
Стихи	223
Вадим ДУЛЕПОВ	
Стихи	224
Александр КЕРДАН	
Березка	231
Потерянный ураган	237
Стихи	253
Евгений БУНТОВ	
Стихи	265
Александр ДРАТ	
Стихи	273
Александр ШАЛОБАЕВ	
Стихи	275
Арсен ТИТОВ	
Старший сержант дед Михаил	278
Сведения об авторах	355



Литературно-художественное издание

**БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ**

**Стихи и проза о войне**

Составление: Кердан А.Б., Титов А.Б.  
Верстка и дизайн – Шангина С.В.  
Корректор Кердяшова А.А.  
Знак серии – Титов А.Б.

При оформлении тома использованы работы учащихся  
художественных школ Свердловской области.

ООО «Издательство «Аспур»  
620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12.  
Тел.: (343) 371-12-06  
E-mail: [aspurizdat@mail.ru](mailto:aspurizdat@mail.ru)  
ЛР № 369 от 15.12.2008 г.

Подписано в печать 10.08.2011. Формат 60x84 1/16.  
Гарнитура «Century Schoolbook».  
Печать офсетная. Бумага ВХИ-80.  
Тираж 1000 экз. Заказ № \_\_\_\_\_

Отпечатано в ГУП СО «Режевская типография»  
623750, г. Реж Свердловской обл.,  
ул. Красноармейская, 22



Абрамов Михаил, 13 лет  
«Солдат»  
п. Верхняя Синячиха, ДШИ



**Михалева Дарья, 15 лет**  
**«Дорога домой»**  
п. Верхняя Синячиха, ДШИ



**Реутов Алексей, 13 лет**  
**«Ожидание»**  
п. Верхняя Синячиха, ДШИ



**Жарков Геннадий, 14 лет**

**«Бой»**

г. Екатеринбург, ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова



**Матвеев Виктор, 14 лет**  
**«Возвращение с фронта»**  
г. Екатеринбург, ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова





Кутузова Алла, 12 лет  
«Фильм о войне», фрагмент  
г. Екатеринбург, ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова

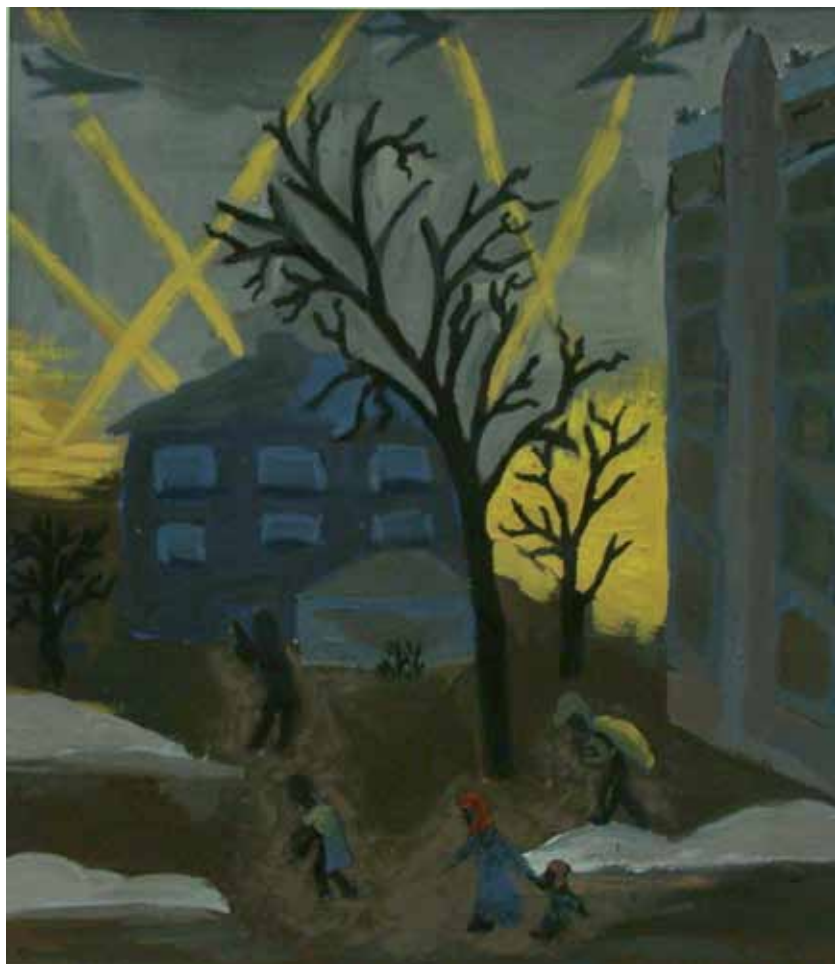


**Татарникова Анна, 13 лет**

**«На фронт»**

г. Екатеринбург, ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова





**Яковлева Вика, 13 лет**  
г. Лесной, ДШИ



Любимкина Мария, 13 лет  
«Тяжелый бой»  
г. Асбест, р. п. Малышева, ДШИ



**Ефремова Елизавета, 12 лет**  
**«Освобождение»**  
г. Заречный, ДХШ



Зырянова Евгения, 15 лет  
«Отгремело-отболело»  
г. Заречный, ДХШ



**Маслак Марина, 13 лет**  
**«Помощь»**  
г. Заречный, ДХШ



**Фарвоздинова Вероника, 14 лет**  
**«Тишина»**  
г. Заречный, ДХШ





Денисова Саша, 13 лет  
«Возвращение»  
г. Ирбит, ДХШ



**Котова Полина, 15 лет**  
**«Армейские атрибуты»**  
г. Каменск-Уральский, ДХШ №1





**Холкин Анатолий, 14 лет**  
**«Дойдем до Берлина»**  
г. Каменск-Уральский, ДХШ №1

